

Л. 2  
Е 60  
Л. Емельянов

**БЕРЕГ  
ПРАВЫЙ  
•  
ХОЧУ  
УДИВЛЯТЬСЯ**



381622

Торолл

JK

ОТДЕЛ  
КНИГОХРАЩЕНИЯ

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТОК  
СРОКОВ ВОЗВРАТА

---

КНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ  
ВОЗВРАЩЕНА НЕ ПОЗЖЕ  
УКАЗАННОГО ЗДЕСЬ СРОКА

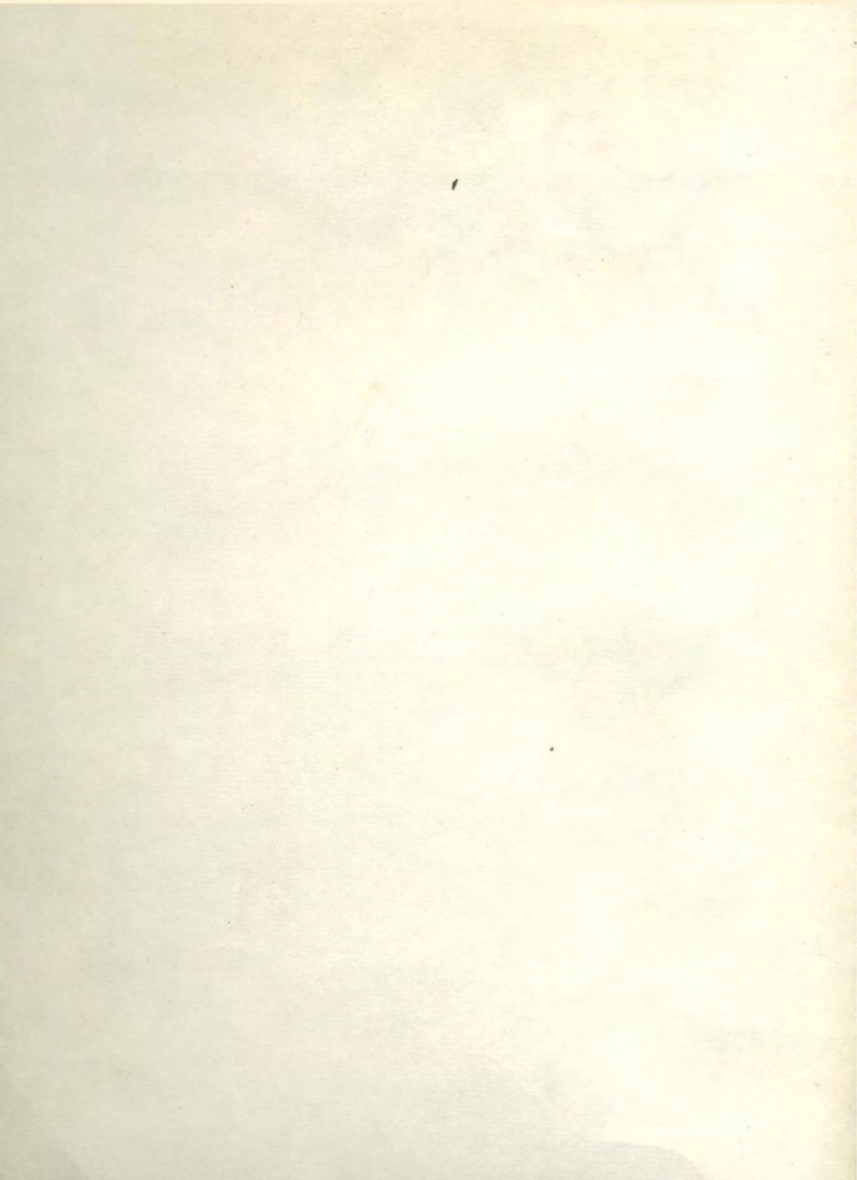
---

Колич. пред. выдач \_\_\_\_\_

---

1/21

КПК. Зак. 2935. Тир. 80 млн.







*Т. Емельянов*

**БЕРЕГ  
ПРАВЫЙ**

**роман**

•

**ХОЧУ  
УДИВЛЯТЬСЯ**

**повесть**

•

381622

Центральная  
городская библиотека  
им. Н. В. Гоголя

Основной фонд

г. Новокузнецк

КЕМЕРОВСКОЕ

КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

1976

E—60

P<sub>2</sub>

E  $\frac{70302-15}{M145(03)-76}$  28—76

© Кемеровское книжное издательство, 1976  
Иллюстрации.





# БЕРЕГ ПРАВЫЙ

РОМАН



Текст печатается  
по изданию  
Западно-Сибирского  
кн. издательства, 1969 г.

## Глава I

### 1

Осиновский леспромхоз не богом забытая дыра: село немалое, есть средняя школа, больница, клуб и промкооперация. Жить вполне можно. Правда, пришлый народ, что поинтеллигентней, долго здесь не задерживается — по операм скучает. Ну, а местные мужики опер не слышали, им, значит, легче перебиться.

От города Новинска до Осиновского леспромхоза по прямой сто километров, и летом туда вниз по Томи добраться совсем просто, зато осенью, когда еще не стали реки, да в ростепель или зимой — и думать нечего: дороги туда переносит напрочь. Целыми месяцами осиновцы чувствуют себя островитянами. Их это, однако, не очень волнует: почту, продукты подбрасывают на вертолетах, иной раз сердобольные снабженцы и водочки припасут, хотя такая инициатива не поощряется сверху. Но у снабженцев — тоже план.

Вокруг поселка, во все стороны, тайга да тайга. Зимой тайга спит. Кажется, и не дышит. Тихо там. Только крякнет иногда ветка, подломленная снегом, или вспугнутая сова с нехорошим стоном полетит, сослепу натываясь на деревья, да заверещит заяц в проволочной петле...

Скучно зимой в поселке.

Перед самыми Октябрьскими лесоруб Валька Храмов, завербованный весной в теплых местах, вдруг «за-

шабашил»: кинул под лавку в раскомандировочной инструмент и подался в контору. Там выпросил у секретарши листок чистой бумаги и сел писать:

«Начальнику Осиновского леспромхоза от рабочего Храмова Валентина Игнатьевича

### Заявление

Прошу срочно освободить меня из системы леспромхоза, так как у меня...»

В этом месте он крепко задумался, потер переносье и решительно добавил: «больна бабушка». Хотел даже написать «при смерти», но постеснялся. «В просьбе по семейным обстоятельствам убедительно ходатайствую не отказать». Подпись. Число.

Начальник прочитал заявление и скучно сказал:

— Работай.

— Так бабушка ж...

— Сколько лет бабушке? Поумней бы чего придумал.

— Сто два года бабушке, — скороговоркой ответил Валька. — Пять императоров пережила и сейчас трудоспособная — арбузы в порту грузит и хоть бы что.

— Не зубоскаль! — начальник поскреб затылок и блеснул стальными зубами. — Работай и точка. Три года по вербовке. Иди, иди!

— Я ведь сбегу.

— Без документов?

— На что мне бумаги?

— И в тайге не заплутаешь?

— Не.

— И штаны сухие будут?

— Запросто.

— Трепач ты, однако.

— Значит, нет?

— Пошутили и довольно. Мне некогда тут с тобой лясы точить.

— Уйду я, честное слово! Здесь медведям жить. Добром ведь прошу!

— Нет!

## 2

Едва передвигая тяжелые охотничьи лыжи, Валька поднялся на Лосиный Камень, проткнул наст палкой, глянул вниз. Там качалось синее море, и поселок лесорубов был похож на маленькие пароходики, которые, дымя, пробирались среди огромных валов. Улица вытянулась в узкой лощине, и хвост ее пропадал за бурым выступом горы. Валька затамился, пожалел мытарную долю свою да беспокойный характер. Повернулся спиной к поселку и скатился в тайгу.

...В полдень с тихим подвывом закуролесила пурга. Сразу потемнело, солнце накалилось, стало алым. Было жутковато, и Валька почему-то вспомнил море.

Валька работал одно время помощником машиниста на большегрузном кране в Сухумском порту. В кабине крана пахло солью и горячим машинным маслом. К причалу плыли баржи, похожие с высоты на половинки дынь, сопели катера, покрикивали матросы.

В обед Валька успевал купаться. Он уплывал с маху далеко, за границу пристани, и ложился у берега на камень, черный и блестящий, как спина откормленного вола, и смотрел на кромку горизонта — туда, где горбатилось море. Волны катились в лицо размеренно, бесконечно и уходили, шурша камешками, оставляли пену, которая веселыми прядями сбегала по песку под круть новой волны.

В Сухуми теперь тоже зима, ярятся дожди и штормит море, ветер срывает с воды белые гребни, по пляжам катаются обрывки газет и пустые кукурузные

початки, по набережным бродят унылые собаки. Город пуст, ларьки забиты досками.

Совсем не продают зимой сахарную вату, похожую на куски застывшей пены. Она тает во рту и сразу сжимается в сладкий тягучий комочек. Валька, бывало, наедался этой ваты до икоты. Позже, когда уже зарабатывал сам, любил шашлык запивать кислым вином, до которого курортники не сильно охочи, потому что не понимают настоящего вкуса.

Их дом от моря недалеко; ночами, если прислушаться, сквозь неумолчный стрекот цикад доносится шорох прибоя.

Валька спал на веранде, поднимался рано и, обжигая босые ноги о холодные камни, шел в садик, огороженный дощатым забором, и садился на скамейку возле колонки с большим медным краном. В саду было росно, и через фиолетовые гроздья винограда просвечивало солнце, оно весело кипело и плавилось в каждой виноградинке.

Хлопала калитка — это отец уходил на работу, за ним торопились, опаздывая, два старших брата. У матери работы доставало с темна до темна. Валька наскоро завтракал и бежал в город. Весь день был там наполнен для него удовольствиями. И может, именно от жадности к радостям рос он легкомысленным, щедрым на улыбку, бездумным и теперь не умеет жить, как другие.

Рос парень без трудностей, в свое удовольствие. Отец долго терпел выходки своего младшего в школе и вдруг как-то сразу перестал его замечать, здоровался, словно с посторонним, убежденный, что сын совершенно не удался, и со смирением приготовился нести тяжелый родительский крест до конца.

Валька бросил школу и поступил учеником крановщика в порт, потом, без спросу и совета, завербовался в Сибирь.

Сумерки упали сразу — синие и густые. За день Валька прошел не больше двадцати километров. Впереди еще шестьдесят. Ночь промаялся у костра и с рассветом побрел дальше, ориентируясь по телеграфным столбам.

...Через два дня вечером Вальку подобрал шофер МАЗа. Прохожий вел себя странно: он без сожаления оставил лыжи на обочине и долго, немощно карабкался в кабину.

— До стройки подбрось, хозяин!

— Откуда ты такой взялся, друг?

— С того свету напрямиком. И штаны у меня сухие.

Он разом обмяк и уснул. Болтал головой на ухабах, бился о кабину, но не просыпался.

— Еще бы малость — и замерз! — вслух, сам себе, сказал шофер и осторожно отвалил пассажира в угол. — Молодой совсем хлопец-то!

Парень удивил шофера еще раз.

Он очнулся, когда въезжали в городок, и обрадовался, как ребенок:

— Смотри, кран!

— Кран! Тут их много...

— А ну, останови! Останови!

Пассажир вздернул котомку на плечо, перебежал дорогу и стал карабкаться по лестнице крана.

— Ожил!

...Ступицы лестницы гудели, как басовые струны. Валька постучал по железу и увидел в проеме люка худое конопатое лицо и рыжие волосы, выбившиеся из-под шапки.

— Пусти, друг!

— Это зачем?

Валька не сумел объяснить, и рыжий взялся за петлю на крышке люка.

— Ты, может, пьяный?

— Не закрывай, пожалуйста! Пусти, товарищ!

— Посторонним запрещено, — строго сказал ржий. — Подай назад!

— Я не посторонний, я тоже крановщик, товарищ. Тот наверху раздумывал секунду, потом отступил.

— Лезь, что ли... Чумной ты какой-то... Не пьяный. Смотри.

4

В комнату ворвался ослепительно белый свет.

На соседней кровати, головой к окну, кто-то спал по ворохом одежды. Вопило радио. В коридоре стучали сапогами, лилась где-то из крана вода.

Вдруг ворох на соседней кровати распался, на него упало демисезонное пальто и промасленная стеганка. Из-под одеяла показалась черная кудлатая голова в пуху. Человек резко мотнулся, и подшитый валенок полетел к двери. Там что-то забренчало. Стало тихо. Вальк догадался, что сосед сшиб валенком репродуктор, подумал: «Ловок, черт!» Потом опять задремал, поджав холодные ноги, и, кажется, уже через минуту снова открыл глаза.

Кудлатый сидел на кровати и хмуро изучал дыру в Валькиных штанах, наверно, потому, что штаны висели как раз посередине комнаты. Он даже поковырял дырку пальцем, вытащил кусочек горелой ваты, распустил ее, подбросил и дунул. Ватка упала. Кудлатый забавлялся серьезно и деловито. Когда он обернулся, Валька узнал в нем того самого парня, похожего на грузина, который вчера сидел в комитете и вместе с комсоргом Катковым слушал жалостную Валькину исповедь.

На грузине была майка и толстые коричневые кальсоны. Он потянулся, играя мускулами, на цыпочках пробежал по комнате, бросил на тумбочку помятый репродуктор и длинно свистнул:



— В помойке техника побывала. Как нехорошо получилось!

Он вытер репродуктор портянкой и прокосолапил обратно. Радио задрезбезжало обиженным старческим голосом.

Валька вспомнил, что сегодня шестое ноября, и за-тосковал. Он давно не писал матери. Надо обязательно опустить хоть открытку — поздравить с праздником.

Валька тоже сел на кровати, прикрыл ладошкой зевок и спрятал руки между колен — засмутился: сосед пристально смотрел на него, смотрел без улыбки. Валька целомудренно потупился. И надо же так случиться: именно с тем предстоит жить теперь, кто был свидетелем его слабости и собственными ушами слышал невеселую историю про леспромхоз и голодовку на стройке, знал с начала до конца всю правду или почти всю!

При этом грузине комсорг дал Вальке немного своих денег и велел зайти после праздника.

— В тебя что — разрывная пуля ударила? — спросил грузин и показал неровные передние зубы. — В самое интересное место угадали — туда как раз, где спина теряет благородное название.

— На костре подпалил. В тайге.

— Горр-ят костры высокие! — заорал ни с того ни с сего сосед. — Слышал такую песню?

— Не, — растерянно заморгал Валька. — А что?

— Да так. Я и сам ее не слышал. Меня зовут Глеб. Фамилия — Трошин. Будем считать, что знакомство состоялось. Так?

— Так.

Трошин достал из стенового шкафа серый пиджак в искорку и бросил его на кровать, порылся еще и протянул Вальке мятые спортивные брюки.

— Погладь и носи. Новые совсем.

Сам он надел белую рубаху, повязал аккуратным узелком черный галстук, растер в волосах крем из тю-

бика, причесался перед зеркалом щеткой. Когда он все это кончил делать, Валька засмутился вовсе и почувствовал с унылой завистью, что между ними великая разница, поэтому безропотно принял от Трошина десятку и подался в магазин, словно по давно заведенному порядку.

5

У них в комнате гости. Двое: тощий парень в авиаторской курточке полулежал на стуле, вытянув ноги, и молчал; другой был уже в годах. У него под застиранной солдатской гимнастеркой сильно выступали лопатки. Он горбился, и даже со спины было видно, что человек устал.

Валька вывалил на подоконник покупки — две поллитровки, как было приказано, консервы, булку хлеба и огурцы, завернутые в мокрую бумажку.

Тот, что был в годах, трудно поднял голову, и стало понятно, что он уже пьян. Он небрежно протянул Вальке горячую и влажную руку.

— Шмелев Иван. Для тебя — Иван Иванович. Не слышал про такого? Еще услышишь. Огурцы взял — это хорошо, это ты правильно придумал.

Тощий руки не подал — ему, видно, смерть как не хотелось подниматься со стула. Кивнул только:

— Бродский Виктор.

— Кто такой? — хмуро спросил Шмелев Вальку.

— Из леспромхоза я. Здесь крановщиком устроился.

— Сбег? Из леспромхоза-то сбег? Ведь там — по вербовке.

— Ну, какое наше дело, Ваня! — вмешался Трошин. — Совсем не наше дело.

— А чье дело? — Шмелев хотел приподняться, но задел коленкой тумбочку и едва не опрокинул налитые до краев стаканы. — Ладно, я сида. За что выпьем?

— Праздник же.

Шмелев вдруг рассердился:

— Не нравитесь вы мне, молодые!

— Все?

— Не все, некоторые. Ты вот, если к примеру. — Он ткнул на Глеба пальцем... — Этот из леспромхоза смылся, деньги, наверно, получил, подъемные разные... Ни стыда, ни совести... Эх, вы!

— Давай, ребята! — Глеб выпил спокойно, хрустнул огурцом и толкнул Вальку! — Шмелев Иван, бригадир. На работе — зверь, мастер высокого класса. У меня тоже пятый разряд, но я перед ним слабак.

— Это ты правильно, если к примеру, — кивнул Шмелев. — Щенок.

Трошин продолжал так, будто их в комнате было только двое — он да Валька:

— О Шмелеве пишут в газетах — передовик. И правильно: его хоть сейчас прорабом ставь, тем более техник по образованию. Не хочет. В войну разведчиком был, капитан по званию, между прочим. К нему в бригаду думаем переходить — я и вон Виктор. Другой трест — «Жилстрой». Там заработки и порядку больше.

Шмелев непослушными пальцами ковырял пачку «Беломора» и сопел, потому что пачка не поддавалась. Он посмотрел на Трошина тяжелыми пьяными глазами:

— Шукаешь, где легче? А не найдешь. Пойду я, однако. Уже нагрузился.

— Посидел бы, чего...

— Нет.

— Как хочешь.

Они остались втроем. Тощий, до сих пор молчавший, тоже поднялся и сказал с неприятной усмешкой:

— Чего ты о зареботке беспокоишься? Старики ведь шлют деньги. По сотне в месяц или больше?

— Любишь ты подкусить, Витька, а к чему?

— Неправда разве? Орден, что ли, хочешь заработать?

— При чем здесь орден? А плохо разве получить?  
— Кто говорит плохо — хорошо, только тебе не дадут?

— Тебе дадут?

— Тоже нет.

— Ты про себя и знай.

— Тебе не дадут.

— Ну ладно, хватит!

Виктор сердито распрощался и исчез.

— Что за парень?

— Приятели, с одного двора мы — московские. — Трошину, кажется, не хотелось больше говорить на эту тему.

## Глава II

### 1

Часы всхлипнули и густо, с переливами, ударили четыре раза.

Наумов посмотрел в окно. Заиндевелые стекла уже подернулись жидкой синью. «Зимой всегда так: не успеет день выстояться, и уже вечер, потом сразу — ночь... Плохо зимой...»

Наумов встал из-за стола и подошел к часам.

Ботинки липли к свежей краске. В кабинете необжито пахло олифой, пиленным тесом, известкой. Было почти пусто в большой квадратной комнате: рядок стульев, два шкафа с чертежами, сейф да вот часы. Он будто впервые увидел их здесь — высокие, в деревянном футляре цвета мореного дуба, с глазастым циферблатом и фигурными стрелками. На маятнике дробился свет люстры. «Дорогие, поди... Надо будет кому-нибудь их сплавить. В общежитие разве отдать?» Он притронулся рукой к футляру. Дерево было холодным и чужим. Наумов положил на часы руку, словно хотел примириться с

этой громоздкой вещью, но окончательно решил при первом же удобном случае сплавить кому-нибудь эти богатые часы.

Наумов прошелся по кабинету, вынул расческу, подул на нее и, вздохнув, положил обратно, потому что причесывать было почти нечего: имел он еще недавно буйную казацкую шевелюру, но шевелюра посекалась как-то неожиданно и враз. Врачи говорят — на нервной почве.

«Чего там, просто стареем, да...»

Наумов снова сел за стол. Справа из стены торчал пучок проводов — телефоны еще не поставили — и мешал локтю. Это раздражало. «У людей, понимаешь, воскресенье, а тут шуруди бумагами». И еще удивился: «Тихо-то как!»

Он переселился сюда два дня назад из прорабской будки, в которой было тесно и суетно. Он еще не привык к простору и тишине. Ведь еще совсем недавно ему приходилось, по собственному выражению, носить в карманах всю бухгалтерию и кадры. Техническую документацию прятал в сварной железный ящик с висячим замком. Три месяца, считай, работали на тычке, и некоторым стало казаться уже, что иначе и не бывает.

Наумов загасил папиросу, огляделся еще раз и заметил у двери черные стекла, составленные одно к другому, большие в деревянных рамках и поменьше — без рамок. Быстро встал опять, выбрал самое большое стекло, прислонил его к стене, попятился и прочитал четкую надпись бронзой: «СУ-11 треста «Промстрой». Постоял, раздумывая, потом оделся, подхватил вывеску под мышку и вышел.

На улице было холодно, снег скрипел под ногами, и на пустоши перед конторой залегли ломаные тени. За пустошью, за дальними горами, тлела полоска заката. Цвет заката был желтый. Солнце падало за реку, и на

бровке горизонта таяло его последнее тепло. Полоской пролегли редкие облака, подпущенные золотом.

Где-то далеко лаяли собаки и глухо, на одной ноте, гудели провода. По дороге плыли огни фар, останавливались и снова плыли в сумерки.

Наумов оставил вывеску на крыльце, вернулся в контору, в закутке у сторожа отыскал деревянную лопату и принялся прокладывать тропку через сугроб к стене, где светились окна его кабинета. Он сперва примеривался, обрезал с четырех сторон лежалый наст и, уперев черенок в живот, толкая лопату под низ, поднимал разом, с придыхом, увесистый ком и отбрасывал за спину. Шея у него быстро вспотела, лицо тоже вспотело.

«А ну, раз, а ну, два!» Он не останавливался, потому что приятно было дышать во всю грудь свежим воздухом без запахов.<sup>1</sup>

Плохо вот только, что боты забыл надеть. В ботинках неприятно таял снег.

Он запел песенку про петуха, который «соседскую курицу очень любил», и когда услышал сзади голос, ему сделалось неловко: разбаловался, как мальчишка, а ведь люди кругом! Воткнул лопату в снег и обернулся.

На тропинке, что пересекала пустырь, согнувшись от холода, переминался небольшого роста худой парень в мотоциклетном шлеме, кожаной авиаторской курточке и шнурованных ботинках с высокими голенищами.

— Извините, Иван Абрамович, — вежливо, чуть поклонившись, сказал прохожий. — Может, помочь?

Наумов застегнул дошку, заправил шарф и крепко вытер лоб носовым платком.

— Москвич?

— Да, москвич. Моя фамилия Бродский. Виктор Бродский. Не слышали? — Он склонил голову к плечу, близоруко посмотрел из-под очков и засмеялся. — Я ведь только солдат, правда? А генерал всех солдат знать не обязан.

Наумова этот насмешливый тон чуть задел. Он сдвинул шапку, поскреб затылок.

— Действительно...

Бродский снял перчатки и подул на руки:

— Ходил подледный лов смотреть туда, на Черную Курью, — махнул неопределенно. — Окуньков там ловят. Вот таких окуньков. — Он показал мизинец. — Махоньких...

— Замерз? — спросил Наумов

— Есть немножко.

— Где работаешь?

— Учеником слесаря в гараже, но думаю каменщиком проситься.

— Везде люди нужны, — вздохнул начальник. — И каменщики, и слесари... Вам спецовку разве не давали? Одет ты это... легко уж очень. (Хотел сказать «не полюдски», но побоялся обидеть парня).

— Так удобней. Легко и тепло.

Иван Абрамович достал пачку «Беломора» и протянул Бродскому:

— Куришь?

— Недавно начал.

— Это плохо.

— Наверно. — Виктор с трудом выковырнул заду белыми пальцами папиросу. Прикурили от одной спички, которую Наумов ловко зажал в ладонях.

— Вы по воскресеньям дворником работаете — снег взялись чистить?

— Да вот... — Наумов развел руками и смущенно улыбнулся: — Загорелось вывеску прибить. Контора новая, а фамилии у нее вроде и нет.

— Бывает, — неопределенно сказал Бродский.

— Поможешь?

— С удовольствием.

— Тогда беги в котельную и возьми у ребят гвоздей.

Два плотницких, побольше, монтажных у них нет, наверно, да маленьких штук пять. Скажи, Наумов просил.

— Хорошо.

...Начальник умял ногами тропку, выволок из коридора штукатурную лестницу. Ноги мерзли, но он ждал на улице — ему не терпелось приладить вывеску самому, потому что завтра это сделают другие. И для тех, других, работа будет скучной и обыкновенной.

## 2

Стройка начиналась весенним днем.

Моросил дождь, и редко проглядывало солнце.

По совхозному полю, слева от дороги, которая тянулась в низкой пойме по правому берегу Томи, ползал трактор с бороной. Правее и выше, ближе к подошве горы Лысухи, бульдозер расчищал площадку для палаточного городка. Кругом белели кучи досок и глянцевито блестели штабели кирпичей. На другом берегу размыто проступали контуры большого завода; у гравийного карьера за совхозным полем дымил паровоз.

Все это вдруг напомнило Наумову рисунки на старых отцовских грамотах. Там вот тоже был обязательно завод, трактор, паровоз, провода...

Наумов улыбнулся и откинул капюшон плаща, о который надоедливо стучал дождь. Сразу стало легче и светлей.

Бригадир Пантелеевич поскреб ладонью небритую щеку и обернулся к начальнику. Тот кивнул. Пантелеевич взял топор, аккуратно застрогал колышек из сырого бруса и сапогом выдавил ямку: сюда! Колышек мягко вошел в разбухшую от паводков землю.

— Давай шнур, ребята!

По шнуру должны были копать первый фундамент для первого дома.

— Здесь будет город заложен! — слишком громко



сказал Наумов. У него екнуло сердце. — Шампанского бы по такому случаю, а?

— Водки бы оно лучше, — вяло отозвался Пантелеевич. — Сыплет и сыплет. И плащ не взял как на грех... Куфайку хоть выжимай... Ну, давай, ребята, давай!

...В ботинках натаял снег, и пальцы ног совсем онемели. Наумов топтался, чтобы согреться.

Наконец прибежал Бродский и подал начальнику промасленную тряпицу, в которую были завернуты гвозди и тяжелый молоток, почти кувалда, с длинной рукояткой.

— Побольше не нашлось молотка-то?

— Только такой. Сами прибьете? А то я могу.

— Ты командуй, чтобы криво не получилось, я сам. ...Потом они сидели в кабинете.

Виктор подвинул стул к батарее и грел руки. Наумов в углу перебирал черные таблички с надписями «Технический отдел», «Отдел главного механика», «Отдел кадров» и чуть слышно насвистывал.

Виктор уже несколько раз поднимался, намереваясь уйти, но начальник грубовато удерживал его:

— Ты еще нужен.

Оба вздрогнули, когда часы размеренно ударили семь раз. Хозяин кабинета уже привычно подумал: «Кому бы их сплавить?» Гость испуганно покосился на коричневый футляр.

Наумов засмеялся, откинув голову:

— Хороши, а?

Виктор поморщился и зашевелил пальцами, подыскивая нужные слова: грубо скажешь — чего доброго, обидишь человека, а не скажешь — еще хуже.

— Хорошие. Только их не покупают. Никто...

— И правильно делают. Подержи-ка. — Наумов разворачивал на столе большую синьку. — Вот на ту стену повесим, у двери.

Они прибили синьку, отошли на несколько шагов,

чтобы лучше смотрелось, и одинаково сложили за спинами руки.

Бледно-фиолетовая, с потеками, бумага была усыпана прямоугольниками и квадратами; в левом верхнем углу план выхватывал кусок русла Томи. Русло круто выгибалось, левый берег выдавался языком. Там был Новинск — дымный рабочий город, построенный наспех, с муками, в годы первых пятилеток, когда заморскую мысль оплачивали золотом, а сами ели ржаной хлеб не досыта. Новинск вырос вместе с металлургическим комбинатом.

Левый берег на плане был пуст: какое дело проектировщикам до земли обетованной! Они наступали на пустырь по другую сторону реки.

В натуре же, если смотреть с макушки горы Лысухи, новостройка была похожа на большую единицу, вытянутую вдоль шоссе. «Туловище» единицы пунктиром очерчивали две линии пятиэтажных домов, а «в голове» окнами на дорогу стояли два общежития, чуть дальше — столовая, котельная и недостроенная пекарня; от пекарни тянулся опустевший к зиме палаточный городок.

Был у единицы и «нос»: через дорогу, как раз напротив конторы, бригада каменщиков заканчивала третий этаж больницы.

Грузный Наумов и щуплый парень из Москвы смотрели на схему, и каждый по-своему представлял новый город на правом берегу.

Виктору чудилось белое раздолье из камня и стекла, необъятные проспекты и много света. Он видел в окнах багрянец сибирских закатов. Он не мог представить этот город до черточки, он только верил, что жить в нем будет легко и беспечно.

Наумов не обольщался, он уже знал, что будет: три улицы вдоль реки, железнодорожная линия (за эту «находку» он бы руки поотрывал у столичных проектировщиков). Железнодорожная линия посредине жилого

массива — это же, если без скидок, преступление! Зато, говорят, дешевле.

По другую сторону линии — еще три улицы. Дома типовые, из одной опоки, квартиры малометражные «серия сто четырнадцать «а» (туалет и ванна вместе). Дальше, говорят, видно будет. А сейчас — никаких архитектурных излишеств. Мы стали вдруг сверхрачительными хозяевами, потому что не умеем останавливаться на разумной середине — все шарахаемся, как бараны.

Наумов хочет тишины этому городу и не хочет кудрявого дыма из труб, который так умиляет корреспондентов, когда они пишут об индустриальной мощи. Недалекое будущее видится Наумову так. Он сидит на скамейке в скверике и курит. Обязательно осенью и в безветренный день. Асфальт усыпан листьями; березы в сквере опутаны паутиной. В аллеях обязательно должно быть много детей, мамаш с колясками и очкастых старух с вязаньем. Наумову кажется порой, что это уже было здесь, что можно увидеть осень, шустрых ребятишек, березы в белых тенетах и сейчас, стоит только открыть дверь. Но там, за дверью, заснеженная степь, на которой еще и конь не валялся. Там пусто и стыло, будто до Новинска отсюда не двадцать пять километров, а тысячи и тысячи.

Наумов вздохнул и украдкой посмотрел на москвича. Тот щурился на синьку и шевелил губами — читал названия цехов.

— Это что? — спросил он и показал подбородком на строй длинных прямоугольников ниже поселка.

— Промышленная база, дорогой товарищ. Чтобы наступать, надо иметь крепкий тыл. Поставим сперва бетонные заводы, создадим ремонтную базу, разные там вспомогательные службы честь по чести... Наберем силушки, тогда и на основные объекты сядем. — Наумов ткнул папиросой в самый нижний угол плана. — Три, значит, ступеньки: поселок, промбаза, завод.

В окна полоснул свет фар, и по углам кабинета, ломаясь, побежали темные волны; на улице загудела машина. Сигнал был густой и нетерпеливый.

— О! Ваня уже за мной прикатил! — Наумов взял с вешалки шапку и долго вталкивал ботинки в старомодные боты с пряжками. Здесь их называли «прощай, молодость!»

— Фамилия твоя Бродский, значит?

— Да.

— В каменщики, значит, хочешь. И в чью бригаду?

— К Шмелеву, в «Жилстрой».

Наумов ревновал к «Жилстрою», потому что туда уже переметнулись лучшие его рабочие: там больше порядка и, конечно, приличней платят, а жизнь есть жизнь: рыба ищет где глубже и так далее.

— Почему к Шмелеву? Ты бы к Пантелеевичу оформлялся, добру научит старик.

— Товарищ у меня к Шмелеву хочет... Вместе мы...

— Смотри, — Наумов отчужденно поджал губы. — Смотри... — Он выпрямился, потопал, вгоняя ботинки поплотнее. Его лицо было красным после возни с ботами. — Тебе видней, конечно... В «Жилстрое» оно легче... Ну, айда, что ли.

### 3

У стройки уже теперь много внушительных эпитетов: она и важнейшая, и ударная, и на сегодняшний день чуть ли не единственная в своем роде. Говорят о ней пространно и с удовольствием. Проектировщики, нацеливаясь на будущее, с удовольствием рассуждают о красоте своего детища, московские инстанции в папиросном дыму обсуждают директивные бумаги, газетчики, соответственно, бьют во все бубны, и только у строителей сермяжная доля, для них остаются «узкие места» и неувязки.

В Совете Министров строительство еще не узаконено и, значит, не «спущено финансирование», а Совнархоз полгода назад на свой страх и риск собрал на площадку людей, чтобы после не начинать на голом месте. Далеко, конечно, смотрели, да толку от такой прозорливости пока нет. Совнархоз же обязал Новинский трест «Промстрой» организовать на Ольховской площадке специальное управление, призванное заниматься пока и жильем, и промышленными объектами. Недавно здесь же появился прорабский участок «Жилстроя». Отдать бы этому участку поселок целиком, с вершками и корешками, простор широкий, да и потом богу богово, черту — чертово, как говорится, но тогда Наумова совсем нечем будет занять: на промбазу не поспела еще техническая документация. Как хочешь, так и выкручивайся. Выкручиваться велят за счет внутренних резервов, а где они — резервы, когда у «Промстроя» свой план и свои заботы! СУ-11 перебивается с хлеба на квас: под гараж фундамент залили, баню кладут, пекарню, больницу...

Наумов пока мотается из Новинска и обратно по плохим дорогам на своем газике — «выбивает» кирпич, цемент, лес, шифер. Клянчит, грозитя и шлет во все концы тревожные телеграммы. Ведь сотни людей на его балансе, в основном, комсомольцы из Москвы. Бегут москвичи с ударной стройки каждый день, потому что заработки никудышные, условий — никаких, а на одном энтузиазме далеко не уедешь. Это еще Владимир Ильич говорил.

Старается Наумов, а ничего пока не меняется. Правда, на рапорты управленческое руководство собирается теперь не в прорабскую будку, как раньше, а в новый кабинет Наумова.

Яично-желтый пол в кабинете все еще липнет к подошвам, и на свежей краске остаются рифленые следы сапог и калош. Люди с робкой почтительностью обхо-

дят часы, огромные, как сейф артельной работы, и рас-  
саживаются вдоль стен на скамейках.

Бригадиры и мастера, как один, ходят в брезентовых  
плащах с капюшонами поверх фуфаек, курят махорку  
или «детский Казбек» — тоненькие дешевые папиросы.  
Окурки рядом складывают на подоконниках.

На рапортах стоит гвалт. Бранятся незлобно, но  
азартно, суют друг другу в горячих потрепанные тетрад-  
ки с записями и требуют «матерьяла».

Один просит — нож к горлу — в ночную смену буль-  
дозериста Ваську («что с фиксой»), и только его; второ-  
му как раз бульдозериста Ваську и задаром не надо  
(«поскольку пьяница»), третьему одинаково — «чи ры-  
жий, чи рябой», лишь бы бульдозер был.

...Рапорту конец. Наумов почему-то всегда в эту ми-  
нуту вынимает расческу, смотрит ее на свет, тщательно  
обдувает, кладет обратно в карман пиджака и отвора-  
чивается к окну. Крупное лицо его равнодушно, но это  
только для виду — он готов к схватке: остались так на-  
зываемые «текущие» вопросы. Мастера и бригадиры ти-  
хонько подвигаются к столу. Сигнал, наконец, подан:

— Что у тебя еще? — он выбирает кого-нибудь на-  
угад.

Как быть? Еще весной, если Наумов помнит, в битум  
попала совхозная корова. Завязла и сдохла. Так требу-  
ют выплатить.

Иван Абрамович дотошно выясняет: который би-  
тум — тот ли, что возле скважины, или у складов? Про  
корову-то он помнит, а вот где она завязла — совершен-  
но выскочило из памяти. У складов?

— Не платить!

— Так через суд грозятся...

— Мы пуганые, пусть грозятся. Пасти скот лучше  
надо, за пять верст от усадьбы убежала. Она могла, на-  
пример, и под поезд попасть.

— Не платить!

— Ну что ж, раз так... — Мастер достает шапку, невесть как попавшую под скамейку, стряхивает с нее горелое табачное крошево и уходит, не попрощавшись.

На столе уже лежит подклеенный на сгибах рабочий чертеж.

Прораб водит по чертежу желтым прокуренным пальцем.

— Вот, Иван Абрамович, на канализации отметка занижена. Проектировщиков запрашивали.

— Молчат?

— Молчат.

— А ты жди. Они нужник на полтора очка в год проектируют. Делай как делал.

— А спросят?

— Ответим. У них времени было больше нашего и рассчитали, грамотеи, с точностью плюс-минус лапоть. Работай.

Есть у Ивана Абрамовича на всякий случай веские аргументы, которые сразу ставят на место слишком уж решительных просителей. Голос начальника при этом густеет и смоляная бровь гнется подковой:

— Сегодня на свет народился? Я ведь тебе не Совнархоз, дорогой товарищ!

Проситель пятится и чувствует себя школьником, который забыл дома дневник.

Есть еще слова «Госплан» и «трест». Первое не то чтобы пугает, но сразу опускает человека из заоблачных высей на неустроенную сибирскую землицу. Второе вызывает пока робкие, но настойчивые упреки:

— Долго они там это... чешутся.

— Что значит «чешутся»? Ты выбирай выражения, там товарищи тоже ложками суп хлебают, не глупей нас с тобой! — гремит Наумов исключительно по долгу службы.

Кто станет утверждать, что глупее — может, и умнее, а вот соображают медленно, действуют неопера-

тивно. С другой-то стороны, до треста двадцать пять километров. По телефону не дозовишься — связь такая, что лучше и не пробовать, — за каждой мелочью не наездишься. Да и кому охота возиться с управлением, которое всем пока в тягость. Дай бог со своими делами разобраться.

...Едет ночью Наумов домой в Новинск и думает о том, когда же минет для стройки пора коротких штанишек? Перелом близко, иначе чем же объяснить, что на площадку зачастили делегации всех рангов и уровней — и столичные, и областные. По заснеженным дорогам едва пробиваются на площадку «Волги» и «Победы». Приезжие расспрашивают о нуждах, «вникают». В общезжитиях добросовестно записывают однообразные жалобы: радио нет, газеты опаздывают на три дня, в столовой очереди и плохо кормят. Жалуются больше от скуки и вежливости — спрашивают люди, молчать же не будешь! Помочь, конечно, не помогут, хлопочут как-то, и на том спасибо.

— Приехали, Иван Абрамович! — толкает шофер начальника. — Вздремнулось?

— Вздремнулось. Ну, день прожили...

### Глава III

#### 1

Вадиму Каткову не повезло — он вырвался с пленума горкома комсомола в Новинске только в восемь часов вечера и уже не застал на стройке секретаря обкома Сперанского, который приезжал нечасто, но задерживался допоздна. А тут на тебе — нет Сперанского! Поговорить с ним надо было позарез. Каткову стало обидно: торопился, ехал до поселка в кузове попутной «коробочки», промерз на ветру до костей и все, выхо-



дит, понапрасну! Он забежал в магазин, выстоял очередь за колбасой и хотел сразу идти в общежитие пить чай, но свернул в контору, рассчитывая застать там Наумова, и неожиданно столкнулся с ним на тропке за котельной. Наумов кивнул и сплюнул. Он стоял здесь, видимо, давно, потому что успел вытоптать пяточок на снегу и набросать окурков.

Желтые пятна света, разлинованные решетками, падали, вытягивались из окон котельной за их спинами; у недостроенной пекарни справа на проводе, зацепленном за ролик столба, качалась лампочка, и казалось, будто два этажа кладки с жутковато черными проемами тоже качаются и могут вдруг тихо осесть, раствориться в настороженной темноте. Ночь была гулкая; и четко выделялся каждый звук. Где-то близко урчала машина с погашенными фарами, скрипел таями кран и сердитый голос повторял: «Майна! Уснула, что ли?»

Наумов курил, посапывая, вертел в руке штукатурную дранку и пристально смотрел в ту сторону, где была машина.

— А звезды! — сказал Вадим. — Только в Сибири такие звезды...

И правда, в эту ночь звезды были особенные: крупные и с ясным мерцанием. Они напоминали росу на ярком солнце, когда в каждой капле загадочно горит радужное зернышко.

Наумов сильнее засопел.

Вадим удивился: чего это он стал, как вкопанный, и почему молчит?

— Гляди! — зашептал вдруг Наумов и больно толкнул Каткова локтем, показал туда, где уже с зажженными фарами разворачивался самосвал. Громыхнули цепи на кузове, самосвал побуксовал у конторы и направился в город.

Наумов опустил плечи, бросил дранку и спрятал голову в воротник дошки. Он озяб.

— Сволочи! — тоскливо сказал начальник и снова плюнул. — Сажать надо за это! До чего докатились. Дверь у нужника оторвали — вон, видишь? — Начальник имел в виду деревянную уборную между конторой и пекарней. — Кто может дверь взять? Шофер. На горбу же ее не потащишь, люди увидят, а в кузов свалил и — ходу. Кому в голову стукнет проверить?

Вадим понял: Наумов караулил, не повезут ли сегодня таким же манером вторую дверь, и вдруг так засмеялся, сам того не ожидая, что выронил покупки, кое-как завернутые в газету. Иван Абрамович подобрал колбасу, вытер ее рукавом и насупился:

— Тебе потеха, а мне они уже вот как! — и, притопнув, показал на гору Лысуху, у подножья которой, на отшибе, рассыпались дома «Воруй-города». В документах поссовета эти выселки деликатно назывались индивидуальным сектором. И не времянки лепил «сектор», а дворцы под железом и шифером, иной раз в два этажа и с разными вспомогательными службами. Незаконно-рожденный поселок лаял на стройку хриплым басом цепных кобелей, ошалевших от тоски, прятал за ставнями скупые огни.

— Пережитки капитализма в сознании, — сказал Вадим и опять засмеялся: слишком уж забавно вел себя Наумов, охраняя дверь нужника от загребистой публики «Воруй-города». Ему ли не знать, что каждый день уплывают со стройки туда, наверх, несчитанные кубометры кирпича, цемента и раствора.

— Пережитки... — глухо и невесело отозвался Наумов. — У нас своих пережитков хватает. — Он угадал, о чем думает Катков. — Крадут, конечно. Ты вот комсорг. Так организуй, дорогой товарищ, свою молодежь, клич брось: загородим жуликам дорогу! Вы мастаки это... насчет кличей.

Вадим поковырял снег носком валенка.

— Займемся...

— Надо заняться! Все мне пальцем тычут, Сперанский тоже: развели, говорит, Запорожскую вольницу. Бульдозеры подогнать да снести все к черту. Снеси попробуй, если их закон ограждает. Да и квартир я всем дать не могу — нету у меня квартир. Полагайся на себя, значит. Они и полагаются.

Наумова прорвало, он готов был отвести душу.

Над головами у них зажегся золотой огонек, покатился к горизонту, разбрызгивая искры, и в секунду пропал. На левом берегу, словно продолжение этой лихорадочной вспышки, запульсировало малиновое зарево: на металлургическом комбинате Новинска в отвал сбрасывали горячий шлак. Зарево постепенно тускнело, наливалось чернотой и, наконец, пропало.

Наумов закашлялся.

— Вот так, дорогой товарищ. — Он едва кончил длинную и сбивчивую речь о своих и чужих пережитках.

— Я вас специально искал, Иван Абрамович... О клубе со Сперанским был разговор?

Был разговор! Из-за этого разговора и топчется на ветру начальник СУ-11, потому что начальнику посоветовали успокоиться. А нужник тут ни при чем. Смешно на самом деле нужник караулить! Смешно.

Был разговор.

Они сидели втроем — Сперанский, секретарь парткома стройки Бессонов и Иван Абрамович.

Сперанский по обыкновению грубовато ворчал: молодежь пьет да картежничает, с бытом хуже некуда и плана нет. Самое главное — плана нет, полный провал по этой части.

Бессонов смотрел гостю в глаза, морщился и скорбно качал головой: упустили, недосмотрели. Подтянемся, учтем...

У Наумова толстая кожа, он на своем веку и постраш-

нее выволочки слушал, посерьезней деятелей видел. И по привычке. Оказывается, и к этому можно привыкнуть! Наумов думал: «Интересно, секретарям обкома тоже вкатывают те, кто повыше, или там обхождение деликатней?» Его давно удивляло, что при таких вот душещипательных беседах, от которых толку в общем-то чуть, руководство никогда не поминает о собственных промахах, ну хотя бы в порядке самокритики или для демократического жеста. Ведь кавардак на площадке оттуда начинается! Сверху! Закрутили колесо, а сами толком не знают, то ли будет, то ли нет. Постановление не подписано, фронт работ не открыт, вот и тычешь людей куда попало, чтобы без хлеба не оставить. А они жмут: давай, давай! Чего давать-то? И чем давать?

— Развел тут, понимаешь, Запорожскую вольницу! — Сперанский тяжело повернулся к Наумову, дожидаясь ответа. Наумов вдруг вспомнил о просьбе Каткова и сказал, кажется, невпопад:

— Клуб надо строить, хоть плохонький. Срочно надо строить!

— Зачем нам плохонький, зачем нам хижины дяди Тома? — ответил Сперанский. — Я тебе про Фому, а ты мне про Ерему. Не слушаешь?

Наумов почувствовал, что багровеет, что его начинает трясти, в глазах замельтешили сквозь ситечко зеленые огоньки.

— Я слушаю, я это слышал, это мне любая старушка на перекрестке скажет, они нынче тоже умные — старушки. Тычете носом, будто ката в дерьмо, а поможет — кто? Мне экскурсанты да теоретики надоели! Запорожская вольница, пьют... Куда им деваться? Работа да четыре холодных стены. Я бы тоже запил, да некогда мне!

У Бессонова странно изломались белые губы.

— Иван Абрамович, разве ж так можно! И о клубе ты не ко времени.

У Наумова больно стукнулось сердце, он даже не посмотрел на Бессонова.

— Пошел я, — сказал он, — отпустите от греха подальше.

Сперанский вдруг засмеялся и, поскрипев стулом, махнул:

— Ступай на холодок. Ступай. — И добавил, закуривая: — Нервы, эх, нервы наши...

— Так был разговор? — переспросил Вадим.

— Ты не у меня спрашивай! — ощетинился Наумов. — Ты у Бессонова спрашивай, он нас с тобой все обещает принципиальности научить.

— И что?

— И ничего. Сперанский шикнул, он и лапки врозь: простите, говорит, что не ко времени вопрос поднял. У него коленки затряслись. Мужик тоже, прости господи.

— И вы не поддержали?

— Что я? Я человек маленький, надо мной командиров много, они меня и слушать не хотят.

Вадим круто повернулся и махнул рукой:

— Оба вы хороши!

— Погоди!

— Да ну вас!

— Тоже нервы, — вслед ему сказал Наумов и далеко швырнул папиросу.

## 2

Вадим занимал небольшую комнатку в общежитии. Ему обещали через месяц выкroить жилье лучше, он сперва отказывался: народ рядом — самое главное, но скоро понял, что был неправ. В комнатку к нему наведывались все, кому не лень, в любое время и не по делу, а просто так — про погоду перекинуться или пожаловаться на такие беды, улаживать которые комсорг явно не по чину. Взяться за что-нибудь дома теперь

просто не хватало сил. Засыпал поздно и с тяжелой головой, просыпался рано, в шесть, когда шумно собиралась на работу первая смена.

И сейчас он особенно сильно почувствовал, как устал от вечной суеты, от мелких бесконечных хлопот, и, наверное, впервые появилась у него мысль, что никому он здесь не приносит настоящей пользы. Даже обжитый уголок показался неудобным: тумбочка в углу с плиткой, поставленной на два кирпича, столик с книжками у окна, узкая кровать... Машинально включил чайник, стянул пиджак и повалился на кровать, подложил ладони под затылок и долго разглядывал беленый потолок в трещинах, шаркал по полу ногой. Он больше всего боялся сейчас непрошенных гостей и прислушивался к шагам в коридоре. Незаметно забылся. Проспал он, судя по всему, около часа: на чайнике подпрыгивала крышка и по стене над тумбочкой расплылось мокрое пятно от пара.

Он заварил чай, налил в стакан и сделал бутерброд. Но есть уже не хотелось — все еще портила настроение плохая весть, которую он услышал от Наумова. Вадим не мог остыть и сердился на себя, на Сперанского, на Бессонова.

Кто-то сильно постучал. «Опять несет кого-то!»

— Да!

Вот уже кого не ждал Вадим, да еще в этот вечер — секретаря парткома Олега Ивановича Бессонова. Легко на помине!

Вадим за два месяца так и не смог приноровиться к этому человеку, и простоты между ними пока не было. Кажется, неплохой мужик, но чересчур мягкий для своей должности.

Бессонов повесил пальто на гвоздь возле косяка, запустил короткие пальцы в волосы и, взлохмаченный, откровенно беспомощный, стал похож на толстого обиженного мальчишку. Он сел молча и засмотрелся на

стакан с чаем. Около стакана на газете подрагивало коричневое пятно. Он потрогал пятно, будто хотел стереть, и полез в карман за платком.

— Вам налить?

— Не возражаю, пожалуйста... Холодно на дворе...

— Да, холодно...

В коридоре кто-то лениво ругался с комендантшей— требовал новую подушку, чтобы перья не лезли изо всех дыр; комендантша тоже лениво рассуждала о том, что на всякого новых подушек не напасешься и казенное добро надо беречь.

Бессонов постучал ногтем по стакану. Широкое лицо парторга от тепла зарумянилось и обмякло.

— Налей-ка еще... Что-то нехорошо мне, голова тяжелая. Грипп, наверно...

— Эпидемия ходит, вы осторожней.

— Забежал к тебе. Мы же никогда не встречались вот так, — и подмигнул на стакан, — в семейном кругу. Расстроился я сегодня, знаешь... Со Сперанским неудача вышла...

— Слышал...

— Ругают нас.

— За что?

— Разве не за что? Плана нет. Люди бегут. Есть за что ругать. Как ты думаешь: оправдываем мы свой хлеб?

— Плохо у нас пока, — дипломатично ответил Вадим и затряс коленкой. В стаканах зазвенели ложки.

Бессонов поморщился.

— Понятно — плохо. Вот и посоветоваться бы. Ты не новичок на общественной-то работе: все-таки два года секретарем райкома был, да еще в Москве. Это — школа.

— Райкома комсомола.

— Все равно — райком. — Бессонов снова запустил пальцы в волосы и выпятил нижнюю губу. Ему, видно,

трудно давался разговор. Он помедлил немного и тряхнул головой. — Я инженер и не привык к психологическим тонкостям. Давай-ка уж начистоту, Вадим. Ты по доброй воле сюда приехал или...

Вадим не отвел взгляда:

— Договаривайте.

— ...или для анкеты переднего рубежа не хватает? Комсорг подвинул стакан ближе к себе, чтобы Бессонов не трогал пятна на газете — это раздражало.

— Сам, признаться, не собирался. Так уж получилось...

— Как получилось?

— Ребят агитировал, они у меня спросили: «А сам?» Вгорячах пообещал, ну и... Но, в общем, не каюсь.

— Значит, ненадолго? Временный, значит? — Бессонов встал и оперся руками на стол.

— Не беспокойтесь, Олег Иванович, честное слово, не из таких. Взятся, так до конца стоять буду!

— Ну, ладно. Тебе, наверно, можно верить. Я попробую верить. — И Бессонов протянул Каткову пухлую, в шрамах, руку. — Держи.

— Порешили.

— Так-то оно лучше — сразу. — Бессонов, ссутулившись, ходил по неуютной комнате — думал вслух.

Был он на днях свидетелем одной интересной сцены. Когда из бригады Пантелеевича собралось увольняться сразу пять каменщиков, Наталья Голубь попросила разрешения позвонить в горком комсомола из его кабинета. Спросила: «Как быть?» Бессонов не знал, кто там трубку взял, но ответ слышал. «Передай им, чтоб не мудровали! — кричал парень из горкома. — Коммунизм строим, на нас страна смотрит!» — и дальше в том же духе. У Натальи даже руки затряслись. «Они, — ответила, — про то не хуже нас с тобой знают. Ты можешь по-человечески? У них заработков нет, Заработков! Ясно?»



Вот как тут держаться? Вроде и права Наталья, а как ответить им? Тоже про коммунизм, а?

— Видите ли, — ответил Вадим, подумав немного, — когда я приехал сюда, я, естественно, задумался, с чего начать и где главное. В нашем положении это должен решить для себя каждый. У меня, конечно, есть кое-какие навыки, но только общие, так сказать. А здесь нужно многое искать заново. Вот первое: почему от нас все-таки уходят люди? Трусы? Есть и трусы, но глупо ведь требовать подвига от каждого. Мы на перронах для них зажигательные речи говорим — про рубежи семилетки, про тайгу, знаете... Ночевки у костра, медведи... Это из плохих книжек. Двадцатилетний едет сюда и буквально ударами сердца отсчитывает километры — ведь ему внушили, что он здесь просто необходим, без него дело швах. Да. И с чем встречается? Простои, мытарства, копейки в получку, копейки в аванс. И ни кино, ни радио, ни клуба. И человек быстро теряет чувство нужности своей, если так можно выразиться, начинает носить московскую прописку в паспорте, как мировую скорбь. Ему приходит в голову, что он нам великое одолжение сделал, понимаете?

Бессонов опять выпятил нижнюю губу. Он всегда так играл губами, когда сердился или думал, а Вадим говорил:

— Я сегодня впервые тоже засомневался, нужно ли было ехать сюда? Но это уже личное. Знаете, мне наша площадка представляется иногда плацдармом на правом берегу, через который скоро двинутся армии. И нам с вами отведена задача: сохранить силы. Как можно меньше потерь — моральных я имею в виду. А как раз эта работа у нас на втором, если не на третьем, месте по значению. Нам все некогда. Наумову некогда, Бессонову некогда. Все пекутся о том, чтобы уложиться в план, добраться ценой любых усилий и лишений до некой цифры «вала». Никто не разменивается на мело-

чи, но жалеют тес для эстрады, клуб строить нет денег, спортзал — после, стадион — лет через десять. Для чего, спрашивается, живем мы? Для машин, для кубов, для процентов?

— Спокойней можно? — голос Бессонова начальственно погрубел. — И заправь рубашку.

Вадим уселся на подоконник и смахнул со лба волосы.

— Не могу спокойно. — Он дотянулся до стола и жадно выпил холодный чай. — Вот мы иной раз забываем многое такое, о чем забывать недопустимо. А потом удивляемся: откуда молодежь такая равнодушная, где святые традиции? А с традициями не рождаются.

— Что ты имеешь в виду?

— Многое имею в виду.

— Например?

— Ну вот знамя Новинскстроя. Вы знаете его историю?

— Что-то не припомню, — пожал плечами Бессонов.

— Нет пророка в своем отечестве. — Вадим слез с подоконника. — Я в старых газетах вычитал об этом знамени, интересовался немножко историей города. За это знамя дрались отчаянно, с ним специальная делегация везла в Москву первый чугун. И ведь живо знамя, оказывается, висит теперь в областном музее. Я вот хочу забрать его оттуда — как эстафету, понимаете?

— Это можно... — сказал Бессонов. — Поезжай на моем «газике». Хоть завтра поезжай.. А за беседу — спасибо.

Вышел он осторожно, сгорбившись. Вадим хотел пожалеть его и не смог. Нелегко теперь этому человеку, да ведь никто за него не выбирал дороги. Год назад Бессонов был начальником смены в одном из прокатных цехов Новинского комбината, но обстоятельства вынесли его на самую круть событий. Не так уж важно в кон-

це концов, что он не знает партийной работы (можно научиться, не боги горшки обжигают), важнее другое: свое выдвижение сюда, судя по всему, он принял как суровую неизбежность и несет свою ношу с душевным надрывом, без одухотворенности, без чувства внутренней свободы. Отсюда неуверенность и вечная оглядка...

### 3

Машину тряхнуло. Катков больно ударился затылком о дужку сиденья и проснулся.

Светало.

Заря выплеснула малиновые языки, и звезды погасли.

Газик бодро выбрался на плоскую макушку холма и встретил неправдоподобно большое солнце в красном ободке.

— Ветер поднимется к вечеру, — хрипло сказал шофер и зевнул. — Нам ведь обратно еще ехать!

Снег розовел, и наезженные колеи блестели.

Краски эти были непрочны — заря блекла, затушевывалась и быстро потускнела.

В городе лежал сухой туман, пахло заводским дымом.

...В главном зале музея было сумеречно и тихо. Через стрельчатое окно слева, выложенное цветным стеклом, сочился розовато-зеленый луч. У самого входа под табличкой «Флора и фауна родного края» стоял на задних лапах медведь и как-то совсем негрозно скалился, будто клянчил Христа ради кусочек сахара. Медведь был сильно побит молью.

Узкий зал тянулся далеко, и в самом конце его на круглой подставке лежали бивни мамонта.

Зал был хорош, солиден, если бы не обдрипанный медведь, если бы не бивни мамонта на грубо сработанной подставке, покрашенной бронзой, и фотографии по

стенам в деревянных рамках. Все это отдавало милой провинцией и как-то не принималось всерьез.

Пройти дальше Вадиму не дала пожилая уборщица в линялом халате. Она загородила дорогу, за спиной, наотмашь, держала мокрую тряпку.

— Закрыто, гражданин! Рано еще. Лезут и не спросят.

— Мне бы директора.

— Сейчас позову, — тряпка уборщицы оставляла на паркете черные петли.

Вадим приготовился встретить такого чинного старика в тройке дореволюционного покроя, но из узкого коридорчика появилась среднего роста блондинка, совсем еще девчонка. С ее лица не успел стереться характерный южный загар. Она чуть смутилась.

— Вы ко мне? И по какому вопросу?

Катков вынул из кармана пиджака хрусткую бумагу, подал ей и сдернул шапку. Блондинка заметила этот его маленький промах и улыбнулась: она уже собиралась сказать, что у них обязательно снимают шапки — из уважения к истории хотя бы.

— Я, собственно, не директор — исполняю обязанности.

Катков почему-то рассердился и грубовато спросил:

— Как вас зовут, простите?

— Виктория Матвеевна.

— Очень хорошо! — Он подумал о бумаге, которую вручил ей, и снова рассердился: секретарь Новинского горкома комсомола по пропаганде, сам из педагогов-литераторов, любил выпренные обороты и после каждой фразы понатыкал восклицательные знаки. Умолял его писать проще, да где там: сами, мол, с усами.

Виктория Матвеевна надела строгие очки без оправы и стала читать пространный «манифест» секретаря горкома. Она сразу нахмурилась.

Вадим сунул шапку за отворот пальто и осторожно,

чтобы не вспугнуть эту застоялую тишину, ударил снятыми перчатками о ладонь. Он теперь побаивался: вдруг да не отдаст? С норовом, видно, девица.

— Что вы хотите? — тревожно спросила исполняющая обязанности и сняла очки.

— Там же ясно написано: «Знамя Новинскстроя».

— Зачем?

Он пожал плечами: вопрос лишний.

— Не дам! — вдруг отрезала Виктория Матвеевна. — Я его три года разыскивала. Три года! И знаете, где нашла?

Он, естественно, не знал.

— На складе ЖКО, в пыли. Я ведь могла и не найти его, правда?

Катков еще раз ударил перчаткой о ладонь.

— Несерьезно это, честное слово!

— Вы ведь пошумите только! — она прижала кулаки к груди, — и опять на склад, а? — Она как-то испуганно посмотрела на него, а ему вдруг захотелось погладить ее, утешить, как маленькую, но он шагнул к ней вплотную — большой, всклокоченный, с изломанными бровями, не успевший остыть. И сказал тихо:

— Не надо так. Зачем? И я вас понимаю...

Она опустила руки. В одной был зажат платок с очками, в другой — бумага, где говорилось, что Новинский горком комсомола просит областной музей передать знамя «Новинскстроя» молодежи великой стройки.

— Ведь пошумите и бросите?

— Я все равно без знамени не уйду! — он спутал волосы на затылке растопыренными пальцами.

Она вздохнула.

— Что же с вами поделаешь...

...Минут через пятнадцать она вынесла пакет из грубой бумаги, перевязанный шпагатом, и, поклонившись, подала его; Вадим тоже низко поклонился. Пакет был совсем легкий.

— Оно очень простое. Это теперь любят всякое такое... с кистями и позолотой...

Он почувствовал, что она искренне переживает, и с великодушием победителя сказал:

— Не беспокойтесь — все будет в порядке. Ручаюсь.

— Спасибо. — Она стояла к нему вполоборота. Ее глаза были подернуты теплом. — Мне оно дорого.

Вадиму всегда казалось, что это очень больно — носить очки, он машинально потер переносье.

Исполняющая обязанности продолжала:

— Мы не умеем хранить память о пережитом, совсем не умеем!

— Так уж и совсем? А вы умеете?

— Учусь, хочу научиться!

— И нас потом научите?

— Попробую! — Она не заметила его усмешки. — Вот еще что. В Новинске есть Павел Яковлевич Кузнецов. Это главный доменщик на комбинате. Он вам о знамени все расскажет. Он человек... Такой человек!

— Совет ваш считать за первый урок, да? — Вадим еще попробовал шутить.

Она хотела идти и повернулась уже, но он осторожно притронулся к ее плечу.

— Расстанемся по-хорошему. Дайте руку.

Рука была маленькой и крепкой.

— Увидимся?

— Может быть...

Она свернула в коридорчик

Он стоял и слушал стук ее каблуков.

— До свиданья!

Она не ответила.

Из города вырвались только к вечеру — задержались в обкоме по разным делам.

Вадим думал о девчонке из музея, вспоминал ее гла-

за, волосы с запахом хны, перехваченные у лба крепкой лентой, походку...

Ему было грустно, как случалось много раз, оттого, что люди слишком просто встречаются и уходят, будто с подножки трамвая. Встретишь — интересно, расстанешься — попечалишься немного. Это хорошая печаль — она очищает.

Вадим улыбнулся.

Знамя лежало у него на коленях.

## Глава IV

### 1

Сын профессора Виктор Бродский и сын повара Глеб Трошин, по прозвищу Грузин, осенним вечером оглянулись в последний раз на тесный московский переулок в районе Красной Пресни и вскинули на плечи рюкзаки.

Прощание с домом получилось скупым: оба стеснялись показать слабость, стеснялись друг друга. Только через квартал остановились. Виктор присел на скамейку и вытянул ноги.

Над мокрыми крышами стыл закат. Тучи лежали низко и плотно, только у горизонта сквозь узкий прищур проглядывал кусочек неба и бился ослепительно-белый свет.

Поновели отмытые дождем трамваи. Пахло прелым листом и бензиновой гарью. У стоков kloкотала серая вода, она несла обрывки плакатов и размокшие папиросные коробки.

Виктор снял рюкзак и, вздохнув, сцепил руки на затылке. Глеб понял, что сейчас, как всегда, ни к месту, начнутся нудные излияния, но торопить друга не посмел — слишком хорошо он его знал и досыта наспо-

рился с ним за многие годы. Они не раз рвали «насовсем» и всякий раз мирились.

Они росли рядом. Сперва бегали вместе в детский сад через дорогу, после — в школу. Сейчас вот в Сибирь, на стройку, едут вместе. Они были во многом схожи, как все мальчишки на свете, и были совсем разные, потому что не умели одинаково думать и увлекаться.

— Пора...

— Дай-ка закурить лучше.

— Грустно?

— Есть немножко...

Курить Виктор не научился. Он неловко управился с зажженной спичкой и, глубоко втягивая щеки, запыхал папиросой.

— Отец все...

В последние дни Виктору так недоставало поддержки, хотя бы простого участия, но отец держался отчужденно. Помог уложить вещи и ушел к себе в кабинет. Даже не попрощались, не обнялись. А зачем это, кто виноват? Сам же старик любит говорить при случае, что в мелочности своей люди иной раз усложняют самое простое. Бродский-старший не хотел смириться с тем, что сын бросает университет.

Виктор защищался и наступал: разве ты не ходил в батраках, не боронил в десять лет, не пас коров, не командовал батальоном в восемнадцать? Я согласен — для одного это много, согласен, что наша кость, как ты выражаешься, теперь тоньше и плечи наши уже, но я не вижу плохого в том, что и мы намерены испытать да изведать. Кто отнимет у нас это право? Ты? Тогда где же логика?

Илья Ильич Бродский, профессор-математик, рассуждал именно логично. Университет нужно кончить по двум причинам: во-первых, государство потратило на Бродского-младшего уже круглую сумму, а обманывать государство — преступление; во-вторых, человек с



образованием, то есть с определенной суммой систематических знаний, куда полезней обществу, чем самонадеянный сопляк и невежа.

— Я же заочно буду учиться, не брошу. Ты же знаешь, что не брошу!

Оба понимали, однако, что за словами кроется другое, чего вслух сказать нельзя: «Как же нам расстаться, ведь нас только двое на свете!» Мать Виктора умерла, когда ему не было и года. Один уедет на край земли с веселыми друзьями, под музыку и торжественные речи, другому что же останется? Думать одинокими длинными ночами о сыновьей неблагодарности.

Они не привыкли жить врозь. Только в войну разлучались, да и то ненадолго.

— Ну, хватит страдать, пора уже!

Виктор бросил папиросу на мокрый тротуар.

## 2

Виктор привык во многом полагаться на Глеба, который не без оснований, но и без скромности любил подчеркивать свое превосходство: в чем, в чем, а в жизни-то он по крайней мере смыслит.

Виктор не перечил, когда Глеб решил за обоих, что лучше и выгоднее сейчас из «пошлого гаража», где они слесарили, податься к Шмелеву: и заработать можно, и поучиться есть чему. И слава опять же! Виктор не заметил противоречия в его доводах (раньше он ратовал за гараж — «тепло, светло и мухи не кусают!») или не хотел замечать. Он больше всего стремился определить-ся на стройке, занять прочное место.

Как-то утром после ночной смены они пошли договариваться. Тепляк Шмелева недавно перетащили трактором на новое место — к фундаменту жилого дома на восемьдесят квартир — будто шутки ради взгромоздили на бугор мерзлой земли. Дверь в тепляк открывалась

с пронзительным скрипом. Внутри было нестерпимо холодно, хоть и жестяная печка, малиново раздумавшись, исходила жаром.

Шмелев, неудобно согнувшись, выводил на тетрадном листке восьмерки выходов. Он зарос недельной щетиной и выглядел усталым. Глеб церемонно, за руку, поздоровался с ним и сел рядом. Виктор пристроился подальше и принялся читать обязательства бригады, выписанные на куске ватмана ровным почерком. Читал, не улавливая смысла, и понял, что волнуется! «Чего это я? Присмотрит—хорошо, откажет... Ну, тоже беды в том нет...»

Шмелев сперва кивал Глебу круглой головой и без конца перекидывал шапку, словно она мешала ему, потом без видимой причины оживился и даже хлопнул по столу растопыренной ладонью: нет! Глеба не смутил такой неожиданный поворот, он подвинулся еще ближе к Шмелеву и зашептал ему что-то в самое ухо.

— Не возьму и не проси! — громко сказал тот. — Кто его обрабатывать станет, у меня все с разрядами. Нет! Ты — другое дело.

Виктору этот торг не понравился.

— Меня не берете, значит?

— Нет.

Виктор сгоряча сильно толкнул дверь. Она так и осталась открытой.

У Пантелеевича было хорошее настроение: работа пока ладилась, кирпича подвезли вдосталь, фронта хватит еще недели на две, а там, бог даст, что-нибудь подвернется. У начальства поди на плечах не капустные кочаны.

Клади они больницу. Работа заметно двигалась: уже на втором этаже уложены были потолочные перекрытия (плиты на этот раз поспели вовремя); стены поднялись по периметру метра на полтора. Собрали трубоч-

ные леса, и дом стал похож на ежа, который распустил иглы.

Пантелеевич соорудил скамеечку в углу, спрятался от ветра, закурил и задумался.

Виктор перепрыгнул через канаву, по шатким сходням добрался на первый этаж, оттуда по лестнице — на второй. Он торопился, боясь, что после не хватит смелости, и, как человек, до крайности застенчивый, приступил к существу вопроса без околичностей, несколько даже грубовато:

— Товарищ Пантелеевич, не знаю вашего имени, извините, — Виктор сообразил, что со стороны он выглядит потешно в мотоциклетном шлеме яйцом, авиаторской курточке и высоких американских ботинках, но держаться иначе уже не смог. — Примите к себе!

— Звать Максимом. И получится Максим Пантелеевич. — Бригадир склонен был шутить. — Где такой спец отхватил? — Он очистил рукавицей место рядом с собой. — Присаживайся, молодой человек. Чей такой?

— Бродский моя фамилия.

Максим Пантелеевич шумно потянул носом:

— Пирогі пекут. С ливером. Люблю пироги с ливером!

Михаил Глушко, здоровенный, почти двухметровый парень, яблочно-румяный и добродушный, бросил работу и зажал рот ладошкой.

Петро Быков сейчас же прикрикнул на него:

— Давай, давай, некогда!

Пантелеевич спросил Виктора:

— Уважаешь пироги с ливером?

Бродский чуть поклонился и с готовностью воспитанного человека ответил: пирожки с ливером он не уважает, но, вообразите, с детства по душе ему запах больницы и новых калош. Тут уж Михаил Глушко не утерпел — захлебнулся тонким смешком и выпустил мастерок.

- Значит, в бригаду к нам хочешь?
- Да, но я не каменщик. Мне уходить?
- Да ты не горячись.
- У Шмелева был? — спросил Петро Быков.
- Да.
- Не взял Шмелев?
- Нет.
- А дружка твоего?
- Взяли.

— Ну, понятно, спились. Тебя, выходит, не желают обрабатывать жилстроевцы, тебя учить надо, ты — рыжий.

— Почему — рыжий?

— Да так уж говорят... Вон твой дружок торопится. Болеет за тебя все ж.

Глеб топтался у сходней и не хотел подниматься: он знал, что в бригаде Пантелеевича к нему относятся с неприязнью, а Петро Быков открыто его не любит. И встречались-то они раза два всего: здравствуй, прощай, да и только. И чего парень дуется, непонятно?

Глеб был недоволен Шмелевым. И не мог человек вежливей отказать, на самом деле: после, мол, подскочите, посоветоваться тут надо кое с кем. Режет с плеча: «Кто его станет обрабатывать!» Дубина!

Как быть теперь? Отказаться за компанию? Так резона нет никакого. Да и нельзя — начальнику мастерских заявление об уходе написал...

По сходням скатился Михаил Глушко, споткнулся о доски и, разбросав руки, упал на колени. Его круглое безбровое лицо побагровело. Он с перепугу часто моргал.

— Чего стоишь тут, мешаешься!

— Витьку жду.

— Он Витьку ждет. Твой Витька к нам просится. И потешный же! Он что? — Глушко покрутил пальцем у

виска.— Про калоши какие-то мелет. Я из-за него мастеров обронил — со смеху. Пойди, послушай.

Виктор сидел с Пантелеевичем и чинно беседовал. Вежливость и уважение к старшим бригадир ставил превыше всего, и этот странноватый парень, видно, сразу ему понравился.

Когда каменщикам надо было умаслить старика, они быстренько разыгрывали короткую сцену с несложным текстом. Роль ведущего исполняли по очереди. Ведущий сквозь зевоту спрашивал:

— А что, Максим Пантелеевич, — раньше, говорят, народ уж шибко обходительный был?

Старик заводился с первого оборота и надолго.

— Раньше, конечно, народ неиспорченный был. Незнакомый человек, бывало, первый поклонится тебе на улице и про здоровье спросит, дорогу покажет и благодарности не потребует.

Потом, как по писаному, следовал рассказ о тех временах, когда Пантелеевич еще ходил в холостяках, «в одна тысяча девятьсот двадцатом году», и задумал жениться, а отец не дал своего благословенья, и свадьба разладилась.

— Нравилась девушка?

— Ну как же, нравилась!

Если на этой точке разговор удавалось благополучно замять, то старик впадал в ласковую меланхолию и на время переставал строжитья. Если же возникал острый спор, каменщики переживали черные часы. Тут замечалось все и ничего не прощалося.

Удивительный человек был Пантелеевич!

Ни скитания по Союзу, ни крутые взлеты людей, которых он знал близко по работе, не удивляли и не трогали его.

Он совершенно искренне не представлял себя в другой роли, но зато до чудачества уважал свое дело. Попробуй заикнись, что, мол, колонны на площадке никто

класть не сумеет, когда доведется, или лепку не знает. Он умеет, он знает! Сейчас же пойдут в ход пальцы: театр оперы и балета в Киеве, вокзал в Новосибирске, водный бассейн в Минске... Пальцев не хватало. И коксовые батареи, и лещади доменных печей, и трубы на тепловых станциях. Жизнь длинная, сработано дай бог каждому. Попробуйте вы сработать столько!

Пантелеевичу уже за шестьдесят. Хватки былой, конечно, нет, но он еще не сдается. Пытались его приспособить на курсах производственного обучения и быстро дали отставку, после того как он на занятиях по технике безопасности взялся рассказывать случай из своей практики примерно в таком духе: молодой парень в одна тысяча девятьсот сорок восьмом году помер на моих глазах, когда попробовал мочиться на оголенный кабель высокого напряжения.

Наверно, слишком сочными красками пользовался старик, коли девчонки с курсов подали на него коллективную жалобу.

### 3

...Глеб не первый раз удивился образцовому порядку в бригаде: такое встретишь только разве в учебниках да плакатах о передовом опыте. В каждой мелочи был какой-то особый, тонкий вкус к делу. Глеб последнее время работал в Москве на образцовой номерной стройке, но знал, что перед этими ребятами, в большинстве своем новичками, ему при случае похвастаться нечем. И к качеству не придерешься: кладут под расшивку, аккуратно.

За спиной каждого каменщика, близко к кладке, стояли штабеля кирпича, небольшие самодельные ящики с раствором, и подсобницы — среди них и москвичка Наталья Голубь — попевали, не суетясь и не сбивая темпа.

Наташка Голубь улыбнулась ему издали: «Подожди,

я сейчас». Она радовалась каждому приходу этих ребят — земляки ведь. Наташка скучала и жаловалась при встречах, что устает от злых шуток по поводу массового дезертирства москвичей и переживает, принимая все упреки на свой счет.

Наталья сняла варежку и подала Глебу влажную горячую руку.

Она была в фуфайке и вельветовых брюках. Валенки с высокими голенищами, на голове шерстяной платок, туго перевязанный сзади. И стала девчонка вроде бы серьезней и старше. Поубавилось непосредственности, свойственной совершенно бесхитростным людям.

Она была такой перед отъездом из Москвы — славной хохотушкой, судившей о добре и зле с милой категоричностью, почерпнутой из школьной программы и наставлений интеллигентных родителей.

— Как дела, Глебка? — в широко открытых глазах Натальи осталась неизбывная смешинка, и Глебу вдруг захотелось сейчас же сделать ей доброе. Он спросил:

— Валенки трут?

— Трут! Они как деревянные!

— Новые всегда трут. Давай-ка я голенища подверну. — Он сунул перчатки под мышку и присел на корточки. — Может, сзади разрезать, тогда легче будет?

— Нет, так мне не нравится — торчат, будто свиные уши. Из дому что пишут? Ничего нового? У меня тоже ничего нового... Приходите сегодня чай пить, мама печенья прислала. И колбасы. Ты любишь копченую колбасу? Здесь такой не продают. — Она болтала без умолку, потому что смущалась, замечая многозначительные ухмылки ребят: не зря, мол, старается парень. Наташка вовсе смутилась, когда Петро Быков наладил неподалеку от них скамеечку из доски и кирпичей, удобно устроился, вынул папиросы и объявил перекур. Ребята затихли, готовясь дружно поддержать его новую шутку. Но Петро только потер рукавом стеганки носки своих ще-

гольских сапог и скосил голову, любуясь их праздничным блеском. Каменщики, скупая, разбрелись по углам и задымили.

Пантелеевич ничего не замечал — тыкал в колено Виктора кривым пальцем: у них закипал спор о свободе личности и уважении к старшим. Старик рад был изложить свою точку зрения на эту животрепещущую тему новому человеку.

Глеб решил не ждать приятеля и попрощался с Натальей. Петро Быков в спину ему бросил с ехидцей:

— Погости у нас еще, чего не погостил?

— Спасибо, некогда мне...

— К Шмелеву, значит, устраиваешься? А к нам не хочешь? Какой разряд имеешь?

— Пятый.

— Пятый... Ты вот чем девок обхаживать, показал бы нам, как в столицах люди трудятся. Мы темные...

Глеб пожал плечами: так же, как везде, в столицах трудятся...

Петро поднялся.

— Ты погоди. Видишь два простенка в торце? Стань туда и покажи ударный труд. Ты на вокзале, когда вас встречали, обещал показать ударный труд.

Глеб снова пожал плечами: глупости.

Наташка возмутилась:

— Ты, Петька, сидишь и сиди! Или сам покажи ударный труд! — она выпятила губы и очень похоже его передразнила. — Напрасно воображаешь, что только ты один тут работать умеешь. Подумаешь, мастер высокой руки! Я бы на твоём месте, Глебка, утерла ему нос, хвосту несчастному.

Петро добродушно засмеялся:

— Разошлась, курица.

— Встань и покажи!

— И встану. Пусть и он встанет. Посоревнуемся, а чего? Для интересу, а?



— Утри ему нос, Глебка, прошу тебя, а то скажет, что струсил. — У Наташки азартно заблестели глаза. — Погоди, — сказала она совсем по-детски. — Я вот научусь как следует, я ему покажу!

...Они оценивающе переглянулись — Петро и Глеб.

Один в берете и синем спортивном костюме — высокий и гибкий, другой — в солдатской стеганке и поношенной шапке — короткий и тяжелый.

Тренированная легкость и тяжелая сила. Один не умел и не хотел скрывать своей неприязни, другой пытался показать, что он выше этого.

Глеб с самого начала затею считал глупой, но самолюбие его было уже задето да и отступать было поздно: Пантелеевич колупнул чугунным ногтем крышку на своих допотопных часах фирмы «Павел Буре» (подарок наркома в одна тысяча...) и скомандовал:

— Начнем. Время засекаю. — Часы прыгали в руке старика. Его уже лихорадило, как заядлого болельщика перед кубковым матчем. Он сунул Глебу свой мастерок.

— Струмент вполне подходящий, ты не сомневайся, к руке приточен. И переодеться надо бы тебе, к чему дорогую вещь портить. Не хошь? Ну как хошь...

...И площадка второго этажа больницы стала вдруг большим зрительным залом, над которым в мягкой дымке размытым пятном висело солнце и медленно падал снег. Небо было настоящее, настоящая стройка за спиной, а не задник сцены. Вздрагивал воздух над печными трубами домов, где-то далеко кричал паровоз, под колесами машин шуршала заезженная до блеска дорога.

МАЗы с прицепами — целый караван, натужно завывая, везли на промбазу экскаваторы. Зубья их ковшей были отполированы неподатливой сибирской землицей.

Из-за Лысухи выпорхнул вертолет, и горбатая тень его запуталась было в проулках Нахаловки, но тут же заскользила вдоль жилстроевского массива, который, словно маршами огромной лестницы, тянулся к городу:

«в голове» стояли еще не оштукатуренные дома в пять этажей — готовые, за ними тянулись почти готовые — в четыре, потом в три, два. И кончалась эта лента котлованами.

Вертолет растворился в дымках Новинска.

Лица каменщиков напряглись: ведь на карту была поставлена честь, никак иначе. Они отодвинулись назад и замерли плечо к плечу.

Михаил Глушко готовил рабочее место: поднял на настил растворные ящики, разложил кирпичи ближе к внешнему краю досок, счистил лопатой наледь.

— Без пяти одиннадцать. Начали!

Глеб натянул брезентовые рукавицы, предложенные Наташкой, и упруго, ловко вскочил на настил. Постоял там, примеривая мастерок к руке, и, не оглядываясь, взял первый кирпич.

...Взмах — и лепешка раствора на кладке. Правая рука делает плавный полукруг, и кирпич, выдавливая по шву серую кашу, прочно садится в гнездо. Еще два осторожных движения, тусклый блеск мастерка — и чистый, чуть потемневший от влаги кирпич остался навечно, чтобы держать на себе стену, крышу, дом.

Взмах, блеск мастерка, поворот, снова взмах... Кирпич, рядок, стена, дом.

...Петро Быков повесил свою стеганку на стояк лесов, медленно размотал шарф, застегнул изношенный пиджачишко табачного цвета и плюнул в ладонку: а ну, дай дорогу! Я иду!

— Поторопись!

— Я ему пять минут фору даю. Сколько будем работать. Пантелеевич?

— Час.

— Десять минут фору!

— Хвастун несчастный, — сказала Наташка.

— Торопись, Петя, парень-то не из новичков, смотри, как жмет!

И началась гонка!

У Глеба уже два ряда, у Петьки один... Три рядка — два, четыре — три. А Петро не торопился. Или у него не получалось быстрее? Он сильно расставил ноги, согнулся так низко, что из-под ремня комом вылезла нижняя рубашка. Работал он некрасиво — развалисто и неровно.

От спины Глеба поднимался парок.

...Пять рядков, четыре рядка.

С крана, заинтригованный, явился новенький — Валька Храмов и протиснулся вперед. На его плечо машинально оперся Михаил Глушко и ткнул ему в ухо папирсой. Валька завертелся волчком.

Мишка очнулся и вместо того, чтобы извиниться, показал крановщику здоровенный кулак: сгинь с глаз!

— Не догнать Петке!

— Догонит.

— Сколько там, Пантелеевич?

— Двадцать минут только.

— Москвич выдохнется!

— Раствора не хватит!

— Подвезут раствор.

Никто не садился — просто забыли, что можно сесть. И мало кто остался хоть бы внешне спокойным: один гонял шапку со лба на затылок, другой ломал спички о коробок и никак не мог прикурить, третий вертел на пальце ключи...

— Петя, жми!

Прояснилось солнце. На плиты перекрытий упали плотные тени. Окна ближних домов плеснули светом, который слепил глаза.

— Москвич выдыхается!

Глеб действительно стал сбиваться с ритма — он спотыкался, падал коленями на кладку и нагибался уже не так упруго, как бы мимоходом, незаметно, потирая поясницу.

— Глебка!

Москвич обернулся, вытер рукавом пот со лба, слабо улыбнулся.

— Раствор весь у меня...

Семь рядков и шесть с половиной: Петро нагонял медленно и верно.

— Отдохните пока, ребята.

Глеб жадно курил. Петро болтал ногами с настила и хмуро щурился. Дышал он ровно и, по всему было видно, несколько не устал.

На растворный узел побежала девчонка из новеньких, чтобы побыстрее пригнать машину, и вернулась ни с чем: на растворном случилась авария.

— Гады! — плюнул бригадир. — Вот гады! — и сердцем захлопнул крышку часов.

— Ура! — закричала Наташка. — Москва взяла.

— Не в последний раз, — сказал Петро Быков.

## Глава V

### 1

Валька Храмов скромно остался у порожка и вздохнул. Без всякой, впрочем, печали. Он даже умудрился сделать вид невинно пострадавшего: я, мол, здесь и кое в чем, конечно, виноват, можете меня даже слегка наказать, но обречь на голодную смерть не имеете права — не в такой стране живем.

Вадим Катков, когда вошел Валька, стоял у открытого сейфа и задумчиво колупал подоконник. Увидел гостя — поморщился: «Те же и Марья Ивановна!»

Этот парень возвращался назад, как бумеранг!

С грехом пополам Вадим устроил его на базу механизации крановщиком, но там, разобравшись, потребовали трудовую книжку и другие документы, а инспектор отдела кадров — принципиальная женщина пенсионно-

го возраста — решительно заявила, что совсем не горит желанием попасть в тюрьму из-за какого-то проходимца, у которого, кроме Почетной грамоты, выданной месткомом Сухумского пароходства, да прав крановщика, ничего нет.

Насчет тюрьмы она, разумеется, преувеличивала, но в общем-то была права.

Катков сердито хлопнул дверцей сейфа и оделся.

— Идем!

...У Наумова был народ, и они ждали, пока начальник освободится.

Валька терся в углу и томился: скорей бы уж эти хлопоты кончились, надоело!

Наконец, кабинет опустел. Наумов сложил руки на животе, устало прилег на спинку кресла, прикрыл глаза. Он без конца крутил большими пальцами — вроде бы сматывал думки свои в клубочек, потом разматывал их назад. У него было хорошее настроение, потому что день выдался хоть и суматошный, но удачливый: все как-то складывалось, быстро решалось. Начальник крепко потер лицо обеими ладонями и приготовился слушать.

— Вот парня не могу пристроить, Иван Абрамович, — сказал Катков и принялся расправлять канцелярскую скрепку, которую нашел на столе. — Беда с парнем. Пусть сам расскажет.

Валька, торопясь и перескакивая с пятое на десятое, изложил соответственно анкетным данным небогатую биографию и более подробно остановился на леспромпхозовской эпопее, за время которой твердо и вконец разочаровался в профессии лесоруба и однообразной жизни в медвежьем углу, где культурному человеку негде приклонить голову.

Наумов криво, невесело усмехнулся. Они с Катковым переглянулись.

— Откуда сам?

— Из Сухуми.

— Чего же ты из Сухуми махнул в такую даль? Сухуми — город веселый, там нескучно, особенно культурным товарищам вроде тебя. — Иван Абрамович хотнул и прицелился на Вальку сощуренными глазами. — Непонятно, дорогой.

— Советский Союз хотел посмотреть...

— В туристы бы записался. Из окна вагона любо-дорого смотреть. И шашлык в ресторане есть.

— Туристом неинтересно.

— Зато работать не заставят. А здесь лес валить приспособили свободного художника, ай-ай! Образование у тебя какое?

— Семь классов.

— Почему не десять, например?

— Бросил школу.

— От бедности, что ли? Отец с матерью дальше кормить не могли?

— Почему, могли...

— Семь классов сейчас не культура, а так. — Начальник дунул. Со стола упал карандаш. — В солдаты и то, пожалуй, не возьмут. Отец у тебя кто?

— Линотипист, в типографии работает.

Наумов велел секретарше пригласить мастера базы механизации Кузьмичева.

Тот пришел минут через пятнадцать и почтительно вытянулся.

— Садись. Скажи, как новенький. — Наумов кивнул на Вальку. — Годен, нет?

Валька потупился: ничего приятного мастер не мог сказать при всем желании.

На кране БКСМ-4 работал огненно-рыжий парень. Тот самый, которого Валька видел на стройке в первый день и просился к нему в кабину.

Звали парня странно — Клавкой. Он носил огромную шапку и засаленный полушубок. У Клавки верхняя губа была рассечена.

Парень заметил удивление на Валькином лице и понял, в чем дело. Ему это было не впервой.

— Я тебе сразу объясню, чтобы ты после не спрашивал, почему меня зовут Клавкой. Девичье имя. Тут целая история... В общем, мама очень хотела девочку, во сне видела. Отец, заметь, сына хотел. Ну, когда я это на свет появился, маме плохо было после родов, и врачи, чтобы ее не расстраивать, сказали, что у нее девочка. И нарекли меня сразу Клавкой, а я, видишь, мужик. Вообще-то Клавдий имя древнее и мужское. Император Римский был, например, Клавдий. И еще были деятели. Вот. Учти: только раз объясняю, после уж сержусь.

Потом минут пять он жаловался с доверчивостью ребенка на то, что сотню раз просился на другой кран и что ему не дают прохода шутками: твоим, говорят, механизмом еще Китайскую стену клали. Клавка почти с первого дня на стройке, и зачем ему, подумать только, с такой рухлядью возиться? Хуже других, что ли? Так несколько не хуже. Новая техника приходит, и кому так сразу дают, а тут только обещают! Клавка еще сказал:

— Тебе, послушай, одному работать придется, я пас.

И смягчился. Ему, видно, стало неудобно, что так сразу огорошил новичка, и пообещал вдруг ошеломленному Вальке рассказать на досуге историю Тунгусского метеорита. В этом вопросе он, оказывается, крепко «рубит». Некоторые серьезные фантасты, Казанцев, например, предполагают, что много тысяч лет назад к нам на Землю прилетали разумные существа с других планет и миров.

Ученые отвергают это, но чем объяснить, что на скалах давным давно высечен человек в скафандре?

Клавка ушел.

Валька так и не понял, к чему это он про ученых и

про метеорит, но разбираться было некогда: сердце колотилось больно и редко — давно не ощущал Валька привычного запаха масла, солидола, керосина, озона — этого сложного и крепкого запаха усталой машины. Вроде ступил на порог родного дома после долгой разлуки, после чужих дорог и чужих людей. Валька сел на жесткий стульчик, обшитый стеганой тряпицей, и посмотрел сквозь паутину треснутого стекла вниз, заученно протянул к щитку руку и удивился: на пульте крана были не контроллеры, а кнопки! И вправду, с бородой машина.

Нажал осторожно «лево». Стрела дрыгнула и со скрипом покатила, подпрыгнул гак, закачались разлохмаченные концы канатов. В сонном прищуре рассвета луч прожектора был бледен, как отблеск свечи. За ночь леса и груды кирпича припорошило снегом. Снег припудрил дороги. Дальше, в дымке, еще подсиненной ночью, едва рисовались силуэты домов. Окна кое-где уже желтели. Полная луна, отороченная рябым облаком, катилась по хребту Лысухи.

Вальке сверху было видно все, как в песне поется. Впереди поселок, за спиной — Новинск. За спиной огни и огни, будто отражается в реке небо без единого облачка. В объезд через старую крепость до города двадцать пять километров — точка в точку по спидометру, а вот когда через Томь перекинут еще один мост, станет совсем рукой подать.

Новинск большой и ничего себе город. А поселок... Хочется Вальке в письмах хотя бы похвастать, да нечем пока.

Прояснивало. Через дорогу прямо впритык один к другому стоят три дома — два общежития и столовая из шлакоблоков, дальше — магазин. Рядом с ним — одноэтажный особнячок, тоже из серых блоков. Это — объединенный партком и комитет комсомола. Слева, совсем на отшибе, — контора, окрашенная желтым, выше, у самой Лысухи — котельная, недостроенная пе-



карня и растворный узел. Труба котельной торчит посреди белого поля, как восклицательный знак на пустой странице. Ни строгости, ни стати, ни красоты. Будто все это скатилось с горы и кое-как остановилось. Только справа снова через пустырь двумя рядами вытянулись в сторону Новинска жилстроевские «небоскребы». Окна в них почти сплошь черные, и по мертвым стеклам скользит блик луны.

Под щитком взбулькивали зеленые искры.

А ну, вправо, а ну, влево. Красотища-красота! Каменщики внизу уже попыхивали папиросами, расходились по местам с солидностью хозяев, вполне сознающих, что они-то и есть соль земли. Только бригадир Пантелеевич легко бегал по площадке и распоряжался тонким мальчишеским голосом. Бригадир поднял голову и показал рукой на себя:

— Давай! Эй ты, давай, что ли!

У штабелей, на вытоптанном пятачке, красноватом от кирпичного крошева, хлопотали девчонки-подсобницы, и среди них — Наталья Голубь, перевязанная до самых глаз платком. Вальке она нравилась. И поэтому он развернул стрелу с особой лихостью, подцепил контейнер, дернул вроде бы слегка, начал выбирать трос и подавать налево. Но контейнер закачался, с него посыпались кирпичи, словно яблоки из переполненной корзины. Подсобницы завизжали и попрятались кто куда. А Пантелеевич машинально все загребал к себе: сюда, сюда!

Кнопки проклятые! Груз раскачивало маятником, кряхтел, поскрипывал старый кран, и Валька уже не мог совладать с ним: машина с непонятым упрямством освобождалась от его власти и наперекор опускала контейнер. Крановщик слизнул с губы холодный пот: каменщик, что стоял метрах в пяти от бригадира, повалился на плиту и с проворством, какое появляется только в минуты смертельной опасности, на карачках проскочил

опасную зону. Выпрямился и погрозил кулаком:  
— Тебе что, в ухо дать?! Чем шутить вздумал, сволочь!

Это был Петро Быков.

Валька открыл дверь кабины и заорал, срывая голос:  
— Виноват я, если техника такая, ну? И до твоего уха достать можно, понял?

— Ты работай! — ответили снизу. — Плохому танцору завсегда штаны мешают. Если пьяный — проспись.

— Как новенький? — еще повторил Наумов и выковырнул мизинцем папиросу из пачки.

Кузьмичев вежливо привстал, помаргивая, и пожевал губами.

— Позавчера тут с ним неувязка получилась. И смех, и грех, ей-богу! Жалуются, значит, ребята, что кран стоит на втором квартале. Я туда. Стоит, действительно. Этот мечется. — Мастер показал на Вальку шапкой. — Лица на нем нет. И смех, и грех... В чем дело? Предохранитель отошел. Он ничего вроде парень. Как фамилия?

— Храмов.

— Храмов, значит. Переживал... Я и говорю — лица нет на нем.

— Ты короче, дорогой: годен, нет?

— Так ведь оно как, Иван Абрамович... На безрыбье, значит, это... и рак — рыба. Подучим. Понятие имеет, не совсем богом убитый.

Валька даже при пиковом своем положении такой обиды стерпеть не мог, он собрал рот в ниточку и ударил рукавицей о колено:

— Всучили рухлядь, да еще требуют!

— Ты не ерепенься, коршун тряпичный! — добродушно осадил его Наумов. — Что это у тебя со штанами, скажи? Неприлично, понимаешь, с такой задницей

ходить, зашил бы. Да не дуйся, на сердитых, сам знаешь, воду возят. Денег нет у тебя? Мы вот с комсормом не виноваты, например, что у тебя денег нет. Работать, понимаешь, не научился, а пить уже горазд.

— Откуда вы знать можете, пил я или нет!

— По радио передавали. Из леспромхоза сбег?

— Ну?

— Вербовался?

— Ну?

— Можно тебе верить, скажи?

Валька, собрав лоб морщинками, уставился в потолок — он соображал: на самом деле, можно ему верить или нет?

— Можно!

— Поживем — увидим.

Наумов дал Вальке бумажку, в которой бухгалтерии приказывалось начислить ему авансом пятнадцать рублей на бедность и обеспечить спецовкой.

Валька и Кузьмичев гуськом, тихонько, вышли из кабинета.

Наумов закурил и покосился на Каткова. Тот все еще мял пальцами канцелярскую скрепку.

— Забавный парнишка, — сказал Наумов. — Встречал я таких.

— Каких? — Вадим сердито бросил, наконец, скрепку в мусорницу и поднял голову.

— Любопытных. Им все смотреть бы, любопытным, а здесь у них, — Иван Абрамович постучал мундштуком папиросы по виску, — ничего не откладывается, из таких всякие получаются — и разгильдяи, и добрые люди. В какие руки попадут, смотря по тому.

— Верно, смотря по тому, — сказал Вадим. — А эти руки — наши руки, — показал растопыренные ладони. — Понял?

— Чего не понять-то.

Они перешли на «ты», и оба не заметили, когда. Или

вчера, позавчера, а может, месяц назад. Это как-то само собой получилось.

— Ты что, — спросил Наумов рассеянно, — невеселый вроде?

— Да вот... Знаешь, какая проблема скоро перед нами встанет?

— Одной меньше, одной больше...

— Девчонок звать на стройку надо. Организованно. Нехватка у нас слабого пола.

— Избави бог! Куда я их дену?

— Я хочу с горкомом комсомола договориться насчет курсов — повара нам разве не нужны будут? А портные, продавцы? Сфера обслуживания, в общем. — Вадим улыбался и щурился. — А?

— Далеко смотришь...

— Ближе — нельзя. И не перебивай. Твоя забота — жилье и деньги. Отпускаются ведь на обучение деньги.

— С деньгами проще, а вот общежитие...

— Видишь, приглашаем мы, дорогу и прочие подъемные оплачиваем мы, и пусть живут у нас, на площадке, под рукой, а то выучатся и в город подадутся. На чужого дядю работать грех — верно?

— Это — да.

— Договорились. Когда с деньгами решишь?

— Шустрый ты, все вы шустрые, только я — бюрократ и волынщик.

— Когда?

— Да встретимся еще сотню раз, на одном пяточке крутимся, ступай.

## 2

Во второй половине дня работа стала: ночью перемело дорогу в город и утром не подвезли кирпич. А запаса не было. Какой запас, если все шло с колес! Вот и перебивались с хлеба на квас.

Ребята хотели уже «шабашить», но Пантелеевич велел ждать — вдруг да подбросят, всякое бывает. До конца смены можно еще два-три куба положить: какой ни есть, а заработок.

Вальке Храмову тошно было торчать в кабине на верхотуре, но спуститься вниз не хватало духу — стеснялся. Вчера да и позавчера мучились из-за него каменщики!

— Плохо, — сказали, — у тебя получается. Может, ты раньше коров пас и на кран сам напросился?

Теперь о нем забыли — не нужен. Сидят кружочком на лесах, курят и слушают байки Петра Быкова. Этот парень, между прочим, Вальке не нравится, потому что больше всех орет, что крановщика им дали самого бросового. Быков ширококул и приземист, ходит в солдатском стеганом бушлате и щегольских хромовых сапогах. Вальке видно, как он тянет за рукав Наталью Голубь — просит сесть рядом. Та отбивается и смеется. Им весело там. А Вальке до вечера одному маяться, что ли! Он решительно распахнул люк: пусть издеваются, Храмов тоже не лаптем битый, сумеет, поди, ответить. Валька спустился вниз.

...Петро Быков ласково уговаривал Наталью:

— Ты сядь рядом, поговорим ладком. За жисть поговорим.

— Отстань! — Наталья ударила его свернутой газетой по голове, но все-таки села.

Она не умела долго сердиться.

— Учимся? — спросил Петро и шмыгнул. — В торговом институте, да?

— И буду учиться!

— Знаю, будешь. Упрямая ты, потому что глупая. Хочешь, сказку расскажу к случаю, про торговашей, — Быков опять сапнул и плюнул. — А ты, который с крана, чего выставился? Сгинь, не из хрусталя сделан!

Валька тоже сплюнул — со злости, но отодвинулся:

со своим уставом в чужой монастырь не лезь, потерпеть придется.

— Так слушай сказку, сиди и слушай! Идет раз Правда. Вид у нее несвежий, глаза красные, будто в стогу ночевала. И голодная. Я уж не знаю, по какому случаю она голодная. Может, так же вот, как нам, наряды плохо закрыли или другие причины помешали ей плотно подкушать. Да. Навстречу, значит, Кривда попадаетеся — веселая сама дальше некуда и пьяная малость. Пузцо у нее тугое, как полковой барабан перед смотром. Встретнулись, Кривда и спрашивает: «Чего ты такая прямо неаккуратная совсем?» — «Голодная я, — Правда отвечает, — дожилася до тюки, нет ни хлеба, ни муки». — «Айда, накормлю, — Кривда говорит. — Я богатая сегодня, деньги карманы оттягивают». Да... Пришли в ресторан, наелись, напились вдоволь. Официантка побрякала счетами: «Девять рублей с вас, гражданочки». — «Хорошо, — говорит Кривда, — рубль сдачи». — «Как рубль сдачи?» — «Просто: я же вам десять рублей дала, вот подружка видела, подскажет чуть чего». Официантка скандалить. Кривда велела позвать директора и жалуется ему: дескать, мы люди трудовые, не те, у которых денег черт на печку не забросит. Дали вот гражданочке десятку, она, однако, рубль назад не вертает. Безобразия творится в вашем заведении... Директор видит, дамы солидные, обмануть вроде не могут, и в полный голос закричал на официантку: «Уволю за такие дела без выходного пособия!» Та, конечно, в слезы: «Где же, товарищи, правда?»

Правда встала, вздохнула и скромненько так сказала: «А я наелась и молчу».

Каменщикам сказка понравилась, они долго и от души смеялись. Наталья же рассердилась до слез:

— По-твоему, в торговле все воры, да? Ты так считаешь?

— Не все, конечно, но...

— Ты, Петька, дурак. И я эту сказку где-то читала, так что неоригинально.

— Мы темные, мы не читали — от людей слышали.

Наталья вырвалась, наконец, от Быкова, неловко вскарабкалась по двум доскам, на которые кое-как были набиты ступицы, встала на скрипучий настил и помахала кому-то варежкой. Петро из любопытства тоже поднялся за ней — кого она там увидела и кому так обрадовалась?

Из-за угла мужского общежития вывернулись Глеб Трошин и Виктор Бродский. Они по тротуарчику направились к столовой.

— Здравствуйте! Куда?

— Обедать. Давай с нами.

— Нет. Мы кирпичи ждем, должны подвезти.

— Я завтра к вам! — крикнул ей Виктор Бродский. — Уже оформился. Пантелеевич берет.

— Вот и хорошо! — Наталья соскребла с кладки снег, смяла его в горсти и неловко кинула. Снежок упал на дороге и рассыпался. Виктор сделал испуганное лицо и шутливо пригнулся, погрозил Наталье кулаком: встретимся, мол, еще в узком переулке.

Петро Быков растер в прах окурочек своим щегольским сапогом и сказал ребятам:

— Этот, в берете, пижон, — он намеренно не назвал фамилии Трошина.

— Почему? Тебя на кладке обжал?

— Да ну, обжал... просто.

— Почему тогда?

— Не знаю...

Пантелеевич, потеряв надежду на подвоз кирпича, дал отбой.

Пошли в тепляк и снова расселись вдоль стен по лавкам. Так уж повелось у них — отдыхать минут пяток после смены здесь, тем более в тепляке последнее время стало намного чище и опрятней. Это девчонки постара-

лись. И больше всех — Наталья Голубь. В уголке она даже прибила аптечку и небольшую доску передовиков в резной самодельной рамке. Уютно гудела железная печь на гнутых бульдожьих ножках. Курить тут с некоторых пор строго воспрещалось, а плевать — не дай бог! Больше всех за нарушение элементарных правил санитарии и гигиены доставалось Пантелеевичу, который за сорок лет скитания по стройкам так привык курить и плевать, что никак не мог взять в толк, почему эти запреты должны касаться и его.

Засопел чайник на печке.

Петро высыпал в кипяток полпачки грузинского чая и на вытянутой руке, обжигаясь, поставил чайник на стол.

— Кому плеснуть?

— Лей — не жалея! Кружки в тумбочке.

Пантелеевич кряхтел в сторонке — собирал инструмент в брезентовую выдавшую виды сумку, какие бывают у почтальонов. И носил он ее так же — на ляжке через плечо. Бригадир собирался «на халтуру». У него были обширнейшие связи среди частных застройщиков. Золотые руки Пантелеевича в Нахаловке котировались высоко, и за вечер иной раз старик «вышибал» по полсотни, не считая магарыча и обедов за хозяйский счет.

Петро Быков прихлебнул чай и напряженно сощурил узкие глазки.

— Слушай, Пантелеевич...

— Ага. — Старик, не разгибаясь, обернулся.

— Сними шапку, пожалуйста, да поскорее!

Тот, не сообразив поначалу, в чем дело, торопясь, стянул шапку и обнажил острый череп, выцветшие, смятые волосы у него на затылке торчали клочками. Макушка же была совсем голой.

— И не стыдно тебе, Пантелеевич?

Старик трудно разогнулся и, не выпуская тяжелой сумки из рук, уставился на Быкова с испугом.

— Чего мне стыдиться-то?



— В годах ты, а по девкам ходишь?

— Чего мелешь, прости господи! Отошла моя пора. Да я и по молодости не блудил, знал порядок. Это вы нынче вольные, мы в строгости росли.

— Зачем тебе деньги тогда? Ведь со старухой живете. И дети помогают, поди?

Бригадир поудобней приладил сумку, поддернул плечом, чтобы правильно легла ляжка, и стал сворачивать самокрукту. На его впалых щеках выступил румянец.

— Ты вот давеча сказку рассказывал. Любишь сказки... Я тоже слышал от людей немало за свою жизнь.

— Так расскажи и ты.

— Это недолго... Нес, значит, ворон птенца через речку. Несет и спрашивает: «Когда вырастешь, сын, кормить-поить меня старого будешь?» — «Как же! — птенец отвечает. — Обязательно кормить-поить буду!» — «Врешь!» — рассерчал ворон и бросил птенца в речку. Второго таким же манером спрашивает, и второго в речку.

— Жестокая птица — ворон!

— Ты постой. Да. Третьего опять несет. Опять, значит, спрашивает об этом же самом: — «Кормить-поить будешь?» — «Нет, — отвечает тот. — Свои заботы лягут, когда окрепнут крылья мои!» — «Правду говоришь, сын! Горькую, а правду!» — и перенес ворон третьего птенца через реку. Вот так. Дети-то отрезанный ломоть. Понял? И не шуток над стариком. Негоже так.

Пантелеевич споткнулся на порожке тепляка и вывалился на улицу:

— До свиданьица!

...После работы, к вечеру, Петро Быков сбегал в столовую и вдруг обнаружил, что хлопот у него на сегодня — никаких. В комнате пусто: ни Клавки Рыжего, ни Михаила Глушко.

Окна уже заливала чернота. На тумбочке, застелен-

ной салфеткой с грязным клеймом ЖКО, частил скороговоркой будильник.

Петро почесал за ухом и зевнул: «Куда бы податься?»

Вытащил из-под Клавкиной кровати ящик с книгами, покачал на ладони увесистый том с чудным названием: «Туманность Андромеды» — и кинул его обратно. Читать не хотелось. «Сапоги, что ли, почистить?!» Мягко прошелся бархоткой по своим хромовым, наклонив голову, с прищуром полюбовался на работу. Носки сапог маслянисто блестели, там искрами рассыпался свет от лампочки.

«Разве к девчонкам в общежитие податься, хоть побазарим...»

...Дверь в комнату девчонок была отворена настежь. Петро сразу наткнулся на Михаила Глушко. Тот стоял, опершись о косяк. В его опущенной руке папироса крутила веревочкой синий дымок. Петро поперхнулся заранее приготовленной шуткой: Маша Соловьева, подсобница их бригады, сидела у стола, низко согнувшись, и навзрыд плакала. Серый свитер сидел на ней мешком, но на спине сильно проступали лопатки; коса медного цвета через плечо свешивалась почти до пола. Соловьева была ничего из себя девчонка, только худая да длинная. На стройке шутили: Клавку Рыжего и Машу следовало бы поженить, поскольку они одной масти.

— Чего это? — небрежно спросил Петро. — Лишнюю жидкость откачиваем?

На него зашикали: помолчи, мол, дело серьезное.

Наталья Голубь, прижав кулаки к подбородку, ходила от окна к двери и говорила внятно, с расстановкой, будто диктовала. Она сейчас напоминала молоденькую учительницу, которая вела первый урок и потому не в меру строжилась.

— Ну, вот зачем плакать, не понимаю? Разве можно так распускаться, ведь мы уже не маленькие, правда?

Видишь, денег тебе собрали. — Она подвинула на край стола горку смятых рублей и мелочь. — Купим тебе ботинки, велика важность, и стоит ли из-за такой мелочи слезы лить. Хочешь, валенки мои возьми?

Соловьева смахнула локтем деньги на пол и подняла подурневшее от слез лицо. У нее распух, потяжелел и без того большой нос, на лбу выступили серые пятна, какие бывают у рожениц. Она скривила губы.

— Милостыню даете, да? Отойди от меня, надоела! Все надоели!

— Не одной тебе трудно...

— Слышала. Передний край называется, на ботинки не зарабатываешь! Или я не старалась, отлынивала? Скажи, отлынивала? Зачем звали нас сюда, ну зачем?—Соловьева вытерла губы скомканным платком и всхлинула. Она хотела держаться гордо и холодно — ведь правда на ее стороне. Но в горле собрался комок, от которого больно и слезы катятся без удержу. От того становится еще обидней и кажется, что и в слабости этой виноваты тоже они. Она страшится своих слов, но и слова не удержишь.

— Не нужны мне куски ваши! Не нищая я и не стану унижаться, если отца нет, если отец на фронте погиб! Человек десять, понурившись, сидело по койкам. С чьих-то валенок на полу натаяла лужица.

Слышно было, как на улице колотится ветер. Поднимались и опадали на окнах желтые занавески, шевелились даже края скатерти на столе.

Наталья, вытянув руки, метнулась к Петру. В глазах у нее тоже стояли слезы.

— Скажи хоть ты слово!

Что ей сказать? Когда человек обижен на весь белый свет, никакие уговоры не помогут. И ты, Наташка, еще — сорока-белобока, помолчала бы, пусть выплачется, в разум войдет...

— Молчи! — глаза у Петра стали совсем узкими. —

Молчи. Собралась — и скатертью дорога. Видишь, мы ей не нужны. — Он отвалился от стенки и вышел неловко, боком.

Наталья уткнулась в угол и громко заревела — не выдержала роли.

— Да что же это такое?!

Теперь все внимательно, с молчаливым укором, следили за Соловьевой. Та перебирала вещи в большом чемодане...

## Глава VI

### 1

Вадим все присматривался к этому парню и никак не мог понять, что же он из себя представляет.

Петро Быков относился к числу трудных из-за неуютного характера.

Он умел любого вывести из равновесия колючими шутками и циничным, сознательным равнодушием порой даже к самому святому.

И все-таки Петро был, пожалуй, ближе других к Пантелеевичу. Их роднила любовь к ремеслу, не показная, внешняя, а скупая и глубокая. Недаром же Пантелеевич считал его своим преемником. Быкова в бригаде боялись больше старика, потому что он по молодости не научился прощать ошибок. Была в нем мудрость «от земли», выношенная лукавыми русскими дедами, вылежанная на печи.

Он резко отличался от ребят — в большинстве своем горожан — деревенским обличем и простоватыми ухватками, которые часто коробили девчонок. Он знал этот свой недостаток, но не хотел ни меняться, ни прилаживаться.

Вадим пробовал сойтись с ним поближе и наткнулся на обидное пренебрежение — Петра совсем не трогало внимание авторитетного на стройке человека.

И вот они, наконец, поговорили! Но как!

...Петро сидел на низком заборчике возле столовой и курил. Вадим увидел его издали и сразу решил, что он пьян. Так оно и было. Быков хмурился, и на его скулах наливались злые желваки.

— Здорово, комсорг! — Широко ступая, он подошел ближе и дохнул перегаром. — Шустришься все, дела тебя заели?

— Дел хватает... Ты почему не на работе?

— Отгул взял. Братку встречал, да и проводил тут же! — Он выплюнул папиросу и заскрипел зубами. — Не уважил меня братка, вот что... Башковатый парнишка, в техникуме заочно, не то что я, темный. Не уважил, нет...

— Слушай, поспи, Быков...

— Пстой, начальник! — Он поцарапал пуговицы на солдатской курточке. — Трезвый я с тобой толковицы разводить не стану, на хрена ты мне сдался!

— Пьяный ты...

— Замолчи! — Большая обветренная рука с тонким запястьем взяла комсорга за пальто у самого горла и сжалась с такой силой, что где-то на спине затрещал шов. Рука тут же вяло опустилась, и Вадим не успел как следует рассердиться.

— Что за манера — хватать? Я ведь тоже могу.

— Можешь, конечно... Все могут... Уехал братка. Двоюродный он мне, а люб. Год ему писал: приезжай да приезжай! Ты постой, не то драться буду, я пьяный, мне можно. Слушай! Да. В колхозе парнишка всю жизнь. Ну, приехал. Повел я его. Показываю то да се, около да без малого. Он спрашивает, конечно... Башковитый парнишка, в техникуме заочно... Он, значит, спрашивает: «Что вы строите, Петя?» Как что, разве не читал, про нас газеты кричат, надсажаются — металлургический гигант. «Какой он будет, Петя?» (Заладила сорока про Якова!) Хрен ее знает. Обыкновенный, только гигант.

Может, гырит, у вас где-нибудь генеральный план висит или еще что? Увидать бы». Какой тебе план, ишь чего захотел. Нам не до того... Дотошный парень... Опять за свое: «Кто у вас первый дом закладывал и где?» Пантелеевич, наверно, а где — убей, не знаю. «Спортом занимаетесь?» Помаленьку занимаются некоторые... Ну, и так и дальше. После выпили ради встречи, братка-то и отрезал: «Не сердись, Петро, но я не быдло, не желаю тут оставаться, а в колхозе у нас интересней, культурней». Здравсте, Настя! Быдло, а? Это я-то! По морде ему врезать! Так не за что: у меня голова тоже немного варит. Тут каждый камень мой, а ему все чужое да неинтересное. Да и не ему одному — многим, кто здесь живет. Временные они, не приросли. А кого это заботит? Вы, начальство, кричите в один голос: «Петя, вкалывай, жми нормы!» А я вам кричу: «Условия создайте, головы зеленые!» Недостатки, временные трудности. — Каменщик ковшом поднес ладони к самому лицу Каткова. — Вам от меня больше ничего не надо. Место вы мне определили — работай да бога не забывай. Ну, а дальше? Гроши да щи хороши, пол-литра да мягкая баба? А я хочу мозги высветлить, ясно? И вальсы танцевать, и культурно объясняться! Ты вот ровной дорожкой шел, мне не довелось науками заниматься, без отца вырос. Почему же вы у меня такой кусок отнимаете, сволочи! Я же не хуже других, я в полную силу жить хочу! Так научите!

— Не кричи, я не глухой. — У Вадима вдруг закатилось сердце, как на качелях. Ему сделалось страшно. Он впервые увидел, какая бывает тоска в глазах человека.

Каменщик, посапывая, вертел пачку «Прибоя» и чуть заметно качался. Он вроде успокоился.

— Начальник!

— Да?

— У нас в деревне Боря дурачок есть. Не такой он

уж и дурачок, наверно... Да. Глухонемым прикидывается. Ему, бывало, скажешь: «Боря, дай!» Башкой затрясет: «А, не слышу!» — «Боря, на!» — сразу руку тянет: «Давай!» Это он без осечки понимает, с первого раза. И вы такие же: «Петя, давай!» А сказать: «Петя, на!» — в эту сторону у вас пластинка не крутится. — Он несколько раз, наклонив голову, обшарил себя — искал спички. Не нашел и сразу забыл про Вадима, медленно, точно вброд по воде, поднялся на крыльцо столовой и слишком широко, как это делают пьяные, открыл дверь.

И ни разу не оглянулся.

## 2

А Вадим ночь не спал.

...От стены до стены — восемь шагов. Резной бумажный абажур бросал на пол белый круг света. Этот круг словно кто прибил. Вадим встал на цыпочки и толкнул абажур. Он закачался и вспугнул черноту из-под кровати, отбросил к потолку тени с дальних углов.

Восемь шагов туда, восемь — обратно, мимо окна, расцвеченного зеленоватыми вспышками электросварки. И — тишина. Где-то далеко плакал ребенок, по водопроводным трубам на кухне то и дело пробегали судороги и хрипели краны.

Вадим въехал в квартиру три дня назад.

Шумные помощники побросали вещи и ушли. Он остался один и начал бестолково перетаскивать с места на место четыре ободранных стула, выданных под расписку мрачным начальником АХО, потом плюнул и бросил все как есть до вечера.

В комитет, прослышав про новоселье, явилась Наталья Голубь с девчонками и потребовала ключ. Они работали допоздна и навели в пустой квартире из ничего милый уют. Есть такой талант у женщин, никуда не денешься!

Глеб Трошин из ящиков, в которых шефы присылали на стройку книги, соорудил письменный стол с полками — громадный, чуть не во всю стену и даже по-своему красивый, во всяком случае «по модерну». Сбежали за вином, немного выпили и пели под гитару — играл Глеб неплохо — шуточную и малость грустную песню:

...Течет речка по песочку,  
Вдоль бережка крутого.  
А занесла судьба сердечного  
Далеко от дома...

Вспомнили, конечно, Москву — каждый по-своему.

...Вадим увидел себя на Смоленской площади.

Солнце ломалось в пузатых витринах магазина, горело на асфальте, и медные провода, выскобленные дугами троллейбусов, казались нитками застывшего солнца. Вадим подставил ботинок чистильщику — пожилому армянину.

— Наведи блеск, дорогой!

Горько пахло улицей — лежалыми яблоками, пылью и бензином. Город рисовался четко и уходил крышами далеко, в бесконечность. Таким он его и запомнил, взял целиком за девять часов до отхода поезда. Он не надеялся вернуться скоро. Он уезжал, город же оставался таким, как всегда, — разве трудно океану отдать каплю!

Когда осенью они высыпали на перрон в Новинске, перспектива была ясна и даль открыта: поднимай пары и — вперед. Эта уверенность, окрыленность родилась потому, что ехало из Москвы четыреста парней и девчат, и самим себе они казались значительными, умными и счастливыми. За спиной у них была добрая улыбка целого мира. И никто не смел подумать тогда, что такая армия может рассеяться без заметного следа по клочку земли, который на карте Союза обозначен кру-



жочком чуть побольше булавочной головки. А жизнь была проще и сложнее.

Вадим боялся холодной зимы и неустроенности. Он был уверен, что легче других перенесут все это те, кто знает хоть какое-то ремесло, у кого крепкие руки. Его же роль проста и очевидна — делить с ними горе и радости без всяких педагогических тонкостей для того, чтобы иметь право спрашивать с них и с себя по самому большому счету. Он с облегчением и грустью поставил свои часы на местное время. Стрелки ушли вперед на треть циферблата.

После митинга на вокзале их рассадили по автобусам и завезли на самую окраину Новинска, в баню. Сопровождающие велели не просто мыться, но и сдать белье на прожарку. Это было неожиданно и несколько оскорбительно. Баню отгораживал высокий тесовый забор с проволокой (Вадиму доверительно объяснили, что вообще-то эта баня для заключенных и сегодня ее откупили), в воротцах стал унылый дядька со списком — ставил против фамилий «чистых» крестики и только тогда выпускал со двора. Процедура получилась ненужно длинной и изнурительной. Вадим пробовал, в деликатной, правда, форме, протестовать. «Нельзя ли завтра, скажем, помыть народ и прожарить одежду, если это необходимо, а то после митинга и речей все это как-то?..» Ему сказали, что, во-первых, в поселке баня еще не пущена и, во-вторых, нанимать транспорт лишний раз слишком накладно. Что ж, они, может быть, и правы — здравый смысл прежде всего.

На стройку добирались уже к вечеру и кружной сельской дорогой, чтобы не создавать пробок.

Ехали берегом, полями; ходила волнами под ветром неубранная пшеница. Кругом работали тракторы, и рыжевато-белесые клинья стерни таяли под плугами, словно куски масла на черных сковородках. По левому берегу тянулись невысокие горы в сполохах осенних бе-

рез. Ребята все хотели увидеть тайгу, но тайга, говорили хозяева, дальше, и показывали вперед.

Автобусы подняли пыль. Она висела, расплзалась далеко, как дым пожарища. Сквозь пыль едва заметно просвечивало закатное солнце.

Вадим тоже сперва смотрел во все глаза, потом вдруг забеспокоился: чего-то явно не хватало. Он поерзал и закрутил головой.

Рядом, высунувшись по плечи в открытую створку, сидела Маша Соловьева. Она эти дни постоянно была рядом, и он не раз ловил на себе ее слишком пристальный взгляд.

У Маши на коленях лежал разворошенный, увядший букет, подаренный на вокзале. Она рассеянно брала цветы с колен, свешивала руку вниз и бросала цветы на дорогу.

— Ты что делаешь? — спросил он.

— Пусть после нас останутся цветы, — ответила Соловьева и зевнула. — Да и повяли они, Вадя...

И тут его осенило: не хватает песни. Он так свыкся с песней в поезде, что теперь тишина пугала.

— Споем, хлопцы! Что носы повесили, веселей гляди!

Наталья Голубь начала было «На улицах Москвы гуляет листопад», но ее никто не поддержал.

А цветы падали и падали. Их автобус был последним и дорога за ними была пуста.

...Восемь шагов туда, восемь — назад.

«Думы мои, думушки...» — Вадим невесело улыбнулся и, расставив ноги, встал напротив окна.

«Какая темная ночь! Где-то сейчас день, где-то весна и почки набухают. Трудно представить... Спать? Не усну, лучше чаю попить, чай, он помогает...»

На стройке в первые дни больше всего заботились о том, куда растолкать людей. Это было странно: звали, агитировали, трубили, а делать-то нечего! Москвичи

сперва рыли ямы под столбы высоковольтной линии и траншеи под ленточные фундаменты. Работа черная, и нормы такие, что для выполнения их требовался многолетний навык. Да и смешно надрываться, когда рядом без дела стоит мощная техника.

Между прочим, вербованным (они приехали раньше) досталась работа легче и денежней.

К Вадиму, конечно, шли с жалобами комсомольцы. Он немедленно начинал ругаться «по инстанции». Ему вполне серьезно втолковывали, что добровольцам роптать грешно — на то они и добровольцы, чтобы нести самое тяжелое бремя, а вербованные — те несознательные, убежать могут, да им, кроме всего прочего, еще и большие подъемные плачены. Вадим только рот раскрывал, и даже в самые неприятные минуты у него хватало юмора оценить по достоинству эту железную логику.

Штатные ораторы с присущей им торжественностью называют поселок на правом берегу форпостом коммунизма. Вадим на такие смелые заявления реагировал с болью. «Форпост коммунизма»... Как же так? А рядом — «Воруй-город». Чепуха же! И когда же мы отвыкнем от безответственного словоблудия?

Так называемый средний руководитель силой обстоятельств поставлен в такие условия, что для него всегда выгодней залить фундамент или смонтировать промышленный корпус, чем, скажем, построить детский сад, стадион или кинотеатр. В первом случае он «вырвет» объемы, выполнит план и получит премию, во втором же, на «мелкоте», возьмет гроши. Да и потом: не зальешь фундамент промышленного объекта — голову снимут, а за «культбыт» — пожурят, конечно, но не страшно.

«Промстрой» на свое управление смотрит искоса, ибо люди сидят там неглупые и реально, в деталях, представляют себе, что произойдет дальше. Через месяц-два, а то и раньше придет из совнархоза приказ, в котором будет написано примерно так: «На основании

постановления Совета Министров РСФСР на базе одиннадцатого управления организовать специализированный трест» и так далее, и так далее. А слова «на базе» для любого рачительного хозяйственника звучат жестоко: это значит — делись с чужим дядей людьми, техникой, материалами. Тяжело делиться, коли у самого кафтан в дырах.

Поэтому уже загодя трест медленно, но неотвратимо поворачивается спиной к Наумову, а тот тратит силы и нервы в основном на то, чтобы выбить, вырвать, выклянчить. Окрики сверху помогают мало, только еще больше портят отношения.

Наумов сердится, но в общем-то не очень, он говорит, что такова жизнь.

Вадим сперва пузырился, спорил: так не должно быть!

Наумов отвечал ему со вздохом, как маленькому:

— Так всегда было, потому что пробуем шагать шире собственных штанов, а это еще ни у кого не получалось. Поверь, я не отрицатель какой-нибудь, я и радоваться умею и не хочу (не дай бог!), чтобы ты убит был наповал, не понюхав пороху. Драться надо. Единственно, что очень надо здесь, — драться! Шкуру потолще надевай, тогда ты боец, а не гнилой интеллигент. Да сохрани при всем при том чувство юмора, тогда не соришь. Знаешь, что будет дальше? Сперва — плач Ярославны, потом — бронзовый век, ну, а уж потом — ищи себя в списках награжденных. Три этапа большой стройки. Закон.

— Это — как?

— Просто. Сейчас мы с тобой все плачемся: того нет, того нема, да? И делом заправляет маленький человек вроде меня — негр на плантации. Не только с министрами, но и с местным руководством на «вы» и никого по плечу не хлопаю — не дадено. Вскорости, когда организуется трест и отпущены будут громадные

деньги, от которых и совнархозу может перепасть по мелочам на разные другие нужды, начнется бронзовый век, и пришлют к нам очень дельного товарища, знаменитого воротилу, в самом хорошем смысле этого слова. Он тут лет пять повкалывает, с валидолчиком в кармане, между прочим, и уедет на полгода отдыхать к синему морю и белым пароходам, а вместо него на белом коне прискачет генерал от строительства. У этого знаний и регалий тьма, этот со всеми на «ты», он хоть и устарел, но нужен.

— Зачем?

— Генерал должен всучить эксплуатационникам объекты оптом и в розницу. С недоделками, конечно, ибо у генерала широкое горло, связи. В него из рогатки не постреляешь. Вот так. Вопросы имеются?

— Утрируешь ты!

— Может быть. Но самый чуток, дорогой товарищ, самый чуток. Так что готовься к битвам великим. Здесь старое и новое — не по книжкам, здесь правда — самая живая, а она не всегда хорошо пахнет. Вот комсомольцы твои. Бегут. Почему бегут? Мы их в школах-то манной кашей с ложечки кормим, втолковываем им, что все превзошли, а здесь вдруг ржаной хлеб. Он несладкий и не с ложечки. Они быстро уразумели, что мы еще не очень умны и плохие хозяева. Так? Учти, промеж нас этого разговора не было.

Вадим не понимал в такие моменты, шутит Наумов или всерьез говорит.

— Ты меня убиваешь.

— Нет, жить учу.

...Восемь шагов от стены до стены — всего — шестнадцать. Если ходить медленней, получается восемнадцать шагов. Интересно, отчего так?

Вадим с тяжестью на душе видел, как таяли ряды москвичей, как пропадала окрыленность первых дней, и взывал к кому только можно: «Помогайте, надо что-

то предпринимать!» Особенно доставалось от него тому же Наумову, который однажды, между прочим, надумал своими силами, в обход областного начальства, «сварганить» на «пока» хоть плохонький клуб. Он, наверно, уже не раз пожалел, что так опрометчиво проговорился, и пробовал отступить. Вадим за это назвал его трусом. Начальник рассердился: «Ты скажи: я не пытался, не бил в колокола? И что? Мне приказано наперед батьки в пекло не лезть и не устраивать Запорожской вольницы. Так? Так. Куда прикажешь крестьянину податься?»

Секретарь обкома Сперанский велел подождать: и сам об этом думает, даже присмотрел в Москве проект дворца. Настоящего, не клетушки, какую предлагает Наумов. Вот состоится решение, отпустят деньги, тогда можно и нажимать, все в наших руках. Вас такой вариант не устраивает? Меня ваш, извините, не устраивает.

Отошла, любит говорить он, пора хижин дядюшки Тома.

Вадим сам решил встретиться со Сперанским и сказать ему все в глаза. Наумов не очень верил в затею и посоветовал:

— Только на рожон не лезь, он не медведь в берлоге, строгий мужик, но современный. Между прочим, здорово рисует. Говорят, в Академии художеств учился, но то, по-моему, легенда. Инженер ведь. Но — к художникам слабость имеет, это верно, и, кроме горного, строительный институт кончал. С чудинкой секретарь. И позиция у него насчет нашего клуба — принципиальная. Вот так. Ни пуха, ни пера.

Принципиальная позиция...

У Вадима Каткова тоже теперь будет принципиальная позиция. Он должен работать для того, чтобы заставить ребят полюбить этот необжитый клочок земли.

...«Думы, мои думушки...»

## Глава VII

### 1

Вадим сам написал объявление неровными падающими буквами: «В воскресенье, четырнадцатого декабря, состоится встреча с ветераном труда, героем первых пятилеток Павлом Яковлевичем Кузнецовым».

Ветер то и дело срывал зажелтый уже лист ватмана с дверей столовой, но его упрямо поднимали и вешали снова, пока кто-то со зла не вогнал по углам почти до самых шляпок четыре плотницких гвоздя: теперь, дескать, не сорвется!

Утром Катков заглянул еще раз в каждую комнату общежитий и напомнил, что встреча ровно в пять.

В зале столовой, где сильно припахивало квашеной капустой и пережаренными котлетами, расставили скамейки, накрыли плюшем столик впереди — для гостя и президиума. Пришлось включить лампочку, потому что закуржавелые окна плохо пропускали свет.

Комсорг едва протолкался сквозь плотные ряды. Разделся. Положил пальто и шапку на стул, привычным ораторским жестом вытянул руку — просил тишины. Пауза грозила затянуться, потому что за Кузнецовым послали машину в город час назад.

Народ все не мог успокоиться. У самого входа визгливо жаловался парень в замасленном ватнике:

— Я ему вежливо: пусти, товарищ, а он мне, понимаешь, локтем в глаз. Нет, погоди. Я ему вежливо: поосторонись, мол, товарищ, а он мне в глаз безо всяких. Локтем.

— Да перестань ты гудеть!

— А ты чемодан убери! С чемоданом приперся.

Стало, наконец, тише.

— Ребята! Пока гость не приехал, я, наверно, успею сказать о нем несколько слов. Это замечательный че-

ловек. Тридцать лет назад он строил Новинский металлургический комбинат, что на том берегу, а теперь крупный, всей стране известный специалист-доменщик. Пришел он на стройку, как и многие тогда, в лаптях и домотканой рубахе, расписаться не умел, а сейчас — ученый, кандидат наук. Павел Яковлевич Кузнецов был, кстати, в числе тех, кто вез в Москву первый слиток чугуна, выплавленный на новом заводе. Его рабочие брезентовые рукавицы, как реликвия, хранятся в Музее Революции, потому что Павел Яковлевич на земляных работах киркой и лопатой ставил мировые рекорды выработки. Его так и звали — человек-экскаватор.

...Кузнецов был сутуловат, как все высокие, и широк в плечах. Он встал и немножко пригнулся, чтобы не казаться чересчур большим. Сказал неожиданно мягко:

— В тесноте, да не в обиде, — не торопясь, приюстился на утиный, приплюснутый нос простенькие очки. — Что ж, потолкуем, раз пригласили. Нам, старикам, только и осталось, что прошлое поминать.

— На таких стариках еще пахать можно! — крикнул Петро Быков и осекся: на него зашикали со всех сторон и погрозились вывести, если что. Но Кузнецов нисколько не обиделся: это, мол, я пошутил малость, а в остальном верно, парень, в расход еще не списаны и кое-что можем. Говорил он основательно, со вкусом, то и дело притрагивался пальцем к густым, чуть вислым усам, с какими рисуют на плакатах питерских мастеровых.

— Мог бы вам доклад прочитать. О второй металлургической базе, например. Да слышали вы уже такой доклад и повторяться ни к чему. Мог бы сколько угодно говорить о перспективах нашего края, но не хочется: тут ведь случай особый. Перед тем, как ехать к вам, признаться, волновался: ведь вы — молодость моя. — Он рубанул ладонью наискось и разогнулся во весь гро-



мадный рост. — Сесть, пожалуй, лучше мне, не то продолблю дыру в потолке. Можно сесть, не возражаете?

— Садитесь, какой разговор?!

Кузнецов облокотился поудобней на шаткий столик и посмотрел в зал.

— Гору как зовете?

— Как придется.

— Мы ее Лысухой звали. Я сюда раньше, когда время выпадало, по грибы ходил. Возле болотца много опенков попадало. К вечеру, бывало, сяду на пенек и смотрю, как на том берегу город огни зажигает. Когда на комбинате шлак вываливают, то над рекой вроде заря встает. Так что я, человек с того берега, по годам отец вам, а по духу, выходит, брат и ровесник. Так или нет?

— Так!

— Одна беда — по грибы ходить теперь некуда. — Старик крепко потер ладонью лицо, чтобы спрятать усмешку. Потом долго разглядывал заляпанный чернилами плюш на столе, вертел в руке огрызок карандаша и молчал — кажется, не на шутку разволновался. Заговорил опять мягко:

— Товарищи! Горком партии и горком комсомола поручили мне передать вам знамя «Новинскстроя», которое мне не раз довелось держать в руках своих. — Он шагнул вперед, вплотную к людям.

Знамя — простой кусок материи без бахромы и позолоты — бережно из рук в руки пошло по рядам.

...На новом шершавом древке занемели пальцы. Кузнецов шевелил бровями, смотрел вверх голов. Он вспоминал вслух.

Было это морозным февралем в тридцатом году.

Уныло, на высокой ноте, кричали паровозные гудки, и рабочие черной волной катились к литейному цеху — там случилась авария.

...Под обломками лесов и кирпича Павел Кузнецов

нашел своего молочного брата Савелия Шубина, отнес в сторонку и положил на непряматый снег. Грудь Савелия поднималась тяжело и редко, будто хотел он на долгий человеческий век надышаться морозом, запахом гари и растревоженной земли. Перламутровые пуговицы на его косоворотке поблескивали, как лады тульской двухрядки, под которую он ладно умел петь про Петрушу-тракториста: «Прокати нас, Петруша, на тракторе, до околицы нас прокати» и про любовь — ...«когда захлебывались свистком соловьи».

Белыми от боли глазами Савелий поманил Павла ближе. Тот нагнулся к нему и почувствовал, как уходит тепло из большого и сильного тела.

— Что сказал? — спросили дружки.

— Ничего не сказал, не успел, вот... — и Павел заплакал.

Потом стоял у гроба с этим знаменем, так же до боли, до хруста сжимал древко и думал: «Почему так коротки бывают дороги у хороших людей?».

Савелия пронесли через весь поселок — мимо горбатых барачков, в окнах которых стыло солнце, пронесли по стройке — мимо разинутых котлованов, что дышали дымом костров, мимо труб, уставленных пушечными стволами в далекую просинь неба, мимо новых цехов, стройно встающих из хаоса. Рабочие бросали инструмент, стаскивали шапки и с построжевшими лицами шли за гробом. Шли скорбно, неслышно и бесконечно.

...Кузнецов виновато улыбнулся:

— Вот так дело было. Об этом знамени немножко скажу. Оно у нас, в бригаде землекопов Савелия Шубина, шестнадцать раз побывало. Тогда больше лопатами рекорды били. А Шубин — наш бригадир — замечательный парень был. Жалко, что о таких, как он, мало вы, молодежь, знаете.

...В тот год необычайно рано, дня через два после майской демонстрации, грянул первый гром и хлынул

ливень. Жидкие тополя-трехлетки раскудрявились веселым листом, и земля запахла хлебом.

Десятого мая на площадке возле станции наспех сколотили трибуну. С нее неистово и бессвязно говорили длинные речи про тяжелую индустрию, про металл—хлеб тяжелой индустрии, про победу, взятую с боем.

— Москве передай, Павел Кузнецов, Серго скажи: чугуны дали, сталь дадим!

— Пра-а-ильна! — одной грудью дышала площадь.

— Скажи еще, Павел Кузнецов, что мы не подведем и пусть на нас там крепкую надежду имеют.

— Пра-а-ильна!

У Павла рябило в глазах.

Качались над площадью яркие кумачи, аршинными буквами кричали плакаты, над полинявшей крышей вокзала гомонили вспугнутые галки. Вдалеке горела выкрашенная золотом луковица старой церквушки, в рябой луже опрокинулись облака.

И Павел тоже кричит охрипшим голосом:

— Передам, земляки, ничего не забуду! — и берется за горло, потому что больше ничего сказать не может, нет таких слов. Да и где их найдешь, такие слова? Но они поймут его. Люди стоят плотно, разные и похожие. Вислоухие сибирские малахай, буденновские шлемы, порыжевшие военные фуражки. И всюду смеются знакомые лица.

— Доброго пути вам!

Он хочет запомнить, вобрать в себя эти минуты навсегда и знает, что запомнит, — ведь не было значительнее дня в его короткой жизни.

Делегации отвели два купе в скрипучем вагоне. Вагон ничем не отличался от других, только во всю его стену крупно был выведен лозунг: «Родина, слушай, партия, слушай: мы слово сдержали — есть сибирский металл досрочно!» И еще лозунг насчет империализма и мировой революции.

Первую ночь, конечно, не спали. Колеса тяжело стучали по стыкам, словно катились по каменистому большаку. Теплились и гасли огни, провожая поезд, который нес в Москву большую весть.

Всю дорогу на каждой станции приходилось выносить комсомольское знамя и обязательно держать речь, поскольку на перронах собирались толпы поздравить с победой. Делегатам бросали первые цветы, пахнувшие луговой свежестью и снегом, тискали в объятиях, качали, не жалея костей. За шесть суматошных суток у ребят осели голоса и осунулись лица, будто после изнурительной работы без отдыха.

И все тянулась мимо Россия — такая бесконечная и такая еще неустроенная!

И вот — Москва!

За окнами обыкновенно: деревянные домишки, обсаженные голенатым сосняком, захламленные пустыри, потом — мещанский пригород, верстовой длины пакгаузы и, наконец, вокзал.

Больше часа перед Москвой стояли в тамбуре. Павел распахнул дверь и подставил ветру знамя. Полотнище сухо хлестнуло, метнулось в сторону, как жаркий язык костра.

— Еще говорить? — Кузнецов притронулся к усам. — Я хоть до утра могу.

— Пожалуйста, еще!

Поднялся галдеж. Гость шутливо отгородился от зала ладонью.

— Что вы будто куры на шестке. Разберемся. Только тише. Тише! — он развелнул плечи и стал как-то сразу намного моложе. — Я не знал, что доведется мне держать наше знамя еще раз, последний. Теперь вам отдаю. И не жалею. Дорогие вы мои! Славные. Молодость моя ушедшая! Это же замечательно — начинать такое дело! Будьте строги к себе и не давайте пощады подлецам. Они уйдут, отсеется мелкая фракция, а вы

обязательно зажжете зарю на правом берегу. Пусть на нашем знамени не будет пятен!

Катков взялся за край полотнища, осторожно провел по нему рукой и сказал осевшим голосом:

— Мы вам обещаем, мы не подведем, Павел Яковлевич!

Все, кто сидел в зале, поняли, что такое случается редко и историю пишут именно такие минуты.

Вадим Катков слышал тяжелые толчки сердца и, топясь, непослушными руками, сворачивал знамя. Стыдно, но только позавчера они в комитете вспомнили, что гостю тоже полагалось бы сделать подарок. А какой? Выручили токари базы механизации: ребята не спали две ночи и после работы точили макет домны. Сегодня утром Вадим с Виктором Бродским ездили в Новинск к граверу. Тот содрал с них последнюю десятку и халтурно накарябал на никелированной пластинке «Отцам с левого берега — от сыновей с правого» слащавой вязью с множеством нелепых закорючек. Вадиму это рукоделие не понравилось, а Виктор предлагал даже снять пластину и потребовать деньги назад, но, пораскинув немного, они капитулировали: искать другого гравера было уже некогда.

Пока Кузнецов говорил, макет тихонько передали по рядам и спрятали под стол, прикрыв чьей-то фуфайкой.

Теперь Виктор Бродский делал Вадиму издалека знаки: не прозевай, пора!

Народ начинал уже понемногу расходиться. Кузнецов, стиснутый толпой, отвечал на вопросы.

Вадим отдал кому-то знамя, попятился к столу и наткнулся на твердую спину Глеба Трошина — он занял уже председательское место и стучал пробкой по графину.

— Товарищи! — Глеб улыбнулся и поправил галстук. Он держался естественно, будто роль, которую он сейчас взял на себя так неожиданно, очень привычна для

него. И выглядел он солидно в сером костюме и белой отглаженной сорочке.

Вадим поймал удивленный, вопросительный взгляд Виктора Бродского и пожал плечами: я его не просил речи говорить! Да и с какой стати? В крайнем случае на это имели право хотя бы те ребята, которые корпели над сувениром.

— Товарищи! По поручению комитета комсомола стройки разрешите вручить дорогому нашему гостю скромный подарок. Пожалуйста. — Трошин, перегнувшись через стол, на обеих ладонях протянул Кузнецову макет.

И снова потеплело в зале.

— Урра-а!

Вадим аплодировал и тоже что-то кричал.

## Глава VIII

### 1

Сперанский, по слухам, приехал в Новинск, и Катков не хотел упускать такого случая — сейчас же поехал в город.

— Зачем пожаловал, Вадим Катков?

«Смотри, узнал!».

Секретаря обкома по промышленности Вадим видел много раз то на совещаниях, то окруженного свитой на площадке. Их даже знакомили мимоходом, с долей легкой снисходительности: вот, мол, наш комсомольский секретарь. Рукопожатие, вежливый кивок, «очень приятно» и — пошли дальше. Вадим не надеялся, что Сперанский его помнит.

В кабинете только что кончилось длинное совещание с инженерами «Жилстроя». Катков знал, что Сперанского уважают, к его мнению прислушиваются не потому,

что он занимает этот пост, а потому, что во многих вопросах, особенно «инженерных», чувствует себя совершенно уверенно; прислушиваются к нему, хотя и не принимают любое его решение как бесспорное.

— Зачем пожаловал, Вадим Катков? — Сперанский задумчиво передвигал по столу цветные карандаши, еще не отрешившись от каких-то своих мыслей. Секретарь был широк в плечах, приземист. У него были грубые черты лица: прямой нос, круглые скулы, небольшие цепкие глаза, спрятанные за выпирающими надбровьями. К нему как-то не шел модно сшитый костюм, дорогие запонки на манжетах нейлоновой рубашки, тонкий галстук. Рука, что держала карандаш, была тяжелой.

Вадим знал, что этот человек крут, прямодушен и не любит витийствовать.

— Я сразу скажу. Я не двинусь с места, пока не услышу вашего согласия. И я имею на это право. Вот.

— Вывести можно. — Сперанский пристально посмотрел на Каткова и поднял брови: так со мной нельзя обращаться, друг, так у нас не пойдет.

— Я о клубе.

— Снова! Наумова сколько раз гонял, теперь тебя?

— Меня не погоните!

— Ты давай спокойней, у меня времени в обрез.

— Не могу спокойней! Я верю, что вы действуете из добрых побуждений: если строить, так строить. Да мы и обязаны дать им самое лучшее: дворцы, театры, стадионы, одним словом, что надо. Но когда? И обидно мне, знаете, оттого, что не дорожим человеком, на которого кладем самую большую ношу.

— Ну уж!

— Не преувеличиваю, потому что имею представление, сколько в столицах и больших городах пижонов, зараженных тоской высшего порядка. Мы серьезно копаемся в истоках этой мировой скорби, рассуждаем о па-

денин нравов, а здесь вкалывают, а им велют ждть лучшх времен. Это ведь просто и без хлопот: жди, переноси, на то ты и герой. А ведь они сознательные и не шикарной жизни просят — самого минимума!

Сперанский громко стукнул карандашом:

— Нельзя ли без публицистики?

— Нельзя, вынужден, да вот еще таким тоном.

— Тон на самом деле неподходящий.

— Запорожская вольница?

Сперанский засмеялся, покачивая головой, и закурил.

— Точно, вольница.

— Иначе не получается. Для вежливого просителя у вас принцип: «Отошла пора хижин дядюшки Тома, коммунизм строим!» Почему же новинскстроевцы тридцать лет назад, лапотные мужики, сперва театр поставили, после — домну? О социализме думали!

Вадим, поскрипев стулом, продолжал:

— Читал я про это в Новинском музее, там есть фотокопии старых газет. Весна как раз была, грязь стояла непролазная, и рабочие снимали в вестибюле сапоги, в зал пробирались на цыпочках кто в носках, кто вовсе босиком — из уважения к искусству. Артисты по три спектакля в день давали... Немножко смешно по нынешним-то временем, но трогательно необычайно. И чисто, понимаете?

Сперанский все пристальней смотрел на Каткова: вот ты, оказывается, какой...

— Сколько в тебе, однако...

— Злости?

— Вот именно.

— Накипело. — Вадим вытер пот со лба платком.

— Хватит, пожалуй...

— Надоело на самом деле! Будто мне надо. Даете согласие?

— На что?



— Вот те раз! Сказку про белого бычка начнем? Наумов же объяснял.

— А если не дам согласия этого самого?

— Добьюсь. В Москву поеду. Там меня, надеюсь, поймут. Я же прав, ну!

— Стращаешь?

— Жаловаться, конечно, буду, писать буду, пока не добьюсь своего.

— Смешной ты. Времянку построим, а с проектом как же? Шикарный проект! С изостудией. Настоящий, понимаешь, дворец. В модерне, современный.

— И по проекту построим.

— Не густо ли?

— Нисколько. И времянку приспособим. У нас физкультурников вагон, музыкантов, художников...

— И художников даже?

— Почему даже?

Сперанский захватил верхнюю губу пальцами и покачал головой: интересно!

— Посмотрю, посмотрю... Акварелью, маслом пишут или как?

— Всяко! — Вадим врал напрабую.

— Ты помогай ребятам. У меня кое-что для них есть, привезу в другой раз.

— Спасибо. Я им передам ваши слова.

— Ладно. Иди. Скажи Наумову, чтоб подъехал. Или сам позвоню, ладно.

— Я ответа не слышал.

— Иди! Вот репей! Там вон проектировщики ждут. Договоримся, спи спокойно. Или бессонницей еще не страдаешь?

— Страдаю. Иногда.

— Рано еще.

— Работа наша такая.

— Это ты верно.

Вернувшись из Новинска, Вадим переоделся дома и

забежал к Наумову поделиться хорошей вестью и предупредить, чтобы начальник не удивлялся, если его срочно вызовет «сам».

Наумов посмеялся: донял-таки мужика, сломал!

Пообещал со своей стороны не ударить в грязь лицом и справился, заводил ли секретарь речь насчет изостудии. Когда узнал, что так оно и было, похвалился:

— Учись, пока я жив! — И тут же ни с того ни с сего принялся нахваливать свои кабинетные часы: — К себе в комитет поставишь. Дарю за храбрость.

— На тебе, боже, что нам негоже?

— Нельзя в наш век быть добрым! — раскипятился Наумов. — Тебе, дорогой товарищ, от всего сердца, а ты нос воротишь.

— Предложите Бессонову, он не откажется, он, по моему, громкий бой любит.

— А что, мысль! Ты иногда ничего, соображаешь... — Наумов лукаво подмигнул. — Соображаешь, дорогой товарищ.

Вадим шел к себе в отличном настроении и ничего не видел, только по привычке кивал встречным.

— Узнаете? — вдруг услышал он и остановился. — Вспомнили?

Конечно же узнал, конечно же вспомнил — Виктория Матвеевна из музея! Он шутливо раскрыл объятия.

Она терлась щекой о муфту, смотрела мимо него и, кажется, не одобряла такой фамильярности. Он застыдился своей заляпанной раствором телогрейки, вытертых лыжных брюк, стареньких кирзовых сапог. Спросил сухо:

— Надолго к нам?

— Да не особенно...

— И с какой целью, извините?

— У меня одна цель — историю собирать.

На них оглядывались.

Эта женщина была с другой планеты — обжитой и

благополучной. Она выделялась среди буднично одетых людей. На ней было синее пальто и платок в яркую клетку, повязанный небрежно. Но в самой этой небрежности был тонко продуманный шик. Продолговатые и без оправы очки с золотыми дужками чуть строжили ее.

С тех пор Вадим не раз вспоминал, как она уходила по музейному залу и трогательно прижимала руки к бедрам. Так уходили со двора когда-то обиженные девчонки, которым не было покоя, потому что детство кончилось, потому что красивых и добрых девчонок обижали во дворе чаще, чем некрасивых и злых. И он смотрел ей в спину и ждал, когда она обернется и хоть кивнет на прощанье, но она не обернулась, не кивнула.

— Как же знамя? Прижилось у вас, Вадим Григорьевич?

— Очень даже! Ему у нас самое место, честное слово! Еще раз спасибо вам.

Вадим скovyрнул носком сапога гальку, вмерзшую в затоптанный тротуар, и взглянул на часы: он сбился с тона и не знал теперь, что делать.

Она покусала губы, подвинулась ближе.

— Пуговицу потеряете, Вадим Григорьевич.

Пуговица болталась на одной нитке. Виктория Матвеевна оборвала ее и сунула в муфту. Сделала это просто, естественно, будто знакомы они давным-давно и забота о нем — неустроенном, постоянно окруженном людьми и все-таки одиноком — привычна ей и нисколько не обременительна.

— Пришью после. У меня иголка есть.

Он смешался и покраснел.

Она его поняла и сказала:

— Не смущайтесь. Я не хотела вас обидеть. И потом дома мне ухаживать не за кем.

Вадим снова, уже намеренно, отогнул рукав, посмотрел на часы и поклонился: я, мол, к вашим услугам, но, учтите, исключительно по долгу службы. Подхватил

ее баул желтой кожи, небольшой, но тяжелый, и, не оглядываясь, пошел впереди.

Его бесперечь останавливали по пустякам, ради того, чтобы ближе взглянуть на приезжую. Вадим с удовольствием поддерживал пустые разговоры. Гостья не пряталась и без заметного смущения выдерживала вязкие взгляды мужчин — ей ничего другого просто не оставалось. Она все-таки погрустнела и, видимо, обиделась, когда Вадим без малого полчаса расспрашивал сторожа конторы о подледном лове. Молила глазами: уже хватит, уже чересчур!

На столе в комитете комсомола Вадим расчистил местечко и на листке откидного календаря принялся писать своим детским изломанным почерком комендантше: «Прошу дать место (желательно отдельную комнату) сотруднице областного музея».

— На сколько дней просить?

— На два, не больше.

Он почему-то написал — «на три», отдал записку машинистке и велел слетать в гостиницу. Делать в присутствии гостьи ничего не мог. Положил руки на батарею, которая еле теплилась, и налег грудью на подоконник. Заметил, что днем теперь стекла оттаивают больше, чем еще неделю назад. Со стекол натекали лужицы, похожие на расплавленный свинец. Может быть, зима идет на убыль? Неужели когда-нибудь наступит весна! Не верится. Весной ведь все должно стать иначе.

— Как вам наш поселок?

Она, кажется, дремала, обхватив баул, — ничего не ответила. Он стал с беспечным видом рисовать домики на измятой осьмушке в клетку и слишком поздно обнаружил, что портит заявление какого-то Маркова, которому срочно нужна квартира: «Требую категорически в просьбе не отказать». Чудак, право!

Вернулась машинистка. Вадим велел ей проводить «товарища из музея» и почувствовал, что ему будет не-

приятно, если она сейчас попросится с ним, словно совсем с чужим — равнодушно и официально, — и рассердился на себя за беспомощность и грубость.

Виктория Матвеевна поднялась, повязала потуже платок у подбородка и протянула через стол теплую руку.

— До встречи. Наведывайтесь, коли время выберете.

— Хорошо! — с готовностью ответил он. — Вечерком загляну.

— Лучше утром. Завтра, — сказала она.

— Хорошо.

Утром на следующий день он заглянул в гостиницу.

Виктория Матвеевна сидела на кровати перед зеркалом, прислоненным к спинке стула, и расчесывала соломенные волосы. На ней был простенький халат с синими цветочками и домашние шлепанцы без задников.

Она не удивилась ему и не прогнала, только заставила отвернуться, и он слышал шорох платья. На пол несколько раз падала расческа и шпильки. В комнате пахло ромашкой, тонкими духами и еще чем-то неуловимо приятным. Вадим взял с подоконника старый «Огонек», листал разлохмаченные страницы, пробовал читать и не улавливал смысла.

— Я готова.

Она была в облегающем платье с прямым воротником, и волосы ее, собранные сзади узлом, золотисто поблескивали. Она не глядя сунула ноги в теплые сапожки и потянулась к тумбочке за очками.

— Итак, что вы мне покажете?

— Повезу вас на промплощадку.

— Хорошо. Это мне нужно. Тепло на дворе?

— Градусов двадцать.

...Залатанный наумовский газик короткой дорогой, через Нахаловку, за полчаса допрыгал до места.

Здесь пойма Томи была еще ровней и тянулась вдоль русла до самого горизонта. Далеко, у реки, рядом выстроились экскаваторы. Гидроспецстрой только подтягивал сюда технику и еще не начал работы. На том берегу волнами перекатывались невысокие горы. С них сползал утренний дым.

Было непривычно, звеняще тихо. Экскаваторы грозно подняли свои хоботы, а глухое молчание завьюженной степи казалось значительным.

Они сбегали вниз и остановились. Вадим, прикасаясь щекой к воротнику ее пальто, широко обвел рукой огромное поле: вот здесь.

Она отодвинулась от него, засмеялась чему-то и, глубоко увязая в снегу, побрела наискосок — туда, где на палке торчала фанерная табличка с корявой надписью: «Доменный цех». Надпись была сделана химически чернилами, и буквы уже пошли потеками.

Здесь целое лето мерили поле на своих-двоих девочки-геодезистки, черные от солнца, они носили на плечах желтоногие теодолиты и к осени понаставили табличек — для ориентира. И теперь эти знаки на плохо ошкуренных березовых жердочках усеяли промплощадку — место будущего завода.

Она провела ладонью по вспученной фанере.

— Стащить бы ее...

— Зачем? — он пожал плечами: баловство, мол.

Она посмотрела на него пристально и уронила вафельку. Нагнулась за ней и еще раз посмотрела — с укором.

— Как зачем — для музея: так начиналась великая стройка.

— Даже самое великое начинается с первого колышка, — Вадим привычно сказал эту фразу, потому что слышал ее от кого-то много раз. От кого же? Да от Наумова.

— Товарищ Катков, Вадим Григорьевич, вы сохраните для меня одну такую?

— Хоть все.

— Я серьезно. Это вам от меня комсомольское поручение. Обещаете? Вот и хорошо. Теперь подойдите ближе, пожалуйста; по-моему, я зачерпнула в сапоги, — она оперлась о его плечо, сняла сперва один сапожок и вытряхнула из него талый снег, потом — второй. Ее чулки на ступнях были темными.

— Вы ведь простудитесь.

— Ничего. Скажите, а до могилы Ковылко далеко отсюда? Я не была там ни разу.

Он даже приостановился: не ослышался ли? Наклонился ближе к ней.

— О чем вы, простите?

— О Ковылко.

Саша Ковылко... Первый комсорг...

...По просьбе стройки в совхозе, это за семь километров, кино крутили чуть ли не круглые сутки, но туда теперь никто не ходил: еще весной, когда на площадке только разворачивались работы, в совхозе убили Сашу Ковылко.

Совхозные парни, как это часто бывает, ревновали своих девчат к разбитным и ловким в ухаживании ребятам со стройки. Не обходилось и без стычек. Партком, во избежание конфликтов, выделял специальных дежурных, в основном, комсомольцев, чтобы следить за порядком. Ходили слухи, что совхозные не намерены сдавать позиций и готовы на крайности. Слухам никто не придавал особенного значения до той самой майской ночи.

Сашу Ковылко нашли на мостике. Он, поджав ноги, привалился к перильцам и, было похоже, смотрел, задумавшись, в черную заводь, где плавился месяц. Только свежеструганные доски были залиты кровью. Нож вошел возле левой лопатки и достал сердце... Убили

Ковылко, видимо, по ошибке: его любили и свои, и деревенские. Ласково звали Морячком: он служил на флоте, руководил там ансамблем и был по-настоящему талантлив — пел и виртуозно играл на многих инструментах.

Похоронили Морячка у подножья Лысухи, в молодой роще.

Пантелеевич залил на могиле бетонную плиту с черной мраморной крошкой, к плите привинтили чугунную доску с надписью. Все лето до самой глубокой осени, до снегов, могила была усыпана цветами.

Убийц так и не нашли.

...По той же верхней дороге они проскочили мимо жилстроевского массива. Вадим попросил шофера затормозить возле рощи.

Голый подлесок просвечивался насквозь. Туда вела тропинка в один след. С веток срывался снег — то комьями, то россыпью — и попадал за воротник, неприятно обжигал шею. На ветках мельтешили синички; снегири — яркие, как елочные игрушки — совсем не пугались людей. Если бы не паровозные гудки и грохот железа внизу, им вполне могло бы представиться, что попали они в глухомань, истомленную зимней спячкой.

Похоронили первого комсорга на краю поляны. Дальше зеленел мелкий ельник, и за ним был старый лес, плотный и высокий.

Они сели на зеленую лавочку без спинки и одинаково сложили на коленях руки.

Могильный холмик был аккуратно вылизан ветрами. Не занесло только ветку пихтового венка, опутанного черной лентой. Вадим ножичком соскреб наледь с небольшой фотографии под плексигласом. Саша Ковылко — круглолицый, бровастый, с лихим завитком на лбу, безмятежно улыбался им.

Виктория Матвеевна, подперев щеку ладонью, тихонько покачивалась.



Вадим хотел сказать, что свидание с мертвыми всегда тягостно, но промолчал. Тут же подумал: в минуты даже искренней скорби мы склонны говорить банальности.

Вдоль поляны, шелестя, бежала поземка. Пихтовая ветка шевельнулась и уронила желтые иголки.

Вадим зябко поежился.

— Сюда наши девчонки цветы носят. Уйдем?

— Пожалуй... Сильного духа был парень, — она вздохнула. — Стихи сочинял... У меня сохранилось несколько. Как-нибудь покажу.

— Вы его видели?

— Знакомы были.

— О чем стихи?

— О чем и все стихи — о жизни.

— Не знал, что он...

— Значит, не интересовался.

— Интересовался, но... — Вадим сейчас почувствовал вину перед ним — мертвым. Будто он, Катков, не уберег парня темной ночью от ножа, который достал сердце. И неужели она заставила его сейчас пережить это? Он повернулся к ней резко, словно хотел найти подтверждение своему открытию. Она сняла запотевшие очки и рассеянно, как-то беспомощно щурилась.

Вечером они допоздна бродили по единственной улице поселка. Вдруг Виктория Матвеевна призналась, что с момента их первой встречи интересуется его судьбой, жизнью и узнала о нем все или почти все.

— А именно? — он смеялся: разве может она знать о нем все или почти все! — Из каких источников?

— Источники обычные. Что вас интересует?

— Ну, образование что ли? — он сказал первое, что пришло на ум.

— Юридический факультет Московского государст-

венного университета. Поступил в тысяча девятьсот пятьдесят четвертом году, окончил с отличием. Довольно?

— Еще?

— Весной вас, наверно, отзовут в Москву на солидную должность, сюда послали для заполнения пробела в анкете: работал на великой стройке, с массами работал. Еще?

— Откуда это?

Он был приятно удивлен и, однако, не мог держаться с ней проще, как ни старался.

Вечер был теплый и без звезд.

Остановились возле мужского общежития.

Стройка на какую-то минуту замирала, будто переводила дыхание, и тогда с Нахаловки явственно доносился лай собак. Виктория Матвеевна приподняла голову, послушала и рассеянно сказала:

— Лают... На кого?

— На весь белый свет.

— И к чему эти выселки здесь, нельзя без них?

— Пока, видимо, нельзя — родимые пятна... Не так уж мы богаты, чтобы без выселков...

В красном уголке общежития на полную мощь пустили радиолу с вальсом «Дунайские волны». Под знакомую музыку хорошо думалось. Начал падать редкий и медленный снег.

Вика вдруг спросила:

— В чем видите вы свое назначение здесь? Я не назойлива сегодня?

— Нет, что вы! Но это сложно. И долго объяснять. И не додумано до конца.

— Я понятливая, объясните.

Вадим снял перчатку и потер лоб горячей рукой.

— Я и сам пока не твердо уяснил себе, чтобы четко сформулировать.

— Ничего...

— По-моему, нам следует вернуться немного назад.

— Назад?

— Да. Я не вижу в том ничего плохого. Потерянное можно восстановить. В двадцатые-тридцатые годы... тогда, кажется, лучше умели работать с людьми. А у нас сейчас методы какие-то... как бы это выразиться...

— Шаблонные?

— Пожалуй так — шаблонные.. Вы заметили, конечно, что старики при случае говорят: «Вот в наши времена комсомол делал дела! А нынче не то...» Правда, старики немножко хвастают, но они и правы отчасти — меньше святого огня в нас... Впрочем, к чему мы с вами такие умные разговоры затеяли — обстановка неподходящая, по-моему...

— Каких бы разговоров вы хотели?

— Вам, например, обо мне многое известно, а мне про вас ничего. Несправедливо, а?

— Окончила историко-архивный институт. Работу свою люблю.

— По-настоящему?

— Да, по-настоящему. Даже по личным мотивам, если хотите. Я одному человеку обет дала. Присягнула. Он был... — она вдруг задумалась, потом проговорила: — но извините, я устала и давайте прощаться.

Вадим познакомил «товарища из музея» с Виктором Бродским, помощь того была как нельзя кстати: Виктор знал на площадке многое, что могло заинтересовать историка, он великодушно поделился с ней некоторыми документами и обещал выслать копию своих записей о бригаде. Вика покушалась еще кое на что, но самые трогательные уговоры ни к чему не привели — Бродский сразу вежливо замыкался и вел себя как самый распоследний скряга: может, после, когда-нибудь, утешал он ее, эти вещи им будут и не нужны, только не сейчас. Вадим добродушно следил за их перепалкой, не брал ничью сторону — потому что каждый был по-своему

прав, и чуть-чуть раскисался, что познакомил Вику с Бродским. Жалел, что она так скоро уезжает. Виктор смотрел на нее своими лазоревыми глазами с немим обожанием. Вика называла его умницей и иногда совершенно непринужденно, как старшая сестра, покровительственно трепала его волосы. Бродский краснел и смущался.

Вика пробыла с ними только три дня и насобирала кучу, кажется, самых бесполезных вещей — связку писем со всех концов Союза от разных людей — молодых и в возрасте — с просьбой принять на стройку, выдавшую виды фуфайку, подержанный мастерок, протоколы заседаний комитета комсомола, стенгазеты из бригады Шмелева, свернутые в толстый рулон. Был даже в этой коллекции обыкновенный кирпич с надписью, выцарапанной гвоздем: «На память о великой стройке от каменщика Глеба Трошина».

Перед ее отъездом, пока Бродский хлопотал с отправкой экспонатов, Вадим выбрал минуту и спросил без обиняков — рада ли будет она его приезду в Энск? Она пожала плечами: отчего же, пожалуйста. Такой ответ, конечно, не обнадежил. И только когда у окна задела машина, она вдруг вздохнула:

— Мне у вас понравилось, спасибо. И приезжайте, буду ждать.

— Честное слово?

— Честное слово!

## Глава IX

### 1

Вика тряслась в кабине «коробочки» и не смотрела на дорогу. Тяжелый саквояж подпрыгивал на коленях, но она не замечала боли — она думала, почему не ска-

зала этому симпатичному человеку — Вадиму Каткову — о себе? Пойди разберись...

Она все не могла до чего-то додуматься, до чего-то необычайно важного. И вот сейчас ее осенило: он сильно похож на Маяковского — скошенная прядка волос на лбу, складка у переносья и в глазах — сердитая грусть. Или она говорила ему, что он похож на Маяковского? Нет, кажется...

— Вы поставьте чемоданчик в ноги, удобней будет, — сказал шофер.

— Спасибо. — Она поставила саквояж и запахла полы пальто.

— Удобней так?

— Да, спасибо.

Шофер был совсем молодой, веснушчатый и лопухий. Все здесь молодые.

Ей сделалось обидно, что она вот такая черствая и вела себя эти дни совсем не так, как хотелось бы. Зачем не поддерживала его попытки оторваться от умных рассуждений, найти тему ближе и нужнее им обоим? Они ведь тоже молодые!

Она пригорюнилась совсем по-бабьи и вспомнила его лицо, когда он вышел провожать и стоял у машины. Лицо было растерянное, на ресницах таял снег. Она нащупала в муфте зазубренную пуговицу от его фуфайки. «Так и не пришила!»

Он остался один на обочине — большой, ссутуленный — и долго смотрел вслед машине, нехотя повернулся и пошел с уроненной головой, сшибая по привычке гальку сапогами.

Она тронула шофера за локоть и спросила, смущаясь:

— Комсорг у вас хороший?

Шофер скатил шапку на затылок и ответил не сразу.

— Парень в авторитете. Его сам Наумов боится, а народ любит. Редкий комсорг, не затычка в бочке.

— Это — как?

— Не на побегушках. Без него на площадке серьезных дел никто не решает, сумел себя поставить. Комсорг — что за должность? Обязанностей много, а прав — никаких. У этого и права есть. Только возьмут его от нас, есть слухи. Такие люди — редкость.

Ей стало еще хуже — ну, хоть плачь! «Да что это со мной! Возьмут — и пусть!»

Интересно, придет он, как обещал? Или только обещал?

Она будет ждать, она расскажет о себе. И о той ночи, которая определила ее жизнь.

## 2

...Сперва она услышала стук цепочки в коридоре — там открыли дверь. Кто-то напряженно зашептал, и к ней в комнату пробился свет из столовой. Вот уже голоса ясней: один мужской, совсем незнакомый, другой — матери. Она повторяла все громче: «Господи, господи!»

Вика накинула халат и, босая, обжигая ноги о холодный пол, пошла туда, на голоса. Сердце сжалось предчувствием беды.

Мать привалилась в угол дивана и уткнула лицо в раскрытые ладони. А за столом, устало сгорбленный, сидел человек в солдатской шинели и пальцами перебирал по стакану с чаем. Перед ним стоял открытый термос и курился паром. От человека пахло дымом и крепкой махоркой. Неаккуратная борода казалась чужой на его маленьком жухлом лице.

— Это — Вика? — спросил бородатый и громко переступил сапогами. Снова перебрал пальцами по горячему стакану и подул в кулак. — Слышал о тебе. Ну, здравствуй.

— Здравствуйте.

— Вы раздевайтесь, — как-то медленно сказала мать. — Извините, пожалуйста. Это так неожиданно.

— Понимаю.

— Как вас звать и величать-то?

— Виктором Петровичем звали. Когда-то. — Он мотнул головой и скривил посиневшие от мороза губы. Глаза у него остались безучастными, строгими. Он вышел в коридор, споткнувшись о порожек, и долго не показывался.

— Кто это?

Мать ударилась головой о спинку дивана с такой силой, что всхлипнули пружины, и крепко провела платком по щеке.

— Оттуда... От папы...

У Вики сердце толкнулось в горле. Лампочка под красным абажуром вдруг качнулась, расплылось пятном черное окно в изморози.

Нежданный гость вернулся, придерживая у груди большой пакет из газеты, склеенный хлебным мякишем, и ученическую тетрадь. Пакет передал матери: «Вам, Елена Ивановна», — тетрадь положил на стол перед собой, присел и единым махом проглотил остывший чай.

— Есть хотите, Виктор Петрович?

Он потрогал пуговицы черной рубашки-косоворотки. Вид у него был виноватый — он явно стеснялся этой мятой рубахи, острых колен своих, худобы.

— Да, есть хочу.

— Может, помоетесь сперва?

— Нет, поесть бы. И простите меня.

— Что вы!

— Там, Елена Ивановна, его письмо в ЦК. Пошлите. Копию велел оставить.

— Хорошо...

— А тетрадь — для дочери.

— Как он там, господи!

— Плохо. Это — без большой фантазии представить можно.

— Здоров хоть?

— Нет. Простите, не умею иначе, лучше уж правду.

Вика прижалась к вздрагивающему плечу матери и затихла. Она ненавидела сейчас этого человека: зачем он так беспощадно? Мать мокрой ладонью провела по ее лицу и оставила на губах соленый привкус слез: лучше сразу, дочка, он прав. Стерпим и это. И спросила:

— А вы как?

— Повезло, наверно. Освободили... Сам не пойму...

— Судьбу благодарите.

— Не за что.

...Человек «оттуда» вздремнул на диване, а утром исчез, не попрощавшись с Викторией. С матерью перед сном они еще говорили о чем-то шепотом. И все.

Вика после читала и перечитывала письмо, листала и перелистывала ученическую тетрадь, с обложки которой смотрели три богатыря Васнецова.

Почерк у отца был округлый и четкий.

«Девочка моя!

Тебе уже шестнадцать лет, ты взрослая, и я говорю с тобой как со взрослой, тем более, что письмо это — последнее: я уже плох и вас не увижу. Из дома весточки изредка получал, вы от меня — вряд ли. И не потому, конечно, что я был неаккуратен или забыл самых родных людей. Я ведь осужден без права переписки. Надеюсь, что эта тетрадь все-таки попадет тебе в руки и ты прочтешь ее внимательно.

Только не плачь и не смотри на весь белый свет исподлобья. Не черствей, не замыкайся в себе оттого, что твой отец оклеветан. Вас много теперь растет таких — обойденных и униженных. И когда справедливость будет восстановлена, вы можете удариться в крайность, обвиняя без разбору всех, и Советскую власть в том числе. Не смейте! Ведь мы — тоже партия, тоже Советская власть. Нас большинство, а их, подлецов, — кучка.



Солнце для меня, девочка, светит уже тускло, но от того не убавилось во мне веры. Я, пожалуй, стал жизнелюбивее и не разучился радоваться малому — тому, что еще доступно: совершенно особому воздуху тайги, цветам (они здесь яркие и совсем без запаха), доброй закрутке махры на перекуре... Это великое благо — радоваться, и хорошо, что я его не утратил. Многие из тех, кого я знал по ту сторону колючей проволоки, на воле, потеряли человеческое достоинство из-за лишней пайки. Я не хочу этого и выдержу до конца.

Мама писала, что ты увлекаешься историей. Может быть, увлечение это пройдет, может, окрепнет. Ты росла у нас всегда немного замкнутой и не по летам серьезной. Я чуть боялся за тебя и жалел, что ты у нас одна. Так уж получилось. Но не стану отвлекаться — времени у меня в обрез.

Я обязан думать о тебе, особенно сейчас. Я хочу, чтобы ты была мужественной — ведь тебе трудно будет жить с моим клеймом.

Учись. Самое главное — учись. Если поступишь на исторический факультет, то работы для тебя будет непочатый край — настоящей, живой работы.

В стране нашей безымянных героев несколько не меньше, чем тех, о которых так часто пишут газеты. А безымянных не должно быть, ибо судьба каждого большого человека поучительна. И вы, молодые, по букве, по строчке воскресите забытое, очистите от грязи оскверненное и затоптанное, и тогда у вас прибавится веры, осмысленней станет жизнь.

Вот ты и поможешь передать эстафету от погибших без времени — живым, от прошлого — будущему. Не для слез и пустого сожаления — для дела, которое остается святым.

Девочка моя!

Уже вечер. На меня глядит луна, разлинованная тю-

ремной решеткой. Во весь горизонт луна. Здесь все крупно и сурово.

Мне слышно, как свистит ветер в кедраче и лают собаки.

Рука уже что-то не пишет. Устал я и ослаб. Товарищ, который попыбует передать эту тетрадь и пакет маме, уходит завтра поутру. А сказать хочется многое. Ведь я неплохую жизнь прожил.

Ну, прощай. Вспоминай меня. Я мало занимался тобою дома, потому что вечно был занят, но я любил тебя и люблю.

Прощай, девочка моя!

Целую.

Живи.

Отец твой — Матвей Качаев».

## 5

Тетрадь эту Вика получила зимой пятьдесят первого года. И уже через неделю, как они узнали позже, отца не стало — умер от туберкулеза.

Он вернулся с фронта за год до окончания войны, раненный в грудь. Проработал немного начальником технического отдела номерного завода, затеял какую-то реконструкцию и был обвинен в саботаже. Впрочем, никто не знал, за что его взяли. И знакомые, кто посмелей, тихонько сочувствовали Качаевым, но помочь ничем не могли.

Отец оказался прав: клеймо носить было тяжело, и в историко-архивном институте, куда она поступила после долгих мытарств, ее оскорбляли походя даже умные, даже очень деликатные люди, потому что вынуждены были силой обстоятельств напоминать ей о позоре отца.

Вике не давали допуска к документам, которые когда-то публиковались в периодической печати.

Но Вика училась и окончила институт.

...Время шло.

Отца реабилитировали. Вика искала, восстанавливала страничку за страничкой историю первых пятилеток и войны. Она считала, что нашла свое призвание, и была счастлива от сознания своей нужности.

## Глава X

### 1

Долго судили-рядили в парткоме, на стройкоме, в комитете комсомола, какой бригаде отдать знамя «Новинкостроя»? По всем статьям жилстроевцам полагалось бы отдать, Шмелеву: показатели у него самые высокие, работают мужики с размахом. Умеют.

Наумов с Катковым сразу и решительно восстали против этого. Они считали, что знамя надо вручить Пантелевичу: у этого качество отличное, без натяжек, дисциплина... И в общественной жизни ребята участвуют активно. И потом, имей они хоть мало-мальски подходящие условия, шмелевцы давно бы только из-за их спины выглядывали.

...Бессонов на следующий день задержался с утра в горкоме партии, и когда при нем в кабинет первого секретаря ввалилась шумная орава московских корреспондентов — какая-то выездная редакция от центральных газет — Олег Иванович не утерпел, сказал, что завтра на стройке будут передавать одной бригаде особенное знамя...

В первый момент он не собирался об этом объявлять — это получилось неожиданно. Да и потом люди стараются, сколько в их силах, быть не хуже других, и они заслужили хотя бы малой славы. Большая-то слава

еще впереди, и она придет. Бессонов, поразмыслив так, успокоился.

Корреспонденты, естественно, зажглись — событие-то неординарное.

— Будем обязательно!

Ночью упал снег. К утру ветер разогнал тучи, и наступил ясный день, какие бывают в Сибири зимой: голубовато-стальной, переливчатый от солнечного света, который рвался со всех сторон — сверху и снизу, от снега, от крыш, от окон.

Снег приятно уминался под ногами; желтое солнце тихо плавилось в голубом небе.

Поселок в этой благодати стал вроде шире и богаче.

...Бессонов стоял возле больницы и широко водил руками — показывал: там будет промбаза, дальше — доменный цех, прокатный цех и ТЭЦ. Это за пятнадцать-двадцать километров отсюда. Поселок — только первая ступень огромного по своему размаху строительства.

Приезжие корреспонденты не разделяли энтузиазма секретаря, потому что смотреть пока было нечего.

Пантелеевич, затянутый «в рюмочку» офицерским ремнем поверх новой телогрейки, ловко сбежал по сходням и поздоровался со сдержанной крестьянской важностью — за руку с каждым. Каменщики сверху вежливо кивнули, но работу не бросили. Девчонки пересмеивались, втихомолку вырывали друг у друга зеркальце: как же — снимать будут! Митинг будет!

Бессонов расстегнул пальто: ему стало жарко.

— Показывай, Максим Пантелеевич, свое хозяйство. Товарищи вот пришли к тебе из газет и кино. А это наш лучший бригадир, о котором я уже говорил, товарищи, — Максим Пантелеевич Сторожук. Мастер высокой руки, ветеран.

— Побриться бы ему не мешало, — сердито сказал маленький оператор в узких брюках и губчатых замор-

ских ботинках на меху. Оператор был недоволен: ему не нравилось место съемки.

— Далеко, товарищ Сторожук, живете?

— В городе живу, далеко, — виновато ответил Пантелеевич и вздохнул, ему не по душе была эта канитель.

— Побриться нужно обязательно.

Старик, подавленно озираясь, побежал в парикмахерскую. Каменщики ухмылялись: не сдобровать теперь бригадиру — засмеют.

— Губная помада не требуется? — крикнул Петр Быков и тоже сбежал по сходням вниз, а за ним, побросав мастерки, — остальные. Последним, принюхиваясь, прокосолапил бригадный пес Жорка и, невесть почему, залаял.

Бессонов подобрал губы и так посмотрел на Петра Быкова, что у того разом отпала охота шутить.

Народу понабралось порядочно. Для операторов поставили на кирпичи перевернутый вверх дном растворный ящик. Каменщикам Бессонов велел податься немного назад и открыл митинг.

Операторы громко жаловались, что нет «фактуры»: сзади — кладка, голая дорога, впереди — поселок, в котором тоже мало внушительного. Наконец они застрекотали камерами.

Бессонов начал говорить, выбросив вперед туго сжатый кулак. Он был даже красив в эту минуту: большой, монументальный в своем пальто, полы которого от каждого его резкого движения разбрасывались в стороны. Бессонов говорил о преемственности поколений, о тяжелом, но полном удивительных взлетов человеческого духа времени первых пятилеток.

— Здесь нелегко, зато почетно. И странно порой слышать жалобы! того нет, этого нет. Им сразу дворцы подавай, клубы и кинотеатры. Так не бывает и не будет. Ждать надо — все это не за горами.

— А сам в Новинске живет, переезжать сюда не со-

бирается! — вставил Петр Быков негромко, но его услышали многие, и по толпе пробежал смешок.

Рядом Пантелеевич дрожащими руками снимал чехол со знамени «Новинскстроя». Он развернул полотнище.

Оно казалось темно-алым, словно кусочек закатного солнца в сизый день.

Потом на ящик поднялся Катков.

— Товарищи!

Он долго молчал, собираясь с мыслями, и это «товарищи» стало оттого как-то значительней и сильней.

— Товарищи! Мы схожи с полком, который пошел в разведку. На нас все смотрят, на нас отцы смотрят, а мы у отцов должны взять не только опыт, но и унаследовать великую гражданскую ответственность перед людьми, перед страной. И пусть эта земля, согретая нашим дыханием, для каждого станет дорожке дома, в котором родился, дорожке колыбели, в которой качала мать! Пусть отсюда для нас начнется Родина. С этой минуты снова заплещется над нами знамя, овеянное калеными ветрами тридцатых годов, и оно не обещает нам спокойной жизни. Так оправдаем великое доверие — пусть на этом знамени не будет пятен. Не должно быть, иначе мы не достойны дела, которое взяли на себя!

Через несколько дней после вручения знамени Бессонов собрал бригаду Пантелеевича для беседы в красном уголке общежития.

Он рассчитывал встретить безусловную поддержку, когда предложил каменщикам бороться за звание бригады коммунистического труда, но те ответили настороженным молчанием.

Бессонов растерялся: с таким дружным и мрачноватым отпором он сталкивался впервые. Нельзя сказать, что у него совсем не было опыта в такого рода делах. Не всегда ладно они получались, но все-таки получались. Он сознавал, что часто заставляет рабочих обе-

щать то, чего заведомо нет возможности сделать, но ему сравнительно легко шли навстречу — по привычке да и знали к тому же, что это обман, так сказать, запланированный и за него не наказывают.

Вчера он проводил такое же собрание у жилстроевцев, в бригаде Ивана Шмелева. Там было совсем иначе: встал парень — Глеб Трошин, сказал хорошую речь, ребята без возражений проголосовали.

Народ пожилой, опытный. Минут за пятнадцать и пошили дело, потому что новинские торопились на автобус. Его, правда, немного покорибило, что так легко все прошло — неискренне, без подъема.

Бессонов поискал глазами Вадима Каткова: хоть бы выручил!

Катков сидел впереди один и вроде не замечал настойчивых призывов Бессонова.

Каменщики прятались за спинки стульев.

Пантелеевич в переднем ряду испуганно терзал шапку.

— Что скажет бригадир?

Старик ждал вопроса, но ответил невразумительно, отводя глаза: нужно, конечно, а то как же.. Пообвыкли...

— Правильно! — бодро подхватил Бессонов.

— Я и говорю... Правильно... Только — чтобы не языком. Работать надо хорошо, а не звонить без толку, вот что.

Тогда и попросил слова новенький в бригаде Виктор Бродский. Он переминался, тер нос и оглядывался. Ему закивали, оживились: давай, давай!

Бродский, оказывается, выступал от имени большинства. И то, что он скажет сейчас, — не его досужие мысли, а если хотите, кредо коллектива, которое полагается уважать.

— Пантелеевич хоть и невнятно рассуждает о соревновании, но в его словах сама суть. В каком смысле

суть? Зададим себе для начала вопрос: что же такое социалистическое соревнование? Это самодеятельное движение сознательных масс.

«Тон-то какой!» — сердито подумал Бессонов.

— А у нас что? Судите сами, — продолжал Бродский. — То работаем ни шатко, ни валко, то штурмуем. Здесь ведь как бывает: «Даешь, ребята! Наверстаем упущенное, вырвем план!» И круглый год — так. А когда же просто хорошо работать? Спокойно, ритмично. Понимаете? Культурно работать, без торжественного шума вокруг обязательств к разным датам.

Бессонова задело самоуверенное поведение этого юнца, который не хотел брать во внимание разницу ни в возрасте, ни в положении. И еще горше было ему от сознания, что в словах мальчишки есть правда.

Бродский добрался, наконец, до сути. Движение за коммунистический труд, сказал он тем же академическим тоном, может быть, и новое, хотя я лично не уверен в этом: слишком уж новое похоже на старое. Но все равно опешлять в зачатке движение нельзя. И вот еще в чем неувязка, самая основная. Придут к нам люди учиться. Бригада-то, допустим, борется, а мы сидим, дружно курим и ждем у моря погоды: кирпича у нас нет, раствора нет, электроэнергию отключили. Поучительная картина. Потом каждому еще надо очиститься от слишком явных недостатков, получить моральное право, и тогда...

Бессонов даже не попрощался. А когда пришел к себе, послал за Катковым.

В небольшой приемной парткома пахло клеем. Запах был кислый и стойкий, от него болела голова.

...Бессонов, засунув руки в карманы, стоял спиной к двери. Пиджак у него сзади вывернулся подкладом. Он обернулся молча и, задев стену плечом, прошелся вдоль кабинета, заскрипел ботинками, — секретарь и в самые сильные морозы носил ботинки, которые здесь



называли «генеральскими». Эта дорогая и почетная обувь издавала самодовольный скрип.

«Сердится?» — подумал Вадим.

— Как я выглядел? — спросил, наконец, Олег Иванович и круто развернулся на каблуках. — Там? — и показал в сторону общежития.

Лицо его было нездоровым, с желтушным оттенком, щеки напоздали на воротник рубахи.

Вадим некстати подумал: «Тебе надо по утрам с гантелями потеть, обрюзг совсем!»

— Что вы имеете в виду?

Бессонов выпятил губы и нахмурился.

— Осрамились мы, вот что. И ты тоже. Нельзя так работать, нет.

— А что я?..

— Ты в стороне остался. Это же политический ляпсус, если хочешь знать: люди не посчитались с мнением парткома и какой-то, извини, мальчишка мне лекцию прочитал. С меня же спрашивают!

Он этого откровенно боится — когда «спрашивают». Не всегда нужно — руки по швам — и выполняй. Дурак, известно, усердно богу молится, да лоб расшибает. Вадима уже раздражала эта податливость, бездумная вера в авторитеты. «И почему его на партийную работу выдвинули!» Наумов имел на этот счет простое объяснение: «Элементарно. Приходят, допустим, к начальнику цеха важные товарищи зондировать почву насчет секретаря первичной организации — кого рекомендовать? Начальник, мужик, конечно, хитрый, соображает. Хорошего специалиста он ни в жизнь божию не отдаст, зубастый мешать будет, а вот морально устойчивого — пожалуйста. У такого человека одна доблесть — морально устойчивый. И пошел он по ступенькам, пополз. А что? Исполнителен, за границей не бывал, в оккупации тоже, спиртное потребляет умеренно, жена по инстанции челом не бьет.

Наш-то хоть мужик невредный и незлопамятный. Ну и верно, одной-то доброты очень даже мало, не нужна она на таком бойком месте. Всем ведь не угодишь. Христос до чего уж был добрый парень, и того распяли, на кресте, понимаешь, повесили. Вот так. А знаешь, кто нашего Олега Ивановича могучей рукой на партийную работу выдвинул? Сперанский двинул! Ну, правильно, ты не веришь. Ты спрашивай, у людей поспрашивай — они не соврут!»

— Напрасно паникуете, я вот радуюсь, если честно.

— Чему, интересно, радуешься? Что я обмишурился?

— Не о том я. Думают ребята. А ошибаться... Все ошибаются. Вам не стоило торговаться и настаивать.

— Легкомысленный ты, однако, парень.

— Я не легкомысленный, вы — да.

— В каком смысле?

— В самом прямом. Идете в бригаду без подготовки, не знаете, чем дышат люди. Спросить у них надо было хоть ради вежливости.

— У других не спрашивали...

— У Ивана Шмелева, что ли? Те мужики пообвыкли, как Пантелеевич выразился. Им слава на руку.

— Почему?

— Внимания больше, отказа ни в чем не будет и, значит, заработок гарантирован. А у Пантелеича ребята другие, у них, слава богу, совесть еще есть... И чем я мог помочь вам? Уговаривать? Так не согласятся.

— Да, остер ты... Не переспорить тебя... — Вид у Бессонова был теперь отчужденный. — Ты, значит, здесь совсем ни при чем?

— При чем. Поработаем с ребятами как следует — и со временем, может быть, появится на стройке настоящая бригада коммунистического труда, не липа. У вас все? — Вадим боялся, что разговор в таком духе пойдет слишком далеко, и не хотел этого: — Я тороплюсь, знаете...

— Торопись, торопись...

— До свидания.

Бессонов не ответил.

## 2

Виктор Бродский предложил выпускать в бригаде стенную газету. Идею одобрили: «Дело хорошее, только ты и будь редактором, ты у нас самый грамотный. И настоящую газету делай, которую читать интересно. И критикуй. Конечно, советуйся, не перегибай».

Виктор взялся за дело. Взялся даже чересчур рьяно: в первом номере навалился на самого Пантелеича. Всем, кроме Петра Быкова, газета понравилась. Петро же говорил, что ни к чему обижать старика, но ему резонно возразили: что ж, по-твоему, раз он бригадир, то и скидка ему положена? Ничего подобного! И Петро отступил.

В понедельник утром бригадир припоздал на целых полчаса, чего с ним никогда не случалось, и стеснительно, бочком протолкался в тепляк. Он знал, что его ждут: в бригаде перед сменой «плановали» работу на день.

Пантелеича, действительно, ждали, но не затем, чтобы слушать наставления, а посмотреть с безжалостным эгоизмом молодости на реакцию от карикатуры. Старик был там нарисован в нелепой позе: сам маленький, а рука, вытянутая к карману с надписью «поборы с Нахаловки», была огромной и напоминала грабли.

Пантелеич сперва не понял, в чем дело, только насторожился под ехидными взглядами каменщиков, потом узнал в газете себя и зачем-то вытащил из кармана остро отточенный карандаш. Подвинулся ближе, вплотную к стене, постучал по ватману карандашом, словно хотел убедиться, что ему не померещилось, и, ссутулен-

ный, повернулся к ребятам. С его плеча скатилась лямка, и сума с тяжелым стуком упала на пол.

— Спасибо, уважили. — Он низко поклонился. — Спасибо, сынки...

В тепляке стало очень тихо.

— Спасибо, сынки, чего уж там...

Больше за смену Пантелеич не сказал ни слова. Молча же, не попрощавшись ни с кем, перекинул свою сумку через плечо, пошел домой.

### 3

Автобус долго плутал по окраине Новинска за вокзалом и наконец остановился. Шофер — меланхоличный парень в разодранной шапке, из которой на самой макушке некрасиво вылезала требуха, махнул рукой и повалился лицом на баранку — вздремнуть. Он по пути рассказывал, как у него нивесь почему скончалась теща и ему достались печальные хлопоты по организации похорон и бессонные ночи. Теперь он хотел спать.

Катков потряс шофера за плечо.

— Федя!

Тот приподнялся, посмотрел белыми глазами и показал направо.

— Вот и есть улица Крутая, туда не проехать.

Улица, огороженная с обеих сторон разномастными заборами, петляя, лезла на гору. Здесь машины действительно не ходили.

— Вы ступайте, — сказал шофер, — я дождусь.

Катков выпрыгнул первым, за ним Наталья Голубь и Виктор Бродский. Петро Быков только высунул голову наружу и округлил рот.

— Глянь-ка!

Позади автобуса, метрах в десяти, сидел Жорка — бригадный пес — и застенчиво отворачивался, зевал и мел снег хвостом. Жорку щенком притащил в общежи-

тие Петро, и хлопот с ним шестая комната приняла немало: месяца три прятали его от воспитателей и разных проверяющих из ЖКО, бегали по очереди за молоком, ночами мыли в тазу на кухне, лечили от запора домашними средствами. Щенок скоро отъелся так, что не мог переползти через калошу, спотыкался и падал к общей потехе, забавно взлаивал и как-то незаметно вымахал в здорового кобеля, серого, с желтыми подпалинами у живота. К этому времени его положение утвердилось окончательно, и комендантша — суровая вдова — выделила псу угол рядом с кубовой: Жорка настойчивой лестью покорила ее каменное сердце, чего до сих пор никому не удавалось.

Собака была избалована вниманием, ласки терпела со снисходительным пренебрежением, но робела и заискивала перед Петром, беспрекословно подчиняясь его слову. Жорка, собственно, терпел иных прочих ради своего единственного хозяина.

Жорка изо всех сил делал вид, что оказался здесь по чистой случайности, и даже сдерживал дыхание, чтобы они не поняли, как он умаялся бежать за автобусом. Я, мол, и сам удивлен этой встрече, но в то же время и обижен, что вы не позвали меня с собой. Разве про-меж друзей такое возможно?

И сейчас противоречивые чувства раздирали его гордую душу. Но он готов простить, ибо любовь великодушна.

— Ну и скотина! — простонал Петро. — Марш домой!

Жорка отбежал малость, задрал морду к небу и заскулил.

— Пусть остается, ему вон сколько бежать обратно, еще под машину попадет! — вступилась за Жорку Наталья Голубь. — Бессердечный ты какой-то, прямо!

— Ладно... Но я ему после дам пить.

У встречной тетки Вадим спросил, где живет Максим Пантелеевич Сторожук. Тетка, польщенная вниманием

такого представительного молодого человека, красиво одетого и, наверное, нездешнего, взялась путано, с отступлениями объяснять и, кажется, в ближайшие полчаса останавливаться не собиралась. Они вежливо поблагодарили и пошли. Уяснили только одно: это далеко, в конце улицы и, значит, на самой крутизне.

Обледенелая, заезженная дорога круто ползла вверх, и взбираться по ней было нелегко, особенно Петру в своих сапожках на кожаной подметке. Он скользил, падал на четвереньки и монотонно ругался: и занесла же нелегкая старика к черту на кулички; ругал еще куркулей, которые не догадались посыпать дорожку хотя бы золой, если песка не имеют, сволочи!

...Пантелеич после случая с газетой на работу не вышел, а на другой день Клавка Рыжий привез из города новость: он якобы видел бригадира возле пивной в невменяемом состоянии — без шапки, с расстегнутой грудью. Пантелеич будто бы Рыжего не признал и не поддался уговорам сесть в трамвай и ехать к своей старухе, наоборот, — совал ему деньги, смятые в горсти, и приглашал строить: раз, мол, пошла такая пьянка — режь последний огурец. Потом, когда миновала неделя, кто-то пустил слух, что бригадир сильно заболел и лежит дома.

Вадим в тепляке прочитал ребятам пространную нотацию о черствости и равнодушии как о начале всех пороков, вплоть до самых страшных — отступничества и предательства. Таким раздраженным каменщики его, пожалуй, еще не видели и не пытались оправдываться. Да и крыть было нечем. Катков сказал: «Вы пижоны, бессердечные копуши. Старшим надо не только уступать место в трамвае, не великое это рыцарство, но и научиться беречь их самолюбие, свято чтить заслуги». У Вадима побелели ноздри от тихого бешенства. Он оставил ребят в удрученном состоянии. Они судили да рядили целую смену про это дело и переживали: никто

же не думал, что так нехорошо может получиться.

...В ресторане на вокзале христом-богом выклянчили килограмм яблок и пару лимонов. Петро предлагал купить еще «четвертушку для сугреву», но Наталья бурно восстала против такого кощунства, и вопрос закрыли. Однако Быков ненадолго куда-то отлучился, а когда вернулся, вид у него был весьма загадочный.

Гора, на которую они сейчас взбирались, звалась Соколиной, и отсюда почти целиком просматривался Новинск. Он раскинулся в большой вогнутой чаше. Там, внизу, качалась иссиня-серая пелена дыма. Солнце как раз уходило, и закатный свет его ударил вдруг в полную силу, на минуту оживил яркими красками мрачноватую панораму, и силуэт металлургического комбината четко отпечатался на алом фоне. Это было впечатляюще. Казалось, сама земля прогибается под тяжестью громадины из железа, что здесь мощно и ровно бьется сердце города и пульс его слышит вся страна.

Жорка плелся сзади на приличном расстоянии и по минутно вскидывал лобастую голову: ну, как, мол, мое общество вам не в тягость? На него из подворотен лаяли собаки, почуяв чужака, однако Жорка благоразумно не затевал драк.

Пантелеич жил в кирпичном домике с острой крышей.

Вадим несколько раз крикнул: «Эй, кто там есть?»

На крылечке появилась высокая простоволосая старуха в шали, накинутой на плечи, кивнула «заходите» и скрылась.

Через калитку они вошли во двор, обмели ноги голышом и постучались.

— Можно!

В сенцах было темно, пахло капустой, березовыми вениками и грибами. Натыкаясь друг на друга, долго искали вторую дверь...

В кухне горела яркая лампа без абажура. Старуха

сидела возле побеленной печки и снимала валенки. Разогнулась — «проходите». У нее было большое лицо с резкими чертами. И вообще она когда-то, видно, имела мужскую статью и теперь была совсем еще крепкой.

— Можно к вам?

— Чего нельзя-то!

— Максим Пантелеич здесь живет?

— Тут, куда ему деться. И-и-и! — пропела старуха добродушно. — Лежить, как медведь в берлоге. В большом расстройстве.

— Что с ним?

— В спину вступило, ломает всего. Раздевайтесь, гостюшки, проходите. Вчера Наумов Иван Абрамович проведаль, спасибо хорошему человеку, теперь вы. А сучает старик.

Ребята переглянулись: сам Наумов нашел время!

— Знакомиться будем? — Петро дал хозяйке руку. Она чинно поджала губы и поклонилась.

— Евдокия Ивановна, супруга Максима Пантелеича. Вот так. Ну, а вас всех я враз не упомяну.

— Ничего, мы из его бригады.

— Раздевайтесь. Рад будет старик-то, уж вот как рад!

Пантелеич лежал в дальней горенке, заставленной цветами, на деревянной кровати, закрытый до подбородка стеганым одеялом. Он попробовал подняться, когда их увидел, но застонал и упал. Суматошно зашевелился и прогнал Наталью:

— Ты, девка, выдь пока.

Они расселись на стульях около кровати. Пантелеич с помощью старухи натянул белую рубаху, застегнул воротник до последней пуговицы, вытер лицо мокрым полотенцем, провел для порядка расческой по жидким волосам у затылка, приподнялся на взбитые за спиной подушки и только тогда поздоровался. Ладонь его была тяжелой и холодной, как речной голыш.



— Ну, вот,— говорил он,— ну вот... Нашли меня... Ну, вот... Тут и живем, горе мыкаем. Ить привык: воздух свежий, дыму нет этого, будь он неладный, а?

Он был явно смущен и обрадован их приходу.

— Десять лет как отстроился. И ничего у меня, а? По наумовским чертежам — он все настоящий коттеджик хотел, да на роскошь денег не хватило.

Его руки с набухшими зеленоватыми венами, переплетенными, как ручейки в половодье, тряслись мелко и не находили места. Он вроде стеснялся изломанных работой пальцев, неухоженных ногтей со следами табака. Он усох, стал меньше, щеки у него запали еще сильнее, и тонкий нос с горбинкой выдавался вперед, глаза помутнели.

У Вадима заныло сердце от жалости к нему. И он отвернулся.

— Как здоровье-то? — спросил Петро, который был один со стариком на «ты».

— Неважно, Петя...

— На работу когда? А то без тебя прижимают нас.

У бригадира судорожно дернулся кадык, руки беспокойно легли поверх одеяла одна на другую. Он закрыл глаза и собрал у переносья жесткие брови. Долго молчал.

И молчание это давило. Наконец поднял веки, посмотрел на них ясно и виновато:

— Отработал я свое. Шабаш!

— Да брось ты, отработал! Мы с тобой вон еще Лысуху на макушку поставим!

— Не могу, Петя, лета не те. Тут вчера Наумов такие же речи говорил... Рад бы в рай, да грехи не пускают. Крепился, скрипел сколько можно, а уж нет силушек моих... Я ведь уже с весны после смены сюда на карачках заползаю. Пятьдесят лет отбухал, считай. Еще пацаном с батей покойным в Томске начал, хлеб господний на заднем дворе ел, давился... Старуха моя

уезжать надумала к сыну в деревню. Там речка и всякое такое. Рыбачить, говорит, будешь... А я вот летось здесь в садик пойду и весь город видится. На каждой улице не один дом мой, а? Как же так? Несоответствие получается... Конечно, в деревне оно покойно... Но... — Бригадир опять закрыл глаза.

На крылечке всхлипывал обиженный Жорка: мороз к ночи, видно, поджимал и на ветру было холодно.

— Вы извините, — робко начал Бродский, — обидели мы вас...

— Разве в том дело? — откликнулся старик. — Обидели. Конечно, неприятно. Вы не расстраивайтесь понапрасну, правильно указали: не побирайся, имей гордость. Правильно, жалеть не надо. А битому оно всегда обидно... Я рабочий человек, и совесть мне марасть негоже.

Наташка сидела в ногах Пантелеича, теребила концы платка, брошенного на плечи, и поджимала губы — она готова была расплакаться.

Петро сморщился, почесал затылок и ловко вытащил из-за пазухи бутылку:

— Слышь, отец, давай тяпнем? Чтоб дома не журились. Скучно, будто отпеваем кого. Встанешь, знаю я тебя, и в тепляк своим ходом притопашь. — Быков сумел найти грубоватый и, наверно, единственно правильный тон. — Брось эти штучки, понял!

— Так ведь я не против! — оживился Пантелеич. — Однако, Петя, так-то не годится — вдвоем нам, что ли, пить?

— Они интеллигенты, они против спиртных напитков.

— Нет, так гостей не встречают. Авдотья, скоро ты там?

Старуха внесла в комнату небольшой столик на тонких ножках и быстро растолкала тарелки с закуской — соленые помидоры, огурцы и сковородку с жареным

мясом, обтерла полотенцем и поставила на середину графин с водкой. Отступила на шаг и пригласила:

— Все у нас свое, на земле выросло. Кушайте, пейте, не обижайте хозяев.

Столик подвинули к самой кровати и устроились так, чтобы больной видел всех. Ему на стул отдельно Евдокия Ивановна поставила закуску. Пантелеич крикнул, поднял стакан на свет и задержал его в вытянутой руке.

— Ты, Авдотья, давеча ворчала: кого ждешь, старый хрен, кому ты нужен, прости, господи? Видишь, нужен! Мои выученики и уважительные товарищи. Не успел их в мастера вывести — тут несоответствие, конечно. Да и сами научатся — правильные ребята. Они нынче вострые. Ваше здоровье, молодежь-холостежь! — он разом выплеснул водку в широко открытый рот.

Выпили все, даже Наталья не посмела отказаться. Она закашлялась, и слезы, словно стеклянные, крупные и блестящие, катились по ее щекам. Она порозовела сразу, и подперев кулаком подбородок, по-бабьи пригорюнилась.

Виктор Бродский сунул очки в карман, и на его узком лице появилось беспомощное выражение, потому что он вдруг почувствовал в себе тепло и бесконечную доброту.

Евдокия Ивановна хотела налить еще, но Вадим закрыл свой стакан ладонью:

— Нельзя нам больше, спасибо. Да и пора уже — внизу автобус ждет.

Пантелеич завздыхал.

— Авдотья, принеси из кладовки, что велел. И не мешкай: им завтра с петухами подниматься, народ рабочий. Вы, ребята, приподнимите меня повыше, да не стесняйтесь, выдержу. Вот так.

Хозяйка принесла брезентовую переметную суму Пантелеича.

— Вот что, Петя... И вы, ребята... Дарю вам свой инструмент — пусть за меня с вами будет. Такого не найдешь теперь, редкий инструмент... Тут все до ниточки, полная выкладка. Одевай, Петя. Вам еще долго работать — целый век...

Петро неловко накинул лямку на плечо и ссутулился.

— Отец, чего ты? — спросил он.

Пантелеич не ответил — резко подвернулся, охнул и закашлялся.

Они постояли еще, потом закрыли дверь.

## Глава XI

### 1

Тополя-трехлетки высаживали глубокой осенью, уже перед снегом. И мало кто надеялся, что они примутся и по весне зазеленеют.

Саженцы выгружали из машин и валком складывали у обочины. С белых корневищ осыпалась земля, и деревца вздрагивали от боли. А прямо на дороге, отдельно, валялась измятая березка. Она приготовилась умирать. Вадим поднял ее, сжал в руке ствол, накаленный холодом, расправил ветки. Он решил спасти ее. Пожилая агрономша из городского «Зеленстроя», которая распоряжалась комсомольским воскресником, оцупала деревцо красными пальцами и равнодушно сказала:

— Выбросить. Погибла. Да и ни к чему она здесь — ансамбль портить будет.

Потом агрономша несколько раз и со вкусом повторяла длинное, как оглобля, слово «кислородоотдача».

У березы, оказывается, сравнительно малая кислородоотдача, и тополь в этом смысле самый выгодный для городских посадок.

Вадим, однако, заупрямился и начал рыть ямку по ту сторону кювета, напротив столовой. Эта ямка была лишней, но он ее выкопал, на дно засыпал торфяника, который таскали носилками из низинки, накрошил из рук черной земли, притрамбовал землю специальной колотушкой, осторожно примял ногами землю вокруг ствола, перебинтовал березку рогожиной, сделал проволочные тяжки на колышках.

Он чуть не стукнул лопатой Трошина, когда тот, вызвавшись помогать, скидал в ямку осколки кирпича, чтобы сократить работу.

...Вадим каждый день проводывал березку и загадывал: если она примется, то... Он связывал с этим самые лучшие свои надежды, и весна должна была дать ответ на все важные вопросы. Он не чувствовал в себе никаких перемен, а перемены наступали естественно и неотвратно: он становился мудрее, он иногда уставал от людей и начинал любить то, чего раньше просто не замечал. Мы, бывает, прозреваем неожиданно и с пронзительной силой видим вдруг, что над нами небо, что с нами мир, полный красок, и мир этот останется навсегда. А мы уйдем. Когда мы начинаем понимать это, стараемся наверстать потерянное. Тогда приходит зрелость.

В середине декабря целую неделю падал мокрый снег. На эту круговерть нельзя было долго смотреть — в глазах утомительно сплетались белые кружева.

...На снегу оставались белые следы.

Вадим остановился возле столовой.

Березка была весело облеплена снегом. Он хотел отряхнуть ее, но раздумал: так ей теплее.

Была глухая тишина, с того берега не пробивались огни. Улица не имела перспективы, она обрывалась совсем рядом, а дальше лишь размыто желтели фонари.

Он стоял совсем один и с удовольствием думал о

том, что через два часа сядет в поезд, утром приедет в Энск и встретит там Вику Качаеву.

Так просто!

Ночь на полке под уютный стукоток колес и — встреча. Доставит ли она ей неожиданную радость? Он скажет: «Вот и я!» Она, допустим, ответит: «Ну, и что?» Как быть потом?

...По дороге в город катились МАЗы, над фарами у них качалась круглая радуга. Ветер крепчал. Иногда, редко, проглядывала луна, белая, как бумага. Луну догоняли рябые облака, небо гасло, и снег сыпал из черной бездны. По крутой тропе Вадим вышел на дорогу «голосовать». В руке он держал спортивный чемоданчик, под мышкой — плоский сверток, перевязанный шпагатом.

Березку он отсюда не увидел, потому что в столовой погас свет.

## 2

Поезд отходил в десять вечера.

Вадим снял пальто, кинул шапку и сел, уткнув локти в столик, отодвинул шторку на окне. На той стороне, за вокзалом, протопал маневровый паровоз и насорил искрами. Они подпрыгивали и долго катились вдоль путей.

Перрон понемногу оживал, командированные, помахивая портфелями, разбредались по вагонам. В этом поезде были одни командированные, которые ехали в область «утрясать».

Поезд тронулся. Огни вспыхивали и уходили, точно листали на столике большую книгу с чистыми страницами. В купе к Вадиму никто не сел. Он все смотрел в черное окно. Ему было хорошо, он любил ездить и уже отвык от поездов за эти полгода.

...Вагон тряхнуло, повело в сторону. Поезд остановился. Вадим чуть приподнял створку окна. Пахло ды-

мом и снегом. Станцию загоразивал террикон, похожий на египетскую пирамиду. И здесь была тишина, но особенная — тишина глухого полустанка ночью. Вдруг совсем рядом рывкнула гармонь, заторопилась с причетом и смолкла. Вадим насторожился: гармонь часто будила его, когда он жил в общежитии, и ужасно досаждала, но сейчас ему захотелось слушать.

Кто-то сказал, нажимая на «о»:

— Прощай, что ли, Мишка!

— Прощай.

— Трус ты, Мишка, не обижайся.

— Не обижаюсь.

— Еще бы! Значит, не свидимся больше?

— Кто знает... Гора ведь с горой не сходится...

— Все-таки люблю я тебя, Мишка! И обидно мне. Может, останешься, хорошо заживем? Ну, ладно. Сыграть напоследок душевное что-нибудь, а?

— Сыграй, что ж...

Гармонь набрала дыхания и чисто вывела первые аккорды песни. Вадим прильнул лбом к стеклу и ничего не увидел.

...На улицах Москвы  
Вечерняя толпа,  
По шумным мостовым  
Гуляет листопад...

— Так прощай, Мишка!

Неизвестного Мишку провожала милая в своей печали песня, и Вадим подпевал про себя!

В сиреновом дыму  
Бульвары хороши,  
Осенний листопад  
Москву запорошил...

Вадим сидел возле столика несколько часов. Мелькали поселки, тянулись города. Этот уголок земли был заселен густо — шахтерский край. Он думал о Мишке,

который струсил чего-то — жизни, наверно. Думал о многих вещах вроде бы со стороны: ведь человек в пути на какое-то короткое время теряет корни в прошлом и становится трезвым наблюдателем, свидетелем. Вадим подводил итог. Неутешительный был итог: за полгода, он признался себе честно, не сделано ничего существенного. Решительно ничего существенного. Он было приуныл, но опять вспомнил о встрече, которая предстоит, и к сердцу подкатила теплая волна. Теперь сама мысль о том, что где-то совсем близко живет ОНА, всегда придавала сил, и самое трудное представлялось не таким уж трудным. Думал о ней часто и в самых неподходящих ситуациях — вдруг светлел лицом посередине нудного разговора, удивляя людей, или останавливался на дороге с таким видом, будто что-то потерял. В президиуме сидел с отрешенным выражением и без причины улыбался.

Перед поездкой долго третировал Виктора Бродского — требовал, чтобы тот срочно отпечатал карточки, которые просила Виктория Матвеевна, «товарищ из музея». Стыдясь, содрал на промбазе фанерный щиток с надписью «группа вспомогательных цехов», заставил машинистку снимать копии с новых, особенно интересных писем и документов.

Никто, кроме Виктора Бродского, не догадывался об истинной причине такого внимания комсорга к просьбам областного музея. Виктор же красноречиво вздыхал: «И ты, Брут!», но вслух говорил только:

— Все ясно.

— Чего тебе ясно? — подозрительно спрашивал Вадим.

— Все.

— Что именно?

— Что музею надо помочь. — Бродский смотрел на Вадима совершенно невинными глазами.

— Вот именно. — Вадима не обманывали эти невин-



ные глаза, он не переставал подозревать, что этот интеллигент замечает больше других. И выводы умеет делать — у него врожденная страсть к анализу. Ну, да бог с ним. Правда, скрывать пока нечего. И нужно ли скрывать?

Репродуктор в вагоне захрустел и грянул вальсом. Вадим проснулся.

Было еще сумеречно. На голубоватом снегу за окном лежала островерхая тень елей, насаженных вдоль полотна; с одинаковым интервалом пробегали телеграфные столбы. Восток занимался жаром.

У музея по-прежнему стояли пушки от царя Гороха, покрытые изморозью, только цепь на литых стойках между ними была теперь покрашена под бронзу. Перед крыльцом лениво плескались голуби.

Вадим посидел на перильцах, оттягивая минуту встречи, и взялся за ручку двери.

Все было, как и в прошлый раз: встретила его уборщица с мокрой тряпкой, а потом где-то в глубине коридора позади застучали ЕЕ шаги.

Какая она теперь?

На ней была темно-синяя шерстяная кофта и белая шапка заячьего пуха, которую она, наверно, забыла снять; клетчатая юбка облегала бедра.

Она близоруко сощурилась и сперва не узнала его, потом вскинула ресницы, остановилась, и он увидел на ее лице отражение своей вымученной улыбки.

Она шагнула к нему, издали протянула сложенные вместе пальцы, словно щепоть соли высыпала ему в горячую ладонь, и сказала:

— Так это неожиданно!

Она провела его в крошечный кабинет, уставленный шкафами, и велела стать близко к свету, осмотрела

его придиричиво, будто старалась запомнить на всю жизнь, и сказала опять, уже с грустинкой:

— Подурнел, комсорг. Мало спите?

— Я же с дороги — надо понимать.

— Или заботы сушат?

— Это есть.

— Умывались?

— Не успел, признаться.

— Тогда раздевайтесь.— Она потянула его в закуток с узкой белой дверью.— Здесь умывальник. Полотенце там есть, чистое. И мыло есть. Действуйте, я отлучусь на минутку.

Вадим умылся, огладил ладонями волосы на висках, подтянул галстук. Он на самом деле сдал за последнее время — его глаза были в синих обводьях, веки припухли и отяжелели, воротник новой сорочки, белой в черную полоску, был велик и некрасиво сбивался в сторону, пиджак отвис на плечах, словно чужой.

Потом он сидел на жестком диванчике, ждал ее и рассматривал комнату.

Прямо было единственное окно, выложенное сверху цветным стеклом, через которое, как небрежные мазки акварелью, стекали на пол тени. Он подумал, что день будет ясный и морозный.

На шкафу справа стояло облезлое чучело совы. На месте глаз, обычно зловеще-зеленых, у совы остались только полотняные кружочки. От этого птица выглядела почему-то обиженной, она будто спрашивала: за что же вы это меня, граждане?! Вадим неожиданно засмеялся. Вика споткнулась о порожек, тоже засмеялась и спросила:

— Чему вы?

— А вы чему?

— На вас глядя.

— А я просто так. Или нельзя в этом учреждении просто так?

— Можно. Почему же. Я разрешаю.

— Спасибо.

— Вы надолго к нам?

Точно такой же вопрос и он задавал ей совсем недавно. Он не уловил в ее вопросе живой заинтересованности, и это обидело его.

— Вечером обратно. Я на пленум, в одиннадцать начинается.

Она медленно сняла очки, села рядом, коснувшись его плеча, и тут же отодвинулась.

— Как жизнь, Вадим Григорьевич?

Он хотел ответить шуткой, но понял, что сейчас шутка будет не к месту: она спрашивала теперь уже не ради пустой вежливости. Между ними за время коротких встреч уже возникало что-то похожее на душевную близость, при которой надо говорить все или ничего.

Он ответил:

— Не знаю...

Она держала дужку очков между пальцами и молчала — она была уверена, что он не станет молчать.

И Вадим вдруг заговорил, торопливо, боясь остановиться. Он отчего-то сразу вспомнил ночь в вагоне, неизвестного Мишку, гармонь в ночи... Где-то совсем рядом была значительная мысль, и она родилась именно там, на полустанке, ночью. Да! Так вот он впервые, пожалуй, во всю свою неотвратную явь осознал, что и его как-нибудь однажды могут проводить тишком. Не упрекнул вслух, но проводят без сожаления. Это обыкновенно и страшно.

Он устает от повседневности, он знает теперь, что такая усталость — начало равнодушия. Оно появляется еще, наверно, от сознания, что какая-то высшая и единственная цель — недостижима.

— Вот и все, — сказал он и потер глаза кулаком, как обиженный ребенок.

— Нет, не все,— тихо ответила она,— не все ведь?

Он улыбнулся долгой улыбкой и облегченно вздохнул. Она тоже улыбнулась, и оба почувствовали, что льдинка, которая лежала между ними, вдруг растаяла без следа.

— Не все ведь, правда? — повторила она.

— Все — это слишком много.

— Время у нас есть... Трудно вам, да? Трудно ведь? Не то слово.

Он не расстается с навязчивой мыслью, что многие просто не умеют оценить его поступки. Не понимают или, если уж совсем точно, не пытаются понять. Люди слишком заняты, чтобы глубоко думать и быть терпимыми. Вадим заметил эту печальную особенность нашего времени, как ни странно, на курорте у моря.

Отдыхающие ходили в пижамах с махровыми полотенцами, грелись на пляжах и все-таки им было всегда некогда — они торопились на процедуры, толкались в очередях за дорогими фруктами, звонили по телефону в далекие города, уматывались на экскурсиях, покупали ненужные вещи. И здесь было в ходу слово «некогда», оно было и здесь обыкновенно. И никто, кажется, не замечал ласковой и нескончаемой красоты вокруг.

— Мы — дети века и гордимся своей занятостью, но ведь недостатки — «суть продолжение наших достоинств». Понятно? Вы слушаете?

— Я слушаю, мне непонятно,— Вика погладила колени ладонями и не повернулась к нему.

— Мы теряем чувство новизны, мы заняты, но слишком заняты. Так жить не надо.

— Ну, а дальше?

— Хватит, не то вы начнете меня жалеть, а я тоже до таких простых вещей додумался недавно, слишком поздно, времени сколько потеряно!

— Все-таки трудно вам? — она близко, очень близко заглянула в лицо ему своими размытыми, как у всех

близоруких, синими глазами, и снова он уловил теплый запах ее волос. Сердце его толкнулось.

— Оригиналом считают, пижоном московским. Ребята-то, кажется, ничего ко мне, а вот другие некоторые... Те — сердятся; раздражаю я их.

— Бессонов ваш, он — хороший?

— Затрудняюсь сказать. Пока затрудняюсь. Я вам привез кое-что, — Вадим передал ей дощечку и пакет с фотографиями.

Она не обрадовалась подарку — сидела с низко опущенной головой, терла ладонями колени, будто ушиблась, потом резко выпрямилась. Лицо ее горело, даже шея выцвела пятнами.

— Вас жалеть нельзя — нет смысла! — вдруг строго сказала она, — не люблю жалеть, я вас лучше поцелую! — и потянулась к нему, неумело припала губами к его щеке, отпрянула и пошла к двери.

— Вика!

Она остановилась, держась за косяк, — напряженная, убитая своим порывом. Она, кажется, готова была заплакать.

— Уходите, — попросила она шепотом. — Ну, пожалуйста!

— Провожать придете?

— Нет!

### 3

После пленума секретарь обкома комсомола удерживал Вадима хоть бы до завтра по разным мелким делам, но наткнулся на твердый отказ и не стал настаивать, согласившись, что на стройке есть дела поважнее.

В попутчицы Вадиму навязалась инструктор школьного отдела — бойкая, очень миловидная девчонка, забывшая повзрослеть. Она, не выходя из обкома, доставала билеты; поезд уходил ночью, около двенадцати, поэтому они поужинали в ресторане и прикатали на такси

за пять минут до отправления. Показали проводнику билеты и остались на перроне — подышать.

Пассажиры уgomонились, на вокзале было уже спокойно, пусто. Только вдоль вагонов бежала женщина, вглядывалась в редких прохожих и, спотыкаясь, торопилась дальше.

— Кого-то ищет...

Дали отправление, Вадим посадил Клыкову и взялся уже за холодные поручни!

— Вадим! Вадька!

Поезд набирал ход, и Вика едва поспевала за ним, из последних сил. Платок у нее сбился назад, волосы ее, успел заметить, запорошились снегом. Успел подумать: она давно здесь мечется. Вика не успела поцеловать его, только безнадежно махнула рукой вслед.

Он, перегнувшись через проводника, смотрел и смотрел.

Вика, неподвижная, стояла под фонарем лицом к нему.

## Глава XII

### 1

В тринадцатую комнату набилось человек десять — крановщики, слесари, бульдозеристы. Из каменщиков было только двое — Петро Быков да Михаил Глушко. Отмечали получку.

Выпили и, тесно сгрудившись у стола, начали с азартом играть в дурака «на вышибон»: кто три раза сряду останется, тому мотаться в совхоз за добавкой — на площадке водку не продавали, а спиртного, как всегда, не хватило. Михаил Глушко поднял к свету бутылку и, сощурившись, разлил по стаканам «остатнее».

Валька Храмов опьянел быстро — сказались, видно,

передряги последних недель — и оседлал любимого конька: была у него в леспромхозе девка — сто сот стоит, не чета здешним. Отец за ней отдавал пятистенный дом, корову (первотелок, между прочим!), мотоцикл, ну и другую всякую мелочь. Да Храмова этим не соблазнишь, не купишь. Что здесь? Здесь обыкновенно. Вот у нас в леспромхозе, там — да: тайга такая, что аж смелому страшно, и тайменей в Каменке на мышей ловят — во! (вытянул руки на полный размах) и лоси ходят — во! (встал со стула, чтобы показать, какие ходят там лоси). Его, однако, никто не слушал. Это обижало.

Открыли форточку. Со двора задувало снегом, из комнаты толчками тянулся табачный дым.

Ребята наконец допили водку и повернулись к Вальке.

Петро Быков подмигнул и дурашливо распахнул рот, измазанный селедочным жиром. Никто на всей стройке, пожалуй, не умел глумиться над человеческими слабостями с такой изобретательностью, как он.

— Что же ты, — спросил Петро, — смылся оттудова?

— Скучно, — ответил Валька, — небо да тайга. На любителя.

— Охотой не баловался?

— Какой я охотник! Хариусов ловил, раз целый рюкзак принес. Богатая рыба. Вкусная.

На краешек тумбочки, не сговариваясь, сложили кучу денег — по трешке с брата. Деньги сгреб, не расправляя, утрамбовал во внутренний карман пальто кудлатый слесарь с базы механизации. Его пожалели и утешили:

— Ничего, сердечный, зато в любви повезет, если в карты не планида. Парень ты вполне даже красивый, только причешишь, пожалуйста.

Когда гонец, удрученный неудачей, тихонько, таясь комендантши, прикрыл дверь, Петро снова подступил к Вальке.

— Летун ты, выходит? Нас, значит, обглядишь и по-

сошок в руки: до свиданья, дорогие, вы работайте, а я пошел... И лосей тут нет опять...

— Может, и так,— сказал Валька, раскачиваясь на скрипучем табурете.— Кто мне запретит? — Он рад был случаю поиграть у Петра на нервах.— Я казак вольный...

— Все мы тут вольные,— добродушно ответил Петро, делая вид, что сдал позиции и крыть ему нечем.— Ты там много охотников знал, в леспромхозе?

— Да всех, наверно, а что?

— У меня в леспромхозе... Как он называется? Осинковский. Точно. Приятель живет, Сарапульцев Георгий Прохорович. Маленький такой, с бородкой.

— Ну?

Петро повернулся к ребятам: мол, не зевайте.

— От у него кобель, хлопцы, любого зверя берет. За него тысячи предлагали, так не отдал, куда там: для хорошего добытчика собака, считай, полжизни. Да.

Валька пьяно кивал, польщенный тем, что Петро признал его за равного, и готов был поддакивать сколько угодно. Никакого Сарапульцева в леспромхозе век не числилось, конечно, но раз хочется человеку побазарить — пусть себе на здоровье, Валька не выдаст.

Ребята потрезвей сразу догадались, что каменщик гнет на коварную шутку, и затаились.

— Да,— продолжал Петро невозмутимо.— И возьми кобель да ослепни. Сарапульцев — старик дошлый, не растерялся: купил породистого щенка, привязал кобелю на спину, ружьишко на плечи и айда на охоту как ни в чем не бывало... Народ дивится: с ума спятил старый хрен, глядите! А старик, значит, свое на уме держит: щенок, дескать, пусть смотрит, а кобель нюхает.

— Синхронно, да?

— На одной фазе?

— Ну да, артельно. И три года так ходит, только



щенок теперь взрослый и кобеля на себе таскает. Верно говорю, эй, крановщик?

Валька благоразумно поддакнул: точно, мол, было такое дело. До него плохо доходил смысл Петькиного рассказа, и он воспрянул, когда от дружного хохота в комнате закачался дым. Михаил Глушко, вообще очень смешливый парень, ухал громче всех и не успевал смахивать слезы с румяных щек.

Валька закусил губу и качнулся от обиды: купили!

В этот момент заглянул в комнату Клавка Рыжий с единственной целью отвести товарищей от беды.

— Тише вы! Комендантша внизу, а вы ржете — спасу нет, на улице слышно.

Ему не вняли, поскольку веселье было в самом разгаре, ему бурно обрадовались.

— Да заходи, дорогой, послушай! Чудеса в решете.

Клавку взялись церемонно усаживать на кровать. Он попытался улизнуть и заявил, что до водки не охотник и работать идет во вторую смену, да еще статью достал про морских чудовищ, прочитать хочется.

— Вы же такими вещами не интересуетесь, — взмолился Клавка. — Отпустите!

— Интересуемся!

— У меня целый ящик книг под кроватью стоит, из Москвы привез — фантастика, приключения, гипотезы. Никто не берет. Вам, слонам, лишь бы напиться.

— Брось. Про морских чудовищ хотим знать. И вообще. Читай, не отпустим.

Про Вальку забыли. Он же хотел обратить на себя внимание: не терпел, когда его обижали безнаказанно. Встал, качаясь, и громко, с вызовом, спросил:

— Мне уйти? Слышите, мне уйти отсюда?

На него удивленно посмотрели: чего это он?

— Дело твое, — сказал Михаил Глушко. — Сбрасывался, так жди. И не мешай!

Клавка, закинув ногу на ногу, уже читал сложенные пополам листки, выданные из журнала.

...«Шхуна «Перл» водоизмещением сто пятьдесят тонн попала в штиль... Внезапно над морем в полумиле справа от нее поднялась какая-то огромная коричневая масса. Команда была уверена, что это не кит и не водоросли. Вооружившись винтовкой, капитан выстрелил наугад в массу. Она немедленно пришла в движение. Существо было настолько громадным, что легко опрокинуло шхуну!»

— Ты смотри! — загалдели ребята. — Читай дальше!

— Статья большая, — сказал Рыжий, напыжившись от гордости. — Один ученый пишет, Френк Рассел. Перевод с английского. Это что. Вот про кракенов у меня статья есть, волосы дыбом встают.

— Кракен?

— Ну, большой осьминог. Длина туловища у них сорока метров достигает. Щупальца в два раза длиннее тела, вот и прикинь. Присоски с большую тарелку. Цоп кита и поволок! Корабли топят. Небольшие, конечно.

— Врешь ты, Рыжий, — угрюмо вставил Валька. — Заткнулся бы.

— Вот дурак! — возмутился Клавка. — Напился и несешь что попало!

— Я несую?! — Валька задышал часто, сквозь стиснутые зубы, и шагнул к кровати ударить Рыжего. Тот не успел загородиться.

Трезвея, Валька увидел совсем рядом багровое лицо Михаила Глушко. Он медленно поднимал кулак.

## 2

Уже сумеречно.

Потолок стригут фары машин, и город на том, левом, берегу посеял первые огни.

...Валька целый день провалялся на кровати и даже

в столовую не ходил — знал, что не полезет кусок в горло. Свет, когда был один, не включал, боялся увидеть в зеркале напротив изуродованное лицо, боялся, что на улице начнут приставать с расспросами. Сделанного не вернешь, и лучше уж совсем не вспоминать о вчерашнем.

Маячит перед глазами литая спина Глеба Трошина, обтянутая новенькой тельняшкой. Вальке совсем вроде нехвата становится еще тоскливее. Этому, думает он, жизнь — удовольствие, этому всегда одинаково, напевает себе «Во поле березонька стояла» — и дело в шляпе! Вот он наверняка не попадет в глупую историю по пьянке.

Глеб обернулся, посмотрел на Вальку с брезгливой иронией и действительно запел: «Во поле березонька стояла». Сказал без злобы:

— Валенки хоть бы снял, вчера только простыни сменили. — И зашевелил лопатками. Что он там делает? Гладит. Сколько можно гладить? Прихорашивается, как невеста.

Под тельняшкой шевелятся и шевелятся лопатки.

«Крепкий малый, — прикидывает крановщик. — На этом далеко не прокатишься, где сядешь, там и слезешь».

Спина чужая, равнодушная.

— В каких морях плавал? — ехидно спросил Валька. — На арбузной корке плавал и весь зад в ракушках.

— Тельняшка — удобная вещь, теплая. В морях не плавал, где мне.

— У нас в порту, — подзуживал Валька, — тоже один в тельняшке выпендривался перед девками, а сам штаны замочить боялся — припадошный от рождения. Столкнули его морячки с причала для интереса, так скорую помощь вызывать пришлось...

«Во поле березонька стояла, во поле кудрявая стояла...»

«Вот сволочь!» — Храмов покряхтел, стаскивая чугунные от сырости валенки, выругался, заполз под одеяло и снова затих с невеселыми мыслями: что делать? Судить ведь могут, чем черт не шутит!

...Наталья Голубь протиснулась в дверь бочком, словно шире открыть ее не хватило сил.

— Извините, ради бога. У вас спят, кажется?

— Ничего, землячка, проходи.— Глеб накинул пиджак и привалился к косяку плечом.— Присаживайся.

Наталья села, сложила на коленях обветренные детские кулачки.

Валька завернулся в одеяло и исподтишка наблюдал. Всякий раз при встрече с ней у него екало сердце, а неделю назад, когда устроили коллективный поход в городской кинотеатр, их места были рядом, и они договорились на субботу снова ехать в город. Только он хотел не коллективно, а вдвоем. Об этом они договориться не успели.

Она была одета в черный свитер, вельветовые рабочие брюки, на ней был шерстяной платок.

— Я, Глебка, на минутку.— Она стянула платок и бросила его на спинку стула. Ее волосы ковыльного цвета были стянуты на затылке в тугий узел, и поэтому, наверно, маленькую голову свою она всегда держала высоко, прямо и казалась слишком гордой. На ее длинных ресницах звездочками растаял снег.

Валька вспотел, у него занемела нога, но он не смел шевельнуться и делал вид, что спит.

Разговор пошел обычный — как дела да как живем.

Хвастаться Наталье было нечем. Правда, в бригаде сейчас дела неплохие, но фронт работ уже кончается. Наумов обещал фронт дать, только где его возьмешь? Но духом они не падают.

Глеб откинул угол матраца, сел на кровать и привычно одернул на коленях глаженные брюки.

— Хоть думкой богаты, и то ладно.

— Они не лаптем битые! — не стерпел Валька.

Трошин посмотрел на него, точно на брехливую дворнягу, от которой ни вреда, ни пользы, только лает.

— Ты уж помалкивай!

— Чего? — Валька со злости запутался в одеяле.—

**Повтори!**

— Нет у меня охоты повторять.

Наталья прижала руки к груди и встала между ними.

— Не драться, слышите! В крайнем случае, при мне. Этого еще не хватало.

Да они и не собирались драться. Вальке-то было не до того.

— Глебка, я к тебе, собственно... Роза Баклан заболела. Тяжело, ты знаешь. Неотложка в город отвезла. Вчера мы были у нее. Ничего не просит, но она фрукты и конфеты «Мишка на севере» любит. Ребята собираются ночью на станции московский поезд поймать — в вагоне-ресторане фрукты есть... Десять рублей до полочки... Ни у кого нет денег, у тебя ведь есть деньги, ты же перевод получил.— Наталья попробовала улыбнуться, но у нее вздрагивал подбородок.— Одолжи, пожалуйста. До полочки. Это для Розы сюрприз будет, правда?

Глеб кинул папиросу в ведро.

— Ни гроша не осталось, землячка, честное слово. Были утром, так долги раздал. С удовольствием бы, конечно...

А деньги у него были — это Валька точно знал. Чего это он?

Наталья попятилась к двери.

— Ты тоже извини... Думали, к кому обратиться? К чужим неудобно, у наших нет... Извини, пожалуйста.

Валька мигом, опасаясь, что она уйдет, свесился с кровати и вынул из тумбочки стопку рублей.

— Возьми. Тут больше десятки. Вчера полочка была.

Наталья загордилась от него рукой.  
— Как же это? Ты же чужой.  
— Почему чужой? Все здесь свои. Держи!

### Глава XIII

#### 1

Новый год пришел незаметно.

На бал в городском театре дали всего десятка два билетов.

Глеб Трошин достал два билета, почему-то пригласил с собой Вальку Храмова, и тридцать первого вечером они укатили в город.

В театре было жарко, и Валька сбегал на улицу освежиться. Вернулся он зарумяненный и оживленный. Стремглав пробежал по широким ступенькам на балкон, к Наталье Голубь — он торопился показать ей снежинки, которые не растаяли на рукаве пиджака.

Наталья наклонилась совсем близко к нему, так близко, что он услышал запах ее волос, и притронулась к пиджаку пальцем. На черной материи затрепетали, дрогнули капельки воды.

Она вздохнула и ничего не сказала, отвернулась. По-прежнему искала кого-то глазами внизу. Валька ревновал и томился.

В зале за столиками, расставленными вдоль стен, уже расселась чинная публика. Из вестибюля толпа выжимала парочки. Парочки на ходу прихорашивались и начинали стеснительно шаркать по паркету.

Валька налег на перила локтем рядом с Натальей.

— За наш столик сядешь?

Она пожала плечами: не знаю еще...

Стрелка на больших электрических часах у самого

потолка дрогнула, как всегда, неожиданно, если даже за ней следить. Без четверти двенадцать.

— Ты быстрее думай. Я вон с дядькой договорился, согласен поменяться, он один.

— Время есть еще...

В длинном коридоре между столиками было суетно и тесно. Мимо танцующих с акробатической ловкостью сновали официанты в белых курточках и несли на лицах скучное выражение.

Разноголосый гомон, настоянный хвоей воздух, пестрый дождь серпантина, звон стеклянных игрушек на елке, старое танго — все это катилось навстречу волной, пело...

Наташа была сегодня не похожа на себя — не та, что всегда.

В фуфайке, лыжных брюках, шерстяном платке, повязанном по-сибирски, она казалась близкой, обыкновенной, своей. Только взглядом умела поставить на место, если ребята, зарвавшись, иной раз бывали грубы.

А сегодня она вроде чужая. И это пугало Вальку: к такой, он чувствовал, не «подъедешь» запросто. И другое пугало: она ждала кого-то — все смотрела в зал и часто переступала тонкими каблуками узконосых туфель. Иногда бездумно скользила огромными глазами по огорченному Валькиному лицу и не замечала, как парень переживал и, насупившись, тянул из обивки стула залежалую вату.

Без пяти двенадцать.

— Ну? — в последний раз и с последней надеждой спросил Валька. — Ну как?

— Нет.

Наталья заторопилась — легкая, ладная и... совсем чужая. На ней была кофта и темная узкая юбка с разрезом. Узел золотистых волос на затылке был, наверно, тяжел, и поэтому она держала голову неестественно высоко, словно бросала вызов всякому, кто попа-

дался на пути: не видел таких — так смотри, любуйся.

В ее глазах сегодня стояла, однако, тревога и детское недоумение. Она обернулась напоследок и едва заметно кивнула: свидимся еще.

Валька перестал щипать вату и прошел к столу. Он попал, наверно, в скучную компанию: напротив сидел дядька средних лет, по виду бухгалтер — с небольшими усиками и аккуратным пробором в седеющих волосах, слева сидели две румяные девицы, ничего себе. Девицы, как по команде, подносили к спелым губам платочки и хихикали. Справа было место Глеба Трошина, но стул пустовал: Глеб сумел, как всегда, пристроиться получше, где-то внизу.

Валька подцепил вилкой ломтик лимона, пожевал и сморщился. Сосед по-свойски подмигнул ему и улыбнулся: ничего, мол, бывает... Погас свет, зажглась елка. В разноцветном полумраке еще пуще, кажется, запахло хвоей. Грянул гимн. Запели фужеры с вином.

Удивительно, сколько самого разного может передумать человек только за одну минуту, когда с тугим гулом бьет в виски кровь и начинает негаданно волновать забытое и нисколько не трогает пережитое вчера.

Валька вспомнил дом и море. Вальке сделалось вдруг очень нехорошо.

Вспыхнули люстры.

Сосед протянул Вальке рюмку водки: бог не выдаст, свинья не съест.

— Держи, хлопец. Девушки!

Выпили. Взяли по ломтю запотелого сыра, твердого, как береста. Пожевали. Всем было скучно.

Валька опять сбежал вниз и кое-как упросил швейцара открыть наружную дверь: «Подышать охота, папаша!»

Ночь стояла теплая. Под фонарями чуть заметно мельтешил редкий снег. В черном безбрежье стыла луна, светлая, как новый полтинник. Ветерок приятно ше-



велил волосы. Валька, сгорбившись, потоптался у подъезда и юркнул обратно, потому что швейцар грозился закрыть дверь.

Наталью он искал долго и нашел в темном закутке под балконом. Она спряталась за грудой ломаной мебели и плакала навзрыд. Вальку бросило в жар. Он в карманах сжал кулаки и собрался было спросить, в чем дело, но остановился и точно прикипел к полу: рядом с Натальей, почти отгороженной мебелью, стоял, закинув руки за спину, парень в клетчатом пиджаке, раскачивался на носках, говорил ей что-то монотонно и тихо.

Приглядевшись, Валька узнал парня: это был Олег Хвалынский, который сперва, очень недолго, работал мастером на их участке, после его перевели в техотдел управления. Он год назад окончил строительный институт в Москве и считался подающим надежды. Мастер щеголял в белой ворсистой кепке, и многие девчонки вздыхали по нем: симпатичный мужчина и нисколько не задается своим высшим образованием.

Валька не смел подойти к ним, потому что боялся рассердить Наталью, которая, кажется, просила Хвалынского о чем-то важном, и в свидетелях они не нуждались. Вот она просто, без стеснения положила мастеру руку на плечо и легонько прикоснулась к лацкану его пиджака.

Хвалынский все покачивался с носков на пятки. Наталья кивала ему и все ниже опускала голову. И не надо было слышать Вальке Храмову, о чем они говорят!

— Пойми, Наталья, у меня же семья. Ты мне тоже нравишься, но что из этого получится? Тебе жизнь испорчу, детям, себе... Ну, не плачь, девочка! Я не виноват, ты не виновата, никто не виноват, понимаешь... Потерпи до весны — весной я уеду. На север. И все забудется, ну? Не мучайся и писем мне не пиши, я ведь тоже не каменный! Договорились? До весны. Раньше вот мы

не встретились с тобой, а теперь поздно... Поздно...  
Будь умницей, возьми себя в руки, ну?

— Хорошо, Олег...

— Пойду я, Наталья...

— Иди...

— Будь умницей. Прощай.

Валька ринулся к ней.

— Обидел?!

Она вздохнула сквозь слезы и покачала головой: никто не обидел.

— Зачем тогда плакать, вот интересно! — он робко погладил ее мокрую щеку шершавой ладонью. — Не плачь, пожалуйста, слышишь!

Наталья, выпятив губы, сдула со лба прядь волос и спросила, все еще всхлипывая:

— Ты снова на улице был? Снежинок не принес?

— Растаяли... Хочешь, принесу?

На балконе во всю мощь пустили радиолу.

Наталья сердито толкнула Вальку.

— Отвернись, в порядок себя приведу. Сам ведь не догадаешься отвернуться.

Она держала во рту шпильки и оттого шепелявила:

— Слышишь, Храмов? Только не оборачивайся, ради бога! Слышишь? Я читала где-то, что один французский ученый всю жизнь фотографировал снежинки и, представь, не нашел двух одинаковых.

— Так уж всю жизнь профессор фотографировал? Больше ничем и не занимался? Кто же ему тогда наряды закрывал? — Валька обернулся.

Наталья ойкнула и одернула юбку (она возилась с застегками на чулках). Он застеснялся и вжал голову.

— Я же не велела сюда смотреть! Какой ты! Стой и не шевелись.

Валька ужасно заробел. Для нее он готов простоять по стойке смирно сколько угодно. Наталья тоже смутилась и зачастила сбивчиво, чтобы скрыть неловкость.

— С тобой серьезно ни о чем говорить нельзя: ты — как Петро Быков. Я, между прочим, готова, можешь обернуться.

— Ты кого сегодня ждала?

— Это уж не твое дело!

— Конечно.

— Ты танцуешь?

— Немного.

— Это интересно. Ну, пойдём, попробуем...

На лестнице их перехватил Глеб Трошин. Он был сдержан и вежлив больше обычного. Пощелкал пальцами, подмигнул Наталье и потянул Вальку за рукав: прости, можно на минутку?

— Ты почему ее даже с Новым годом не поздравил?

— Чудак, наши же столики рядом. — Трошин театрально развел руками. — Пардон, даже в щечку поцеловал. Грустно землячке сегодня, вечер не в радость. Через часик примерно с нами не пойдешь? Девчонки приглашают, шик девчонки, без предрассудков. Квартира есть. Их три, нас двое. Не возьмешь одну на себя?

Валька замялся.

— Завтра на работу с утра...

— Э, да ты не выворачивайся. Догадываюсь, конечно. И по-приятельски предупреждаю: номер не пройдет: у Наташки любовь, да еще трагическая. Не передумал?

— Нет.

— Хозяин-барин. Пожалеешь.

Валька с Натальей успели на последний автобус.

На поворотах Валька пружинил тело, но его все равно прижимало к ней. Он боялся, что она услышит стук его сердца. Но она ничего не слышала, не замечала, пусто смотрела перед собой и даже платок не поправила, который гармошкой сбился на затылке.

Вальку переполнила вдруг жалость к ней. Ему захотелось сию же минуту, не дожидаясь лучшего часа, ис-

поведаться, потому что ближе, чем сейчас, они не были никогда.

— Наташка! — зашептал он ей в самое ухо. — Ты на меня не в обиде?

Она вздрогнула и с досадой повернулась к нему.

— Не обижаешься на меня, говорю?

— Почему обижаюсь?

— Славу вот пустили по стройке: Храмов, мол, хулиган и всякое такое...

— Разве нет оснований?

— Есть, может, основания, так ведь по одному или там по двум случаям судить нельзя. — Он так тряхнул головой, что шапка съехала на глаза. — Нельзя судить!

— И по одному судить можно.

— Бывает, конечно... Ты извини, ладно...

— Пожалуйста, если тебе так необходимо.

— Ты прости.

— Пожалуйста. — Она равнодушно пожала плечами.

Автобус полз в гору. Фары выхватили из темноты щербатый кусок стены, сложенной из бута (проезжали мимо старинной крепости), полуразрушенную арку из кирпича и столбики вдоль дороги, похожие на свечки. За обочиной была пустота и темное небо. Высоко зябли звезды.

Валька расстроился: разговора, какого он хотел, не получилось.

Потом до самой стройки молчали.

## Глава XIV

### 1

Комитет комсомола стройки собрался вскоре после Нового года.

Храмова (называли только по фамилии) сперва за-

ставили доложить по всей форме, как было дело.

Валька встал и, поглаживая вздрагивающей рукой угол стола, косноязыко начал объяснять: выпил на голодный желудок и опьянел, дальше ничего не помнит; другие, которые потрезвей были, те, конечно, скажут... Виноват, конечно, куда денешься... И перед Клавкой Рыжим он извинится — ни за что стукнул, по дурости, можно сказать...

— Там, небось, смелым был, — жалостливо вздохнула Наталья Голубь и подперла ладошкой щеку, — а здесь вот, перед товарищами, и двух слов связать не можешь. И не стыдно?

Стыдно, чего там! И при чем здесь смелость или трусость? Что он должен теперь, кулаками стучать и оправдываться, да? Или наплевать и уйти, да?

Валька, понурясь, сопел, и толку от него не добились. Попросили «соучастника» — Петра Быкова, старшего из компании и, наверно, самого серьезного, рассказать по порядку. Тот вскочил, привычно кинул через плечо конец длинного шарфа. Брови его прыгали, а в узких глазах появилась лукавинка. Он выдержал паузу, откашлялся, расстегнул свой солдатский бушлат.

Комитетчики надеялись услышать речь зрелого мужа. Быков же был в великолепном настроении и начал базарной скороговоркой:

— Так вот, товарищи. У нас в деревне счетовод тоже на пасху подпил.

Катков уставился на него испуганно и постучал линейкой о письменный прибор:

— Серьезней!

— Слово сказать не дадут! — искренне обиделся Петро и вскинул плечи. — Я и помолчать могу, я ведь не комсомолец.

— Продолжай, да не ломайся, как дешевый пряник! Серьезней!

- Серьезней не могу!
- Тогда ступай себе. Ты не пьяный?
- Есть малость.
- Ну, и ступай.
- Ну, и поступаю, я негордый совсем.

— Время терять не будем, — сказал Катков. — И другие вопросы есть. Первый вопрос — о Храмове, — он пальцем провел по лбу, хмурясь, немного подумал, чуть наклонившись над столом. — Не стоит, по-моему, касаться подробностей, все ясно и так. Напился Храмов тогда безобразно, что уже само по себе плохо. Ударил Клавдия, да так, представьте, что того с рассеченной бровью увезла «скорая». Я с такими героями, извините, много раз имел дело. Смотришь, парень вроде как парень — душа тебе нараспашку — всем люб поначалу, но вот с изъяном — хулиган. Его спасти берутся, к нему подход ищут, носятся с ним, как с писаной торбой, а он садится опекунам на шею и ногами еще побалтывает: воспитывайте меня, я — трудный! И это у нас странным не считается, больше того, мы иной раз такого по плечу стукаем, подбадриваем: не вешай носа, коллектив с тобой, не пропадешь. Почему, собственно? Я вот какую особенность заметил. Хорошему, правильному человеку мы самые скучные характеристики пишем: исполнитель на работе, скромен в быту, политически выдержан и так далее. Чего о нем еще напишут? Ведь он никого не беспокоит, никому на шею не садится! А вот такой время отнимает и постоянно требует внимания. Мы его на поруки берем, аттестации выдаем самые яркие — имел серьезные проступки, но исправился и даже в комсомол вступил. Есть надежда, что исправится. Нет, судить их следует, сразу за шиворот брать, чтобы по ниточке ходили да оглядывались.

— Я со стройки уйти могу, что со мной нянчиться, — уныло, но не без кокетства вставил Валька.

Вадим напряжился:

— Ну и катись к чертовой матери на все четыре стороны, золото самоварное! Я за него просил, унижался, а он еще куражиться изволит. Много чести. Короче, я за строгий выговор. И предупредить, что за первый же проступок выгоним с площадки.

— Я и так уйду,— повторил Валька.

— Кто имеет возражения?

Возражения имела Наталья Голубь.

— За один, пусть даже серьезный, проступок не следует так строго наказывать, надо дать возможность исправиться. Разве он совсем бросовый парень?

Наталья говорила дальше:

— Мало его знаем, во-первых...

— Вполне достаточно, чтобы судить твердо — хорош или плох. И ты за него ручаешься? — спросил Глеб Трошин. — Я с ним в одной комнате живу, изучил.

«Этот чего лезет? — подумал Валька. — Приятель тоже!»

— В одной комнате живешь, мог бы и повлиять.

— Пробовал, да без толку.

«Влиял! Водку вместе пили...»

— ...И крановщик он, слышал, неважный, — добавил Глеб и пожал плечами: мне, дескать, все равно, как хотите, так и думайте, только я свое сказал.

— Что-то не пойму я тебя, Трошин? — спросил Вадим.

— И понимать нечего: я как член комитета обязан информировать.

Валька качнулся от обиды.

— Кто это плохой крановщик, а ну повтори! И вообще...

Валька пошел. Все увидели огромную светлую заплатку на его стеганых штанах, пришитую по-мужски неумело — суровой ниткой через край.

— Ты погоди, Храмов! — крикнул кто-то.

Но Валька ушел.

Он сбежал с крутой горки и свернул направо, к городу. Побрел вдоль путей. По обе стороны путей снег был закопчен и в заледенелых воронках валялись уголья, выпавшие из горячих топок паровоза. Рельсы тянулись к реке и пропадали за плотной завесью дыма. День был тусклый. Плоские тучи, точно нарезанные из листового железа, прижимали к земле гарь с того берега.

То и дело встречались самосвалы. Валька ступал на обочину и ждал. Самосвалы оставляли на дороге мокрые следы. В кузовах матово поблескивала галька. По обе стороны дороги топорщились кусты. Через пустошь размашисто прошагали мачты высоковольтной линии. На проводах топорщилось, зябло воронье.

Начало темнеть.

Вальке некуда и незачем торопиться.

Он обернулся назад. Поселка уже не видно. Пусто и скучно в стылой степи.

Куда ведешь, дорога?

Уже смеркалось, когда Валька миновал первый дом широкой и единственной улицы совхоза. На ограду с ухающим лаем кинулся здоровенный кобель и загремел цепью. Возле забора дремала корова. С ее заиндевевших губ висли стеклянные нитки слюны. На кривом столбе возле чайной качался фонарь. Где-то близко кашлял трактор. Пахло хлебным дымом печей, парным молоком и силосом.

Валька в раздумье остановился перед чайной: зайти — развить горе веревочкой? В кармане пятнадцать рублей. На билет не хватит. А куда билет брать? Домой?

Нет, вернуться домой — значит, окончательно утвердить отца в мысли, что он вырастил на горе людям перекати-поле, значит, отнять у старика последнюю надежду. Валька ярко представил, как отец крикнет, поцарапает ногтем лысину, посмотрит исподлобья и ска-



жет: «Вьешься, как змей на муравьище», — и замолчит на годы. Это он умеет!

Нет, только не домой!

Из распахнутой настень форточки чайной клубами валил пар, и вокруг лампочки на крыльце качался радужный ореол. Около никого не было. Пива, значит, не привозили...

На крыльцо вышли трое. Спустились по скрипучим ступенькам и закурили.

Валька хотел проскочить незаметно: узнают еще! Его не узнали, но в спину кто-то из троих успел бросить:

— Что, не климат здесь, эй!

Вальку будто стегнули кнутом. Он споткнулся и, не сознавая еще, что станет делать дальше, пошел к троице у крыльца.

— Слушайте...

Совхозные — все пожилые мужики в полушубках — ожидающе, но без любопытства смотрели на него.

— Прикурить найдется?

Один протянул зажженную папиросу. У Вальки подрагивала рука. Мужик совал ему папиросу в самый нос и громко сопел.

— Чего суешь так, глаз выткнешь! Пить надо меньше, на спички не осталось, есть спички? Вы думаете — неожиданно для себя спросил Валька, — я со стройки бегу, да?

— Нам что, — равнодушно ответил мужик в новой кожаной шапке, самый пожилой. — Нам хоть беги, хоть, значит, оставайся. И без тебя тут управятся.

— Если все так рассуждать станем, — назидательно сказал Валька, — то и не справятся.

— И это верно, может... Ты где робишь?

Но Валька их уже не слышал, у него сильно застучало сердце. Почему бы и не вернуться, на самом деле? Кто запретит? Некуда ему податься, и неохота уходить.

В поселке интересно. Там Наталья Голубь. «Не могу я отсюда уйти, товарищи!»

...В тот вечер Валька удивил Глеба Трошина: только заглянул в комнату, бросил рюкзак, нашарил в тумбочке половину затвердевшей сайки и был таков. Куда? За чем?

А крановщик торопился на работу с двенадцати. Делать, знал, нечего, но явиться все одно надо. Да ведь потом у механизаторов тариф — кран стоит, а деньги каплют. Как у солдата: служба идет, даже когда солдат спит и дом во сне видит.

...Под краном, прямо на путях, кто-то сидел, скорчившись, и курил в горсть.

В луче прожектора шустро прыгал снежок.

Куривший поднялся и ступил на свет. Это был Клавка Рыжий.

Вот уж кого не думал Валька встретить здесь!

Да и Клавка не захлебнулся от восторга — отвернулся и бросил папиросу. Окурок прынул красными искрами и покатился в темноту. Оба следили за неровной пляской огонька, пока он не погас. Рыжий присел на бетонную плиту. Валька примостился рядышком, постелив брезентовые рукавицы. Боялись касаться друг друга плечами.

Над горой Лысухой вытягивались в ниточку, рвались и таяли белые облака. В слепых окнах бежала зеленая луна.

Горизонт пунктиром прочертила звездочка, появилась, неведомо откуда, и неведомо, куда пропала.

— Ты почему здесь? — участливо поинтересовался Валька (надо же кому-то первому заговорить).

— Сменщик твой с сегодняшнего дня, так что заступай, я отработал.

— Почему сменщик?

— За драку, известно, — Рыжий пощупал пластырь над глазом.

Звездочка снова прошла небо.

— Ты прости, друг. Неладно вышло... Я по пьянке дурной бываю.

Клавка швырнул в темноту осколок кирпича и попал в рельс. Рельс загудел, словно слабо натянутая басовая струна.

— Ладно уж... Теперь ни к чему это. Разнос дали мне в управлении: ступай, говорят, обратно на БКСМ-4, вы, говорят, с Храмовым одним миром мазаны. Везет мне, как утопленнику! Тебя и вправду из комсомола исключили?

— Да нет...

— Зря ты это... А мне вот не везет...

О Клавке на самом деле без конца рассказывают истории — одна забавней другой. Ну, например, совсем недавно, перед октябрьскими, случай был...

После аванса Клавку отрядили в совхоз за картошкой, а он, соблазнившись дешевизной, прикупил еще живую курицу. Голову ей отвертеть не хватило духу, и Клавка сунул беспокойную живность в мешок. Когда вернулся, в комнате никого не застал. Ребята слушали в Красном уголке лекцию о международном положении, они бросили все как есть и ушли, даже таз с жидкостью мазутного цвета стоял на стуле: это одна знакомая девчонка собиралась переокрасить Мишке Глушко сорочку из белой в черную. Тогда только объявилась мода на черные сорочки. Клавка тоже все бросил и тоже пошел в Красный уголок. Ну, а курица каким-то образом развязала мешок, осатаневшая, выскочила из-под кровати, перевернула таз и, аспидно-черная и мокрая, упятнала стены, подушки, простыни, потом ударилась в дверь и выскочила в коридор. За ней вскачь рванулась мосластая комендантша, за комендантшей, взлаивая, увязался пес Жорка... Словом, поднялась такая кутерьма, что сорвалась лекция. Когда же разобрались, на Клавку в присутствии свидетелей составили акт, в кото-

ром убытки были подсчитаны с ужасающей дотошностью и за них бы ему век не рассчитаться, да заступился Катков. Но из бельевой теперь Клавке умышленно выдают только рябое, затоптанное курицей белье и страшат, что такого белья хватит на три жизни.

Действительно, не везет парню...

...Валька еще увидел падающую звезду.

— Комета, что ли?

— Метеорит. Осколки планет.

— А не спутник?

— Сравнил тоже! Спутник долго из виду не уходит.

И мерцает.

— Скажи, а на Луну скоро полетят?

— Полетят. Лет через десять, наверно. Я так думаю.

Я бы хотел полететь! Ради этого стоит жить, верно?

— Чудный ты мужик. Еще чем интересуешься?

— Нумизматикой.

— Это болезнь такая?

— Темень ты, — вздохнул Клавка. — Водку бы тебе жрать только. Монеты старые собираю.

— А на хрена?

— Темень ты!

— Ты уж светлый, аж золотой весь.

Клавка не ответил.

Над ними закачалась лохматая тень. Оба вздрогнули, потому что тень выросла неслышно. Валька повернулся так резко, что стало больно шею. Клавка вскочил и попятился.

— Баклуши бьем? — невесело спросил Катков и жестом показал: сидите. Сам тоже сел и, наклонившись, принялся ковырять снег носком сапога. — Плохие дела, ребята, а?

— Не шибко важные, — ответил Валька и похлопал рукой о колено.

— Не спится?

— Ночь хорошая. И теплая.

— И мне не спится. Сегодня к девчонкам в общежитие заходил. Ревут наши девчонки — нет работы. Снег чистят — копейка квадратный метр. Кирпич еще штабелюют. А фундамент рядом, рукой подать, только вот машина ваша, — Вадим сердито покосился на кран и перекинул шапку на ухо. — Разбирать его надо, так монтажников нет — все в Новинске, домну ремонтируют. Не везет нам с клубом!

...Сперанский сдержал слово — клуб строить разрешили. Наумов сейчас же перекинул с гаража две бригады бетонщиков, и те быстро залили фундамент под зал на восемьсот мест, вестибюль и спортивный комплекс. Инженеры из техотдела во главе с Наумовым не поспали несколько ночей — и проект был готов. Без претензий, конечно, проект простенький, но не до жиру, как говорится. И вот снова помеха: на комбинате в Новинске капитальный ремонт домны, и монтажное управление — субподрядная организация — отозвало своих людей с площадки. Даже несчастный кран некому перетаскать к фундаменту. Вадим кинулся в горьком комсомола просить помощи, потом крепко схватился с главным инженером монтажного управления, и тот пожаловался в партком.

Бессонов посоветовал Вадиму ждать.

— Вот фундамент, — Вадим показал вперед. — Кран бы перетаскать и — порядок.

— Знаем...

Валька ждал от Каткова вопросов и приготовился сказать, что он погорячился от дурусти и готов публично извиниться. Но комсорг ни о чем не спросил.

— Сколько до этого фундамента?

— Метров сто, наверно...

Валька поднялся, отряхнул штаны рукавицей и медленно побрел, загребая снег, к фундаменту.

Он чувствовал, как поднимается в нем решимость, не подчиненная рассудку.

Крановщик часто останавливался и прощупывал ногами дорогу. Слева тянулась глубокая канава, и за ней — ровная площадка, ни единой ямки. Это место еще весной чистили для чего-то, да бросили. «Можно рискнуть...»

Валька вернулся и сказал, ни к кому не обращаясь, просто так сказал:

— Там ничего, ровно...

Вадим встрепенулся.

— Перегнать кран можно. Своим ходом. Дотопает как миленький.

— Смелый ты парень, — сказал Клавка. — Лежачей жорове на хвост наступил.

— Помолчи, понял?

— Нет, объясни.

— Бульдозером бы поскоблить малость, и айда.

Вадим закрутил головой: мысль ему явно понравилась.

Храмов присел на корточки и показал щепочкой:

— Смотри. Звено раскрепляем, краном подаем вперед, крепим — и пошел. Второе — таким же манером. Чуешь?

Клавка потоптался и начал потихоньку оттираться в темноту. Валька уйти ему не дал: «Погоди!» И снова подступил к Вадиму: «Чуешь!» Тот задумался: такая партизанщина грозила многими неприятностями — как ни говори, нарушение техники безопасности со всеми вытекающими отсюда последствиями. А несчастный случай? Вадим колебался. Валька понял его и прижал кулаки к сердцу:

— Ведь для себя, для всех это! Неужели мы их выручить не имеем права?

«Действительно. Для самих себя...»

Вслух Вадим сказал:

— Сидите здесь, я сейчас, — и побежал куда-то.

Они ждали час.

Клавка уже устал объяснять, чем комета отличается от метеорита и почему гигантские кальмары иногда нападают на людей.

Он не раз порывался уйти, считая затею глупой и опасной, но Валька его не пускал: велено — значит, сиди и не шевелись.

Потом совсем рядом заклохтал мотор. Из-за общезжития, покачивая тупым рылом, выполз бульдозер и остановился метрах в двадцати от крана. Притухли фары, и стали видны красные червячки в лампочках. Из кабины, точно спасаясь от пожара, выскочил Вадим. Он что-то кричал. Фары снова вспыхнули белыми широкими лучами, и машина с опущенным ножом направилась к фундаменту строго по прямой, оставляя за собой черную ленту скобленной земли. Подошли двое парней в промасленных робах, один, сутулый и широколицый, бросил под ноги сумку с инструментом и закурил. Оба были слесари базы механизации.

— Значит так, — сказал высокий слесарь, — кто на кран полезет?

— Я, — откликнулся Валька.

— Валяй, мы тут управимся.

...Под краном было три звена пути. Сперва нужно было раскантовать заднее звено, перенести его вперед, затем снова заднее и снова вперед.

И так собирались они проложить неуклюжей машине дорогу, чтобы она метр за метром своим ходом дотопала по назначению. Таких вещей никогда и нигде не практикуют: а ну, перекос путей (на неотсыпанном грунте это вполне возможно), а ну, отключат энергию? Да мало ли. От случайностей никто не гарантирован. Их судить будут в любом случае — и победителей, и побежденных.

...Валька сел на свой стульчик в кабине и отер пот со лба. Сразу вспомнил, как советовал ему в порту пожиг-

лой и неразговорчивый крановщик: «Почуял неладное, в кабине не оставайся — верная хана».

Валька открыл люк, неуклюже скатился по лестнице и упал на карачки возле бетонной плиты, где давеча так мирно толковал с Клавкой о пришельцах с других планет.

— Что тебе? — спросил Вадим и разогнулся.

— Папироску дайте. Скоро у вас?

— Потерпи.

— Не куришь же, балуешься, — заворчал Клавка. — Самим мало.

— Ничего, обойдетесь.

В кабине холодно, сквозит. Чтобы хоть чем-нибудь заняться, Валька отверткой понатыкал в щели тряпья и пакли. Скорей бы уж!

...Вон окошко светится, одно-единственное. Не спит кто-то в девичьем общежитии, дня не хватило кому-то. Интересно, почему же она не спит? Может, книжку про шпионов читает или корпит над мудреной задачкой. Есть задачки, например, про бассейн, в который с одной стороны вода прибывает, а с другой уходит. И чего они тянут?

Слесари с Клавкой притулились возле рельсов и, похоже, не шевелятся.

— Эй! Май-най!

Валька поперхнулся сухой горечью, подался вперед.

— Май-най, штоль!

Треснули контакты, стайкой проскочили под щитком зеленоватые искры. Трос наматывался сперва вхолостую. Толчок. Кран заскрипел, напрягая стальные жилы. Дернулись и замерли тали. Натужно, с придыхом, запел мотор. Лево, лево, еще лево — до отказа. Поплыл пролет, и внизу, на утопанном снегу, кувыркаясь, тоже плыла, его полосатая тень. На миг прожектор выхватил пустые комнаты больницы, заваленные строительным мусором, и ребра стропил непокрытой крыши. Лево,



лево. Вадим показал «стоп» и «вира». Осторожненько. Есть, кажется? Есть! Снизу машут: молодец! Ребята опять согнулись над рельсами.

Скрепляют, свинчивают.

Свет в окошке общежития не погас, горит! Не Наталья ли Голубь там? Она, наверно, задачки решает, ведь в институте учится. Она не погасит свет, не должна.

— Пше-е-л!

По лбу, по переносью щекотно катится пот.

...Осторожненько... Громадина чуть клюнула носом, качнулась и неуверенно, точно на ощупь, двинулась вперед. Медленно, быстрее... Валька привстал, отступил поближе к открытому люку. «Почуял неладное, в кабине не оставайся...» Колеса со скрежетом, трудно жевали метры. Кран кренило и покачивало. Подрагивали, гудели конструкции. Еще, еще, еще... Не подведи, родимый!

— Сто-о-оп!

Вадим идет за краном. Клавка рядом.

Валька уронил на колени горячие ослабевшие руки, бросил замусоленную папиросу и вдруг заорал (давила эта липкая тишина!) нескладуху, которой научился в лес-промхозе:

У нас в деревне — хорошо,  
А в городе — лучше...  
Парень песенку запел  
И пошел заплакал...

Окошко не гасло, окошко горело — единственное. Решает девчонка задачку про кооперативную мануфактуру и про поезда, что отправляются одновременно из пункта «А» в пункт «Б».

— Май-на!

Потом Валька скатывается вниз и сидит на плите, закрыв глаза. Ни Вадим, ни Клавка, ни слесари не спрашивают, зачем он явился. Они понимают, что одному сверху неуютно. Молчат. Курева уже нет.

И опять:

— Май-на! Вира!

Валька теперь уже не пытается следовать совету уса- того крановщика — устал, да и считает, что все обой- дется.

У нас в деревне — хорошо,  
А в городе — лучше...

Загудела лестница. В открытом проеме люка пока- залось распаренное лицо Клавки. Глаза у него красные, как у кролика, он не дышит — хлебает воздух широко открытым ртом.

— Вадим велел слазить, я сам через канаву поведу.

— Скройся!

— Так Вадим.

— Отвали на полштанины!

...Насупился медленный зимний рассвет. Синь раз- бавилась серой дымкой, будто рядом запалили костер из еловых веток. Дымка закачалась, вздыбилась и уш- ла. Часто выступили голые топольки у дороги. Над го- рой обозначилась стальная полоска зари.

— Эй, спокойно, слышишь?

— Слышу...

— Пошел тихонько.

— Ну, пан или пропал!

...Вальку обволакивает тепло.

Стрекогут наперегонки кузнечики. Над степью вздра- гивает, течет рекой жаркий воздух. Полынь сорит на ветру едучей пылью. От этой пыли приятно першит в горле. Ф-р-рр! Ф-р-рр! Из-под ног выпорхнула птица, забила, захлестала крыльями и никак не может улететь.

Это Клавка трясет его за плечо и хлопает рукави- цами.

— Вставай, приехали!

— Как хочется спать! Теперь надо спать.

Превозмогая свинцовую тяжесть, обернулся. Горит окошко!

— Горит!

— А?

— Ворона-кума.

...Вадим снял шапку. Над его спутанными волосами поднимается парок. Слесарей уже нет.

— У смерти гроши воровали, хлопцы, — сказал Валька.

Впереди вставало алое солнце.

— Мороз будет, вот что...

## Глава XV

### 1

Накануне случилось чудо: с крыш вдруг посыпалась капель и дорога, исполосованная мазовскими покрышками, маслянисто вспотела. Ветер принес откуда-то тонкий запах вербы. Зима отступила чуть-чуть, отступила с лукавой усмешкой силы, и весна пахнула забытым теплом.

Наумов отпустил машину. Он стоял на обочине и разглядывал голенастый тополек, высаженный осенью. На растопыренных ветках деревца куржак застыл в сосульки, и теперь, на ярком свете, по ним бежали голубые искры. На дне неглубокой канавы сидел воробей. Он настороженно уставил на человека глаз-бусинку. Человек не шевелился. С заледенелого гребешка сорвался камешек и покатился вниз, оставляя на снегу заячий след. Растопыренный от ужаса воробей вспорхнул и боком улетел прочь. Наумов улыбнулся: вот перепугался, сердечный! И побрел по целику, сильно разгребая ногами снег. Выбрался на тропку, что вела к поселку, и снова остановился: надо было неотложно о чем-то подумать. Он не хотел, чтобы люди заметили его неожиданную ребячью радость, услышали глупую песенку,

которую он напевал — про соседского петуха и соседскую курицу.

Истинно, утро вечера мудренее. Теперь он спокоен. А вчера вечером, когда в телефонной трубке перекачивался голос Бессонова, Наумов был сердит. Секретарь уже звонил из дома, из города. Иван Абрамович больно прижимал трубку к уху, поддакивал чаще нехстати, косясь на документы, разложенные перед ним аккуратными стопками. Ведь специально остался допоздна, чтобы разобраться с бумагами!

А Бессонов обстоятельно, с ненужными подробностями «ставил в известность». Речь шла о возмутительном случае в бригаде Петра Быкова. «Предупреждал ведь — не торопитесь выдвигать человека!» И почему начальник управления узнает о таких вещах позже других? Полагалось бы, по логике, наоборот. В командировке был? Ничего не значит.

— Я не архангел с крылышками, мне везде не попеть!

— При чем здесь архангел, у нас серьезный разговор.

— Куда уж серьезней!

— Ты слушаешь?

— Да, да! — Наумов рассердился, опасаясь, что этому разговору «в узком кругу» не будет конца: до утра не может потерпеть, что ли!

...В среду постройком подводил итоги за январь и единогласно присудил первое место в соревновании каменщикам Ивана Шмелева. Первое место и знамя «Новинкстроя». Да и не могло быть двух мнений: у Шмелева лучшие показатели по всем статьям — и выработка на сто пятьдесят, и прогулов нет, и экономия в наличии. И наверно, стоит учитывать, что шмелевцы борются за звание бригады коммунистического труда.

На другой день к Быкову послали Глеба Трошина, чтобы тот забрал знамя и передал в постройком для

торжественного вручения, но парень вернулся страшно обескураженный: Быков знамя не дал, и больше того, обещал накостылять послу шею, если он поимеет наглость еще раз явиться с таким поручением. «Иди отсюда, пока трамваи ходят!»

— Так и выразился — «пока трамваи ходят».

— У нас пока трамваи не ходят, — ответил Наумов рассеянно.

— Давай серьезно.

— Я серьезно. Почему же он знамя-то не отдал?

— Вы, говорит, недостойны, слышишь? Вы, говорит, хапуги и жулики. Это же, понимаешь, ни в какие рамки не лезет!

— Да...

— И представляешь, еще говорит: «Мы его пятнать не позволим». Каково?

— Да-а-а...

Но то было еще не самое важное.

Бессонов, оказывается, у Быкова устроил собрание, и, судя по всему, ему там было туго, что явно угадывалось по раздражению, которое он не сумел скрыть, когда об этом рассказывал. Каменщики, не стесняясь в выражениях, потребовали навести порядок на стройке. А знамя они не отдадут до тех пор, пока им не предоставят возможность соревноваться с жилстроевцами на равных.

...«И дали же они тебе раскрутку! — подумал Наумов. — Настырные, однако, ребята!» Он отчего-то повеселел, хотя ему предписывалось именем и по поручению парткома вершить в бригаде суд праведный и скорый.

— Разберитесь с ними завтра же. Административным порядком, если добра не понимают!

— Там видно будет...

Иван Абрамович собирался уже положить трубку с облегчением и мыслью, что, к счастью, все на этом све-

те имеет конец, в том числе и разговоры, но тут часы просипели, прокашлялись, словно оперный бас перед трудной арией, и ударили первый раз. Наумов вздрогнул — он так и не привык к этой суровой машине. «Будь они прокляты!» И уже сам спросил:

— Слушаешь?

— Да.

— Забываю все, понимаешь... Тебе часы нужны? Мои, с боем? Хорошие, понимаешь, часы, дорогие. Да ты видел. У меня тут места уже нет — шкафы для чертежей привезли. Возьми, дорогой.

Бессонов вроде даже не удивился такому повороту и посопел в трубку.

— Ну, раз мешают...

— Возьми, а то отдам кому-нибудь. — Наумов подмигнул сам себе. — Шикарная, понимаешь, вещь!

...Над Лысухой показалось облако. Точно яхта с раскинутыми парусами вышла на простор.

Все кругом было умыто, свежо, чисто.

Наумов прислушался.

Стройка дышала, жила.

Поскрипывали краны, ухал бетон с кузовов самосвалов, чечеточно перестукивал колесами состав — сперва невнятно, потом часто и отчетливо, словно барабанная дробь на побудку катилась над рекой...

Петро Быков слишком поздно заметил начальство, когда пути к отступлению были уже отрезаны. Он заметался, сшиб вгорячах сосульку и, низко согнувшись, нырнул в тепляк; не на улице же, при всем честном народе, получать выволочку!

У порожка тепляка лежал голик. Начальник стал чистить валенки. Чистил долго. Он не знал теперь, как себя вести: «снимать стружку» уже не хотелось, но, с другой-то стороны, нельзя оставлять такое дело совсем без последствий — разбалуются. И сейчас только при-

знался себе, что давно нравится ему этот колючий, неудобный парень — Петро Быков.

В тепляке было душно. На жестяной печке сопел большой чайник. В торце, величиной почти во весь простенок, висела стенгазета, оформленная по виду со вкусом, без аляповатых виньеток, без призывов: «Поддавайте, пожалуйста, заметки!» Внизу было крупно написано: «Знамя «Новинскстроя» останется у нас!»

В левом углу Наумов увидел брезентовую сумку, она висела на гвоздике. Рядом были прибиты большие фотографии, выполненные не по-любительски чисто, моменты были схвачены очень живо: митинг по случаю встречи первого состава на площадке и открытия новой ветки (Наумов там разрезал ленточку), закладка гаража (самосвал вывалил бетон в опалубку), палатки, столовая под навесом...

У начальника жарко ударилось сердце. Сколько уже пройдено от той дождливой весны на пустыре, и, кажется, не он, кто-то другой разрезал ленточку перед самодовольно пыхтящим паровозом, не он, кто-то другой следил, как вбивали здесь первый колышек в размоленную землю... Вроде годы минули. А нет — это близко, совсем близко! И как далеко!

— Это что? — не оборачиваясь, спросил Наумов и показал на сумку.

— Пантелеич подарил, инструмент, — ответил Петро глухо.

— Подарил, значит... И чего же вы ее тут повесили?

— Память.

— Память, значит...

...Когда они вечером, уже в кромешной тьме, спускались с улицы Крутой, от Пантелеича, Виктор Бродский, удрученно молчавший, вдруг заговорил о наследовании традиций и пришел к выводу, что эта сумка с инструментом принадлежит всем как реликвия и что вообще пора бы подумать об истории бригады, пора бы уже

писать ее биографию, которая станет после страничкой биографии стройки.

Он теперь вел дневник, куда заносил самые значительные события.

...— Знамя где? — спросил Наумов.

— В общежитие унесли.

— Спрятали, дорогие товарищи?

— Да нет...

Петро сидел за грубо сколоченным столиком. Скулы у него за последнее время еще больше заострились. Он задубел, ссохся, и голова его на похудевшей мальчишеской шее казалась большой и непомерно лопухой. Наумов не выдержал его молчаливого, упорного вызова и отвернулся. Колупнул ногтем катышок смолы со стены, понюхал палец и вздохнул: нахлынула разом и сильно тайга, костры, звон ручья где-нибудь в сыром ложке, эхо выстрелов и пахучие дымки из горячих стволов ружья. Он прикурил и уткнулся в газету.

«О рабочей чести». Что они там пишут о рабочей чести и что они в ней понимают?

«Надо твердо знать, ребята, что перерасходы рождаются не в бухгалтерских книгах, они рождаются на лесах, и не только по вине больших руководителей, но и на рабочих местах — у каменщика, бетонщика, монтажника».

...«Жалуемся без конца: там беспорядок, тут беспорядок. А мы где? Нам поручено завод строить, и мы хозяева на площадке...»

Наумов прочитал статейку до конца и крепко потрянул головой: неплохо, как в настоящей газете. Только пишут они правильно, а делают совсем наоборот. Начальник собирался было спросить об этом у бригадира, но тот опередил его вопросом:

— Заявление подавать, Иван Абрамович? — под Быковым скрипнула скамейка.

Наумов опять не обернулся, вроде бы увлекся стиш-



ками. Он и в самом деле увлекся — стишки напомнили ему студенческую пору военных лет, общежитие на Стромынке в Москве:

...Мы решили опять не тужить,  
К черту песни и канареек,  
Значит, можно на свете жить,  
Если есть пятьдесят копеек.

— Куда просишься? — обернулся, наконец, Иван Абрамович и бросил шапку на тумбочку в углу. — На мое место? Так рано тебе еще на мое место. Кто писал на счет чести?

— Бродский Витька.

— Грамотно. Толково.

Петро теребил на затылке ржаные волосы. Он засмотрелся, как за створкой печи мечется огонь. На чайнике подпрыгивала крышка.

Наумов расстегнул дошку и, широко расставив ноги, примостился на скамейке рядом с бригадиром. Закурил. Пепел стряхивал в ладошку. Дым папиросы закручивался, вздрагивал и таял. И мысли под стать этому дыму не оставляли следа — появлялись и пропадали.

— У тебя какое образование, Быков?

— Семь классов.

— Почему так мало?

— Не получилось больше.

— Родители где?

— Отца нет, на фронте погиб, а мать в деревне живет.

В печи что-то треснуло, застреляло, на пол покатились мелкие, добела раскаленные уголья. Петро ловко поддел уголья мастерком и кинул в ящик со шлаком.

— А хочешь учиться?

— Как-то не думал об этом...

Рядом захрустел снег, кто-то смаху шаркнул плечом

об угол тепляка и выругался. Они подождали. Когда шаги затихли, Наумов спросил:

— Что же ты мне скажешь про рабочую честь?

Бригадир потрогал подбородок пальцами, глотнул через силу:

— Иван Абрамович, не тяните вы за душу! Писать заявление? Я к этому привык — писать заявления.

Начальник брезгливо затолкал в спичечную коробку смятый окурок:

— Цену себе набиваешь?

— Нет. Давно бы сбег, честное слово, да ребят жалко. Что у меня — семеро по лавкам каши просят? И квалификацию имею.

— Ты погоди с заявлением. Объясни мне, с какой стати хулиганите, друг ситцевый? Кто дал право?

— Прав, конечно, никто не давал, но у меня каменщики — не пожарная команда.

Наумов выпростал из-под воротника ухо, чтобы лучше слышать, и кивнул: не понимаю, объясни.

Петро сморщился, словно собирался чихнуть:

— У меня люди. Им зарабатывать надо, жить надо!

— А у меня лошади? У тебя двадцать человек, у меня — сотни. Мне легко? Но я не показываю пальцем на других-то, дорогой товарищ. Шутишь все, а думать — когда?

Петро отодвинулся от начальника и стал ковырять гвоздем шершавую доску стола.

— Думать — когда?

Наумов замолчал и насупился. Он сразу постарел.

У него рот в морщинах, затылок его в седине, мешки под глазами от недосыпания и тревог: две тысячи человек теперь на его «балансе», и каждый, кто хоть немного честолобив, считает, что имеет рецепт универсального лекарства, которое нужно потреблять обычно — по чайной ложке три раза в день, и стройка станет на ноги. Честолобцы, они не открывают забра-

ла, они ждут, когда их с поклоном попросят открыть премудрость. А он не просит и не зовет, он знает — никаких секретов в природе нет. Они видят частное, он — целое. Коротким кафтаном не прикроешь ног, вот и все. Сейчас нужно закрепить, вот и вся премудрость, любой ценой закрепить!

У Быкова защемило возле горла — он искренне посочувствовал этому человеку, которого любят и потому не жалеют. Петро тоже не пожалел:

— Сами учите. Сами учите из глотки рвать!

— Как это, погоди?

— Чего ждать — ясно: у кого язык подлиннее и совесть, обратно, покорооче, тот и взял бога за бороду. Они лишний раствор в снег зарывают, а у нас его совсем нет.

— Кто — «они»?

— Жилстроевцы. С жиру бесятся.

— Другая организация, видишь...

— Одна страна, одна площадка. Насчет кирпича опять. У них в досталь, а у нас шиш. Справедливо? Теперь качество. У них же в кладку кулак затолкать можно, ученики и то лучше кладут. И они же в передовиках ходят, брюхом двери открывают, знамя у нас грозятся отобрать. У вас, начальства, или совсем совести нет, или глаза повылазили. Поймите: на них же народ смотрит, смеется народ. И сердится. Если это, говорят, передовики, то нас, говорят, обыкновенных-то, на работу надо с музыкой провожать. И встречать. Да. Ребята же молодые, верно? Им привыкать трудно.

— Я не пойму: что, все жилстроевцы плохие, а вы исключительно хорошие, так?

— Я только о Шмелеве говорю, ведь испортили мужика. И неплохой мужик был, я его раньше знал.

— Тебя еще не испортили?

— Нас — нет, а можете.

— Посмотрим.

— Давайте.

— Погоди. Сядь. Скажи мне, почему это Бессонов тебя так не уважает?

— Бессонов? Наверно, из-за сказочки...

— Ты все это... сказочки рассказываешь. Каждому?

— Кому требуется.

— Ты бы поменьше это... сказки рассказывал... Добром советую. Идем!

Они вышли.

У порожка тепляка, поскуливая, томился большой остромордый пес в желтых пятнах. Он поднял уши торчком и уставился на Быкова заплаканными глазами, шевельнул хвостом. В его унылой позе было страдание.

— Жорка, домой! — притопнул бригадир. — Марш!

Жорка выронил слезу и, не поднимая зада, пополз навстречу. Наумов присел, собака зажмурилась и лизнула его в щеку суконным языком.

— Чей такой?

— Бригадный, общий. Виниться пришел: вчера у девчонок в комнате котенка задавил. Пшел, ну!

— Да не гони, чего ты.

— Хитрый, спасу нет.

Около них тихо и молча собирались каменщики — почти вся бригада. Пес вроде занимал их необычайно. Только Виктор Бродский с похоронным выражением на лице стоял в сторонке. Наумов понял, что эта сцена заранее прорепетирована и имеет целью смягчить его руководящий гнев и что этот печальный очкарик во имя общего блага отдан ему на заклятие.

Каменщики очень непосредственно и на разные лады умилялись собакой.

Наталья Голубь отвалила Жорке увесистый кусок колбасы с белым хлебом и дала конфету «Ласточка» в зеленой обертке. Пес, ошеломленный поначалу таким вниманием, совсем присмирел, ожидая подвоха, но поскольку все обошлось благополучно, тут же нагло пре-

небрег горячим участием и заскучал: выгнул спину, показал в сладком зевке белозубую пасть и бочком затрусил в сторону.

Иван Абрамович подтолкнул Петра:

— Веди, показывай.

На их пути с решительным и обреченным видом встал Виктор Бродский. Он краснел и заикался.

— Я здесь... Мы здесь... Имейте в виду, товарищ Наумов, бригадир не виноват. Мы сами, без его ведома и согласия...

— А, старый знакомый! — весело сказал Наумов. Он вспомнил, как этот парень помогал ему прибывать вывеску.— Бродский собственной персоной. Хорошо рабочую честь пишешь. А делаешь совсем наоборот. Я с тобой, дорогой мой товарищ, еще разберусь, тебе тоже ответ держать придется. Теперь не мешай, пропусти.

— Так нечестно! — надулся Бродский.

— Отойди в сторонку и помалкивай. Ты сегодня права голоса не имеешь.

— Вы обязаны объективно разобраться. По существу. Я виноват, меня и наказывайте, гоните, если требуется. Я знамя не дал.

— Ничего я не обязан, а выгнать успею, не беспокойся!

Попробовал вставить слово Клавка Рыжий, но Наумов и его оборвал:

— Помолчи, звездочет! Ступай на свой кран — к звездам поближе.

...Петро Быков понял начальство и молча, безропотно сносил выволочку. Иван Абрамович исподтишка подмигивал ему: ты, дескать, не встречай. За ними кучкой ходили парни и, поникнув, слушали обидные слова. Стены больницы были разделаны под расшивку и напоминали рифленые плитки шоколада — каждый кирпич, обведенный швом, смотрел весело, сидел ладно.

Наумов вошел в роль, он размахивал руками и плевался: хаял работу. Потом, нахмуренный и недоступный, сбежал с подмостей.

Виктор Бродский преследовал начальника через весь поселок:

— Я виноват. Один виноват, если разобраться объективно. Ведь и в наше положение войти тоже следует...

— Тебе спецовку выдали?

— Дали.

— Чего же ты вырядился, как в цирке, девок пугаешь? Иди, работай!

Виктор так и не дождался вразумительного ответа, приткнулся, убитый, на крылечко конторы.

Вскоре его пригласила секретарша начальника Ася:

— Иди, зовут.

Наумов не пригласил сесть — он рылся в столе. Виктор потерянно устроился на стуле около двери и сложил руки на коленях, решительно, однако, поблескивая очками — он не собирался уступать ни на каплю и благородно брал вину на себя. Впрочем, и на самом деле это было примерно так: по его настоянию бригада оставила знамя у себя.

— Вот! — Наумов облегченно вздохнул и положил на стол голубую папку с тесемками. — Нашел! — и постучал по папке ногтем. — Тут для вашего музея есть кое-что. Важные бумаги сберег. Бери. Приказ там за номером один, фотографии тоже, вырезки из газет, мои заметки... Хватай, пока я добрый!

Виктор выскочил из кабинета начальника и опрометью скатился с крыльца. «Пронесло!» И побежал к тепляку со всех ног — порадовать ребят приятной новостью.

Наумов нехотя поднял трубку.

— Был? Разобрался?

— Был.

— Приказ готовишь?

Иван Абрамович сорвался:

— Приказа не готовлю! Присмотреться надо к этим ребятам, нечего, по-моему, с плеча-то рубить, товарищ Бессонов. Это просто и всегда успеется, а?

После разговора с парторгом, улыбнувшись чему-то, попросил к себе начальника АХО. Ему он сказал, отводя глаза:

— Ты вот что... Переправь-ка в партком мои часы. Бессонов уже месяц просит, а я все время забываю. Совсем память отшибло, прости, господи.

## Глава XVI

### 1

На полу лежало алое полукружье солнца.

Валька дотянулся до пола ногой, крикнул и спрятал ногу обратно: пол был холодный. И батарея тоже. Значит, опять авария на котельной.

Осторожно вытащил из-под подушки захватанную газету за прошлый месяц. На второй странице там красовался портрет его, Вальки Храмова. Шапка у него там набекрень, губы растянуты до отказа, шея вывернута к плечу. Он запорошен снегом (фотограф постарался, даже за шиворот насыпал!). И вообще вид бравый. В сотый раз уже, наверно, украдкой, когда бывает один, перечитывает длинный очерк и дивится расторопной легкости стиля. Много написано. И про штаны не забыто, прожженные на костре «в самом интересном месте».

Валька дочитал последнюю строчку: «Они простые парни и они герои, потому что рисковали ради товарищей».

Сунул газету под подушку. Пора! На часах полдвенадцатого, а он еще не завтракал. И в парикмахерскую надо слетать. Опять сладко закатилось сердце. К шести он поедет в город с Натальей Голубь.

— Время, — она сказала, — завтра есть, могу и в кино. Сто лет, кажется, ничего не видела!

Впервые после новогоднего вечера согласилась.

Эх, вечер тот — первый и последний! Он проводил ее до подъезда и неловко поцеловал. Наташка отвернулась и запоздало выдохнула:

— Не надо, пожалуйста! Что ты!

Он случайно прихватил ее саквояж с туфлями, который нес из театра, как всякий порядочный кавалер. У себя в комнате открыл его, покрутил в руках легонькие лаковые туфли, и все Наташкино добро запрятал под кровать, чтобы не видел Трошин.

Она не пришла за саквояжем ни на второй, ни на третий день. И остался Валька один с горькой думкой, что он просто заяц, а она «не из тех». А спроси, чего ему, собственно, надо от Натальи, не ответил бы толком. Но нет у него ни единого пятнышка на совести — все чисто.

Валька стал замечать, что Наталья после Нового года избегает людей, даже с подружками скупа на слово и скучает. Подружки тоже говорят при ней вполголоса, как при больной. Валька с чисто мужской беспечностью пропускал мимо ушей разные намеки насчет Хвалынского, пока его не вразумили на этот счет, и как следует, девчонки из Наташкиной комнаты. Рассказали они про все с ненужными подробностями и отступлениями, когда Валька тупо слонялся по коридору женского общежития и мял в кулаке два билета на концерт певца с фамилией в двадцать три буквы (сосчитал на афише). Слонялся, уже ни на что не надеясь, часа три, хотя певец с подозрительно длинной фамилией давно пропел



свои арии и ужинал с одной из поклонниц в городском ресторане.

Вот тогда-то и пожалели Вальку девчонки. Он выслушал их с виду спокойно. Значит, не ходи, Макар, не носи свою гармонь. Понятно. Остается этому самому Хвальынскому набить морду, и точка с запятой, и крест. Девчонки заплескали руками: и не вздумай, ведь Хвальынский тоже любит Наташку, у него тоже трагедия. Ну, сам посуди: с одной стороны, она, с другой, — дети, мальчик и девочка (будто с двумя девочками, например, инженеру было бы легче!).

Да, у них трагедия, а у него что — комедия?

...Со всеми испортил за этот месяц отношения краповщик Валька Храмов, а войти в доверие снова было трудно. Он это сознавал и расстраивался еще больше.

А главное — Наташка. И вот сегодня наконец согласилась пойти с ним в кино. Может, забудет своего инженера! Должна забыть!

## 2

Вадим Катков был уверен, что за перегон крана никто им аплодировать не будет.

Так оно и вышло.

...После утомительной, полной риска ночи Валька с Клавкой спали и снов не видели, а Вадима растолкала секретарша управления.

Иван Абрамович, заложив руки за спину, бродил по целику возле фундамента и нетерпеливо ждал. Вадим, еще не проспавшись, блаженно щурился на солнце и улыбался, как младенец — безмятежно.

— Чья работа? — сипло спросил Наумов.

— Наша работа.

— Под суд захотел! Я говорю, под суд захотел?

— За что? — наивно спросил Катков и захватил в кулак ком снега. Потер снегом виски.

— Где это видано, чтобы кран гоняли по стройке, как шелудивого щенка? Жить надоело, растудыть твою!..

— Надо было, Иван Абрамович, помогли...

Вадим был настроен еще миролюбиво.

— Помогли! Ваша помощь у меня вон где теперь!— начальник показал пальцем на свой багровый затылок.

Вадим выпустил из кулака талый ком снега и по-суровел.

— Судят за преступление. Здесь нет состава преступления, если не формально, конечно, смотреть. Я же юрист, Иван Абрамович. Кроме того, спать хочу.— И пошел прочь, пьяно спотыкаясь о бросовый кирпич.

— Ты постой, дорогой товарищ, постой!

...С полчаса они толкались близко, грудь в грудь, как петухи перед дракой. Начальник вразумлял.

Поступок ребят во главе и под руководством Каткова—это, может, и геройство. С одной стороны.

И хулиганство,—с другой: затея-то могла кончиться плачевно. Да и сегодня все равно греха не оберешься.

— Ты дурной пример подал, а дурные примеры, известно, заразительны. Понимать должен, соску давно не сосешь. Вот смотри. Один перетащил кран с реальной возможностью поломать шею. Другому захочется в поисках легкой славы на тракторе речку по льду перемахнуть. Третьему — на поддоне покататься, четвертому черт знает что еще в башку втемяшится! Молодежь же у нас с тобой зеленая да шальная, дорогой товарищ! В полку помню... Да ты слушай, не води губами-то! В полку у нас... Я штурманом тогда служил, пока не ранили... Лихой пилот был у нас в полку — Васька Кучной. И вот раз он поднялся над городишком, где тогда стояли, дымку пустил да «Маша» — имя зазнобы — на небушке написал. Нет, чтобы его в каталажку посадить на недельку по всей строгости, так слюну пустили: ай да Вася, ай да удалец! Сошло с рук одному.

Ну и другой, годный да необученный, про Розу свою каллиграфическим почерком или славянской вязью написать попробовал. Воткнулся в телеграфный столб. И насмерть. Чуешь?

Вадим «не чуял» и скучно уставился под ноги, как школьник, привыкший к унылым выволочкам и вынесший из нелегкой доли своей золотое правило: сперва молчать, после — каяться.

— Ты не обижайся,— по-бабьи, тягуче вздохнул Наумов,— неприятности будут. Ты же взрослый человек, коммунист, понимаешь...

Вадим скосился в сторону крана. Неприятности это ничего, лишь бы клуб построить быстренько.

— Вы монтажников давайте,— сказал он.

— Где я их возьму, вырожу тебе, что ли! Тьфу ты, прости, господи! — Наумову сделалось обидно, что его пространная речь, построенная на ярком житейском материале, нисколько не тронула Каткова — тот опять улыбался во весь рот.

— Монтажников давайте.

— Зад бы тебе надрать, да офицерским ремнем, чтобы неделю щипать в кровати хлебал, вот что!

— Монтажников, говорю, давайте.

— Я тебе дам монтажников, в конверте пришлю на до востребования. Валяй с глаз долой, а то я нервный, дорогой товарищ, мне врачи лечиться велят. — Наумов безнадежно махнул рукой и, застегнув дошку, подался к себе. По дороге он долго тряс головой: ну и публика, поработай вот с такими!

### 3

Монтажников все-таки вызвали из города (куда было деваться!): под пути отсыпали гальку, сбалансировали кран, потом на место происшествия из управления механизации явился инженер по технике безопасно-

сти — молодой парень с ядовито-желтой папкой под мышкой. Он держался с томной важностью и ужасно придирался по мелочам, даже составил акт — и, однако, «добро» дал, намекнув, что часть ответственности за вопиющее нарушение берет на свои широкие плечи из уважения к просьбе общественности и лично товарища Каткова.

Возле фундамента быковцы, усердные, как муравьи, сотворили тот веселый ералаш, с которого на стройке начинается всякая объемная работа, — навалили горы кирпича, тесу, деревянные корыта для раствора. Приволокли трактором свою будку, похожую на скворечник, и над ее трубой уютно раскудрявился дымок.

Петро за последнюю неделю совсем запалился, и его солдатский бушлат примелькался на стройке. Бригадир был вездесущ и упорен. Хлопотал о делах с азартной живостью, ругался «по начальству» и под конец, охрипнув, стал шипеть, раздувая шею, как растравленный гусь. Лицо Быкова, и без того красное, сделалось надсадно багровым и устрашающим. Может, только поэтому ему уступали, махнув рукой, там, где другому отказывали, не дрогнув.

Наконец ударил долгожданный час.

У фундамента сгрудилась толпа, и впереди всех, широко расставив ноги, стоял Вадим Катков. Был Наумов, были и шмелевцы почти в полном составе. Они скромно держались поодаль.

Клавка Рыжий, пока суд да дело, слетал к столовой. Там, с мусорницы во дворе уволок пустую картонную коробку из-под печенья «К чаю», выпросил у маляров, что красили штaketник детского сада, кисть на минутку, разодрал коробку и на ее днище разлаписто, с подтеками вывел яркой зеленью: «П. Быков вызывает Г. Трошина соревноваться».

Больше ничего не вошло. Этот плакат зацепил проволочной дужкой на крюк своего крана, забрался в ка-

бину, торопясь, и подал как прямо на головы толпы. Картон вызывающе закачался у всех на глазах. Клавка увидел, как зашевелились внизу, и фундамент — серый квадрат посреди белого пустыря — показался ему вдруг большим пароходом, который сейчас оттолкнется от пирса, гукнет коротко, радостно и уйдет вдаль, туда, где небо падает на землю. И на палубе парохода металась матросы, отдавая швартовые. Это было похоже, наверно, и на площадку космодрома, откуда вот-вот должна была взмыть ракета.

Наумов пригрозил Клавке пальцем:

— Не балуй, звездочет! — и сорвал картон.

Шмелевцы, задетые за живое, вытолкнули Глеба вперед. Тот нехотя, снимая на ходу рукавицы, поднялся по шатким сходам на площадку и поклонился быковцам: к вашим услугам.

Клавка Рыжий скатился с крана, сел в сторонке на балку подвального перекрытия и заболтал ногами: он был доволен. И в его услугах пока не нуждались.

Примерно треть фундамента была уже наглухо заложена плитами, и именно оттуда каменщики собрались начать — с готового «нуля».

Со стороны поселка во всю длину фундамента, параллельно ему, гидроспецстроевцы выкопали траншею под канализацию и водопровод. Для них такой объем — сущий пустяк. Могли бы и после постараться, когда бы пришла настоящая нужда, так нет — им сейчас приспичило. Обыкновенно просят — не допросятся, нос воротят: некогда, мол, поважнее дела есть. Теперь же каменщикам создали лишнюю доуку. Шоферы по поводу этой инициативы матерились, потому что кран едва доставал плиты перекрытий с длинномеров. И кирпич ни с какого боку не подбросишь поудобней.

Зрители тоже расселись по балкам, как воробьи по жердочкам. Отсюда, никому не мешая, они могли сле-

дять за событиями, которые с драматической напряженностью разворачивались перед ними.

День был тусклый, с несильным, но пронзительным ветром.

Насевала пороша, изредка в просветы проглядывало солнце, и его серебристые блики прыгали по крышам домов, взбирались на Лысуху, зажигая березнячок, и гасли там.

Было ветрено и зябко.

Наумов сидел на дощечке, уложенной поверх колонки кирпичей, и привычно командовал. Он поставил Глеба Трошина на левый угол, Петра Быкова — на правый, потому что углы кладут самые квалифицированные каменщики, и уж после них, словно из клубка, остальные разматывают по стенам бесконечную стежку кирпича. Начальник отметил каждому по пять метров на противоположных сторонах фундамента. От углов — по пять метров.

Глеб, как и в прошлый раз, снял фуфайку и остался в синей спортивной курточке. Берет свой он носил с каким-то особенным шиком и не похож был в нем на рабочего — скорее на оператора из кинохроники или артиста, который снизошел к просьбам принять участие в любительском спектакле.

Петро косолапо прошел к отведенному месту и не скинул бушлат, только подтянул шарф потуже, pokrutil головой, будто проверил, прочно ли она у него сидит, бросил, не оглядываясь, назад окурок, который попал Наумову на дошку. Тот снял окурок двумя пальцами и долго, старательно топтал его, словно бетон мог вспыхнуть от искры.

Начали ровно в одиннадцать.

Подсобница Наталья Голубь понимала «ведомого» без слов, и первый кирпич, брошенный Быковым с нарочитой небрежностью, покачался в теплой лепешке

раствора и прочно сел, как первая буква строки на чистом листе.

— Не подкачай, Петя!

— Давай, Трошин!

Зрелище захватывало, и каждому хотелось стать в ряд и бросать, бросать кирпичи, чтобы влиться в слаженный ритм, чтобы сжечь до мозолей руки, почувствовать на спине горячий ручеек пота, устать до истомы, до дрожи в коленях.

Работа — как песня: стоит одному попасть в душевный лад и затянуть куплет, его обязательно подхватят и допоют.

Кто не умеет отдаваться работе полностью, тот меряет жизнь половинной меркой и счастье собирает, как нищий, — по каплям на донышко щербатой кружки.

Раззудись, плечо, эх!

Расступись, наши пошли!

...По углам выросли пирамиды со штробами.

— Пятнадцать минут!

— Ничего...

— Жми, ребята, деревня близко!

Петро на этот раз сразу принялся класть без обычных прибауток. Он быстро выложил угол и подался направо, наращивая кладку рядок за рядком. Глеб отставал медленно и верно. Он стащил берет с головы, и его напомаженные волосы сосульками нависли на лоб. Москвич потерял лоск и уверенность, грубо покрикивал на подсобника, который терялся и не знал, как ему угодить.

— Петя, утри нос пижону!

— Глеб, спокойно.

— Куда москвичу! Пусть по утрам простоквашу кушает.

— Еще посмотрим...

— Мы тоже не слепые.

Глеб раскраснелся, от его головы поднимался пар, и

курточка на спине покрылась мокрой изморозью. Петро был по-прежнему свеж и сосредоточен, только зло косил глазами, когда Наталья чуть запаздывала.

Часы Наумова отсчитали полчаса схватки, когда Трошин вдруг попятился, ступил на черенок лопаты, брошенной кем-то впопыхах, резко присел, встал с перекошенными губами и замахнулся мастерком на подсобника. Прихрамывая, побрел к своим.

— В чем дело? — спросил Наумов.

Наталья придержала Глеба за плечо, точно раненого, сочувственно морщилась.

— Ногу растянул, — ответил Глеб Трошин, — этот растяпа лопату бросил. Наступил на лопату, и вот...

Наумов понял, что парень просто сдал. Трусит. Хитрит.

Шмелевцы понурились.

Петро равнодушно топтался в сторонке: он не торжествовал своей победы, он просто был уверен, что верх будет его.

Зато Михаил Глушко ухал, будто из пушки стрелял. Голос у него и так был как у протодьякона, да еще охрип парень от работы на ветру. И говорил он с чугуным хрипом:

— Что? Не обломилось? Тут вам спуску не будет. Это вам не «Жилстрой»!

Подсобница из новеньких — остроглазая, небольшого росточка девчонка в мужских валенках выше колен елейно причитала:

— С ножкой у мальчика плохо! Зовите «скорую» — помрет мальчик во цвете лет.

Иван Шмелев, набычившись, вытащил из кармана брезентовые рукавицы, гулко хлопнул одной о другую, словно собирался стать на место Трошина и показать удаль, но сник и кивнул своим, чтобы уходили.

Глеб плелся сзади, на отшибе, и сильно прихрамывал.



Ему никто не захотел помочь.

Каменщики разбрелись по местам. Настроение, что ни говори, было испорчено. Да и погода еще...

Над площадкой, во всю ширь неба, залегла иссиня-черная туча без просветов, и край ее с белым надбровьем подпирали на левом берегу голенастые трубы Новинска; дымы этих труб, кажется, питали тучу, как реки море, и она разбухала на глазах.

К фундаменту подошел длинномер — МАЗ с прицепом. На прицепе шалашом стояли две панели перекрытий. Шофер вылез из кабины, постучал папиросой о портсигар и задрал голову — прицеливался, как ловчее подпятиться к крану. Каменщики глазели на шофера: что станет делать мужик? Этот не матерился, как иные прочие: курил и все целился.

Клавка собирался лезть на кран и крикнул шоферу:

«Скоро подпятишь?» Тот махнул «погоди» и направился к Наумову, который чуть в сторонке стоял с Катковым и еще с кем-то из управления. Наверно, жаловаться пошел: мазисты сразу потребовали перекинуть через канаву деревянный настил покрепче, а его все не было. Клавка сунул руку в карман, нащупал там монету и повернулся к ребятам: «Вот, глядите-ка».

Его обступили.

...Откуда-то появился Валька Храмов, малость под хмельком. Он врзался в гущу каменщиков с таким азартом, будто принес необыкновенно важную новость. Михаил Глушко схватил его за шиворот и отбросил, как котенка.

— Большой вырос, да! — захлебнулся Валька. — Значит, можно тебе, да?

— Чего прешь?

— А интересно посмотреть! Что там Рыжий показывает?

...По рукам каменщиков ходила монета — увесистый темно-красный пятак с двуглавым орлом и полустер-

тым профилем ее величества императрицы Екатерины II. Клавка аж подпрыгивал и жадно следил, как пятак передавали по кругу, он боялся, что шофер позовет его сейчас на кран сгружать плиты, а эта братва замылит шутки ради монету, которую он только вчера выменял у одного любителя в Новинске за серию немецких марок.

Петро Быков покатал медяк на ладони, задумчиво потер его большим пальцем:

— Где взял?

Клавка объяснил.

— Молодец, — одобрил бригадир. — Однако, ребята, хватит лясы точить.

...Валька, когда Глушко зазевался, все-таки пролез в круг и выхватил у Петра медяк.

— О! Давайте, братцы, в орлянку сыграем. На полфедора, кроме шуток. Орел или решка?

— Не балуй! — взмолился Клавка. — Ну, прошу тебя!

— Орел или решка? — глаза у Вальки блеснули.

— Отдай!

Монета вспорхнула, суматошно завертелась, вдруг косо рванула влево и упала в траншею.

— Ну вот!.. — только и сказал Клавка. Он побледнел так, что веснушки у него накалились и выступили еще явственней.

— Достань! — приказал Вальке Петро. — Не найдешь — кумпол твой дурной откручу.

— Талант у человека, — сказал Виктор Бродский, — мелкие пакости делать.

Валька хотел огрызнуться, но раздумал и нехотя опершись о край фундамента, спрыгнул вниз. Траншея была всего метра полтора глубиной, но дно ее уже основательно припорошило снегом. Где тут найдешь проклятый медяк?

И как раз в эту минуту МАЗ, окутавшись гарью, на-

чал разворачиваться — сломался углом: сама машина, совсем маленькая по сравнению с прицепом, забуксовала и медленно поползла назад. Колеса прицепа угадывали как раз на то место, где маячила согнутая спина Вальки.

— Поберегись! — крикнул Петро.

Рифленные колеса, пережевывая желтую глину, сваленную обочь, нависли над Валькой. А тот ничего не слышал.

— Поберегись!

— Задавит! — режуще крикнула Наталья.

Колеса перевалили гребень глиняного бугра, готовые вот-вот скатиться вниз. Мотор боролся, надсадно завыл, но у него явно не хватало сил.

К траншее бросился Петро. Но его опередил Клавка.

Он сперва присел на корточки у края траншеи, ткнул напарника кулаком в шею, но сразу, видно, понял, что тот не успеет убежать, прыгнул и разом толкнул его. Валька упал, ткнулся подбородком в галечник.

А страшное колесо в эту секунду вроде бы только коснулось рыжей Клавкиной головы!

И он, подогнув колени, начал сползать боком по отполированной стенке, процарапав пальцами левой руки спекшуюся землю. Простонал и затих на дне траншеи.

МАЗ заревел и пополз обратно.

Сперва никто ничего не понял.

Показалось белое лицо Вальки. Он был без шапки. Голова его тут же исчезла: он наклонился над Клавкой.

— Клавка! — позвал Валька. — Вставай. Больно тебе? Ну, вставай же, вставай!

Из уха Клавки темной струйкой побежала кровь. В правой судорожно сжатой руке таял снег.

Петро прыгнул в траншею и поднял голову Клавки.

— Ну! Ну же! — на Вальку волной катил страх.

— Не встанет он больше, — сказал Петро. Он ска-

зал это как-то устало и спокойно, будто видел на своем веку много смертей.

Что было дальше, Валька помнит смутно. Только несвязные куски.

...Шофер МАЗа сидит прямо на земле и, зажмурившись, трет затылок. Растрепанные его волосы цвета грязной кудели. От него тошно пахнет бензином.

— Как же это я!—повторяет шофер.—Как же это я!  
Его кто-то утешает:

— Ты не виноват, папаша.

...Наумов стоит над Клавкой —тяжелый, раздерганный. Серый шарф сбит у него в сторону и галстук завернулся атласной изнанкой, брюки замазаны глиной.

— Эх, звездочет! Зачем так-то? — Он водит головой, осматривает траншею, будто впервые видит ее, и снова склоняется над Клавкой.

...Катков, согнувшись, осторожно тянет Клавку под мышки из траншеи. Ему снизу помогают Петро Быков и Михаил Глушко.

Чьи-то сапоги, валенки, ботинки топчут полы пальто Каткова.

От толпы идет жар.

Как много народу!

Валька рвет фуфайку у горла так, что сыплются пуговицы. Его только сейчас поражает мысль: Клавки нет, Клавки больше не будет! И он, Валька, виноват в его смерти.

— Я виноват, я! — кричит Валька. — Из-за меня он. Из-за меня!

Его никто не слушает, его отталкивают и не хотят встречаться с ним глазами.

— Я, я!

Потом он почему-то вспоминает о пятаке и, упав на колени, шарит по дну траншеи, обдирая руки. «Орел или решка?» Он надеется еще, что Клавку отходят в больнице. «Если орел, то...»

А пятак был тут же, рядышком: стоял у стенки на ребре.

Ни орла, ни решки...

Валька цепко зажал медяк в кулаке.

— Я виноват, я! Ребята, пусть меня судят!

Вадим нагнулся к нему, взял за плечо:

— За это тебя, к сожалению, под суд отдать нельзя. Ты сам себя суди.

Тогда Валька заплакал.

## Глава XVII

### 1

Вечером Вадим забежал на минутку домой и в коридоре на полу нашел письмо. Почтальонша, наверно, сунула его в дверную щель.

Ему все писали на комитет. Никто из родных и друзей его адреса не знал.

Почерк был незнакомый, прямой и острый. Вадим хотел уже бросить письмо на тумбочку, но задержал в руке и начал читать сперва без видимого интереса, потом — жадно, перескакивая строчки.

«Вадим Григорьевич!

Я могла бы и не писать Вам, во всяком случае официального повода для этого у меня нет. Правда, я обещала выслать Вам стихи Саши Ковылко, но сделаю это в другой раз, потому что у меня их целая тетрадь. Я ее перепечатаю на машинке.

Я редко бываю откровенной. Вот если бы сегодня... Сегодня у меня особенное настроение. Вам бы я, наверно, исповедалась. Вам только. Мама последнее время следит за мной и руками разводит: ты, говорит, переменялась. Я спрашиваю: в лучшую сторону? Она не

может сказать определенно, сомневается. Я теперь шумлива и много смеюсь.

Вы не догадались, почему я все-таки пишу Вам?

Хочу поздравить Вас с Новым годом. Не смейтесь надо мной, ради бога. Поздно, конечно. Но поверьте, я добросовестно пыталась вовремя кинуть Вам хотя бы открытку. Я пыталась написать что-нибудь этакое, особенное, а получалось заумно и слишком красиво.

Часто вспоминаю Вас. Видите, я откровенна.

Жалею, что Вы все-таки, наверно, вернетесь в Москву.

Всего Вам самого-самого хорошего в новом году! Хочу, чтобы Вы не менялись, а были таким, как сейчас. Можно лучше — не повредит.

Мой отец любил говорить: «Пусть тебе тропа не встанет круто» (в молодости он был геологом).

Так пусть и Вам тропа не встанет круто.

Как там у Вас погода? У нас метет. Со свистом, со стоном. А стихи вышлю. После. Нет, одно все-таки сейчас.

Да здравствуют Дон-Кихоты,  
Идущие на эшафоты  
За самую малую малость,  
За самую высшую правду.  
Да будут вовеки святы  
Романтики и солдаты,  
Мечтающие о звездах,  
Сжимающие винтовки.

До встречи.

Привет моему gidу Вите Бродскому. Он — милый парень.

Виктория Матвеевна. Вика.

P. S.

Я все помню. Я, кажется, не могу справиться с собой. Это хорошо или плохо? Такого со мной еще не было. Наверно, мы скоро встретимся. Хотите? Это Вам доставит удовольствие?»

Вадим перечитал письмо еще раз и остался сидеть на табуретке. В груди знакомо шевельнулось тепло. Он не забывал ее, кажется, ни на минуту. И всегда становилось легко и спокойно от мысли, что она есть. Он пересиливал себя — не звонил, не писал, потому что чувствовал, как она стыдится своего порыва. Он верил: она придет к нему. Верил и все-таки мучительно ждал вестей от нее. А теперь он счастлив? Да, счастлив без скидок и без оглядки.

...В дверь постучали, резко, торопливо. Вадим слышал, как на площадке кто-то запалисто дышал.

Прибежала Ася — секретарша Наумова:

— Там Игорь Владимирович приехал. Зовет.

— Кто?

— Сперанский, кто! Сердитый. Быстро.

— Телефон же есть у меня.

— Забыла про телефон. Ну, что ты как неживой!

Сперанский сидел один и перебирал маленькую записную книжку в малиновом переплете. Рядом лежала ручка.

Вадим сразу обратил внимание на деревянный ящик размером с добрый чемодан, обитый по ребрам белой жестью. Ящик стоял в углу у двери.

Сперанский вроде и не слышал, как вошел хозяин кабинета: перебирал свою книжку и не поднимал глаз.

Он был все в том же коричневом костюме и белой сорочке.

— Здравствуйте,— сказал Вадим и нарочно громко забухал сапогами, отряхивая снег.

— Ну и кавардак же здесь у тебя,— ответил секретарь и укоризненно покачал головой.

— Уборщица заболела.

— Сам чего не уберешь, фон-барон?

— Руки не доходят.

— Ишь, занятой какой. Руки у него не доходят! —

Сперанский наконец поднял голову и посмотрел на Вадима пристально, долго.— До другого чего доходят, небось. Устроил здесь Запорожскую вольницу! — Сперанский убрал записную книжку, обстоятельно, не торопясь, свинтил ручку и зажал ее в кулаке.— Жалуется на тебя Бессонов... Краны, говорит, гоняешь своим ходом. Да. С Наумовым спелись, тот сопит и помалкивает.

Вадим неожиданно для самого себя сказал:

— Устал я, Игорь Владимирович, и не знаю, за что взяться по-настоящему... Все у меня как-то не получается.

— По стандарту не получается?

— И даже по стандарту. Наверно, нет способностей таких.

— Способностей нет? Плетешь, прости, господи. Интеллект у вас с парторгом не по субординации...— Сперанский поиграл ручкой и вдруг засмеялся, отвалившись на спинку стула.

— А я слышал, вы его рекомендовали на эту работу?

— Я рекомендовал...— Сперанский повернулся к Вадиму боком, туго уперся о стол и насупился.— Чего ты мне тычешь — «рекомендовал», я что, лик святой?

Вадим понял, что досадил человеку своим бестактным вопросом, но не раскаялся: и высокому начальству кто-то должен хоть иногда говорить правду!

А Сперанский вспомнил еще раз и с непроходящей досадой ту историю. Оно верно — он рекомендовал Бессонова, потому что торопился, потому что сначала был у него на примете другой товарищ, молодой и способный, главный инженер строительного треста в Новинске. На бюро горкома этот подающий надежды товарищ отрезал:

— Не могу, не умею и отказываюсь!

Он еще представил к сведению секретарей офици-



альное объяснение, суть которого сводилась к тому, что в партийной работе он совершенно не разумеет и вряд ли когда будет разумеать и душа у него к этому делу никогда не лежала. Поначалу-то все так говорят и все так пишут, но в конце концов сдаются, а этот не сдался, и его исключили из партии. Через три недели, когда решение утверждалось на бюро обкома, Сперанский без внутреннего сомнения назвал инженера сутягой:

— Он в рублях теряет, вот и весь сказ. Ты сейчас триста пятьдесят рублей на круг получаешь, а то и больше, а ставка секретаря на Ольховской площадке — сто шестьдесят рублей. Предлагаю утвердить решение бюро горкома.

Принято было единогласно.

Инженер — татарского вида парень, раскосый и широкоскулый, — не спросясь, прошел к столу и слышно задышал носом:

— Кажется, есть закон: коли судишь по совести, выслушай и другую сторону. Почему же меня не выслушали?

— Говори, что ж! — небрежно разрешил Сперанский. — И что ты нам хорошего скажешь?

Инженер тряскими пальцами сложил на зеленом сукне стола горку бумаг.

— Я закончил в Москве, — сказал он размеренно и тихо, — институт инженеров железнодорожного транспорта с отличием и был направлен в «Метрострой» начальником участка, имел в Москве двухкомнатную квартиру.

— Ну и что?

— Имел в Москве двухкомнатную квартиру. Через год по комсомольской путевке поехал на Север, оттуда, снова по комсомольской путевке, был направлен на строительство Абаканской дороги. Работал бригадиром, мастером, прорабом и начальником управления.

Имею благодарности Правительства, ЦК комсомола и награжден орденом Ленина.— У него затряслись губы.— Какой же я, простите, сутяга? Вы меня рабочим ставьте — пойду. Без рисовки и громких слов пойду, но делать то, чего не умею и уметь не буду,— заставить не можете. Даже вы!

— Вон как!

— Только так! Почему, например, вы меня в художники не агитируете? Или в писатели? Смешно, да? Пока я стою здесь, я еще, может быть, коммунист, по крайней мере, говорить мне пока разрешено, и я, чтобы вы знали, считаю такую практику вредной. У нас заведено: если то, скажем, строительная организация, так секретарем парткома должен быть инженер-строитель, у металлургов — металлург с дипломом и так далее. И скажу...

Тогда Сперанский поднялся с места и, багровея, закричал:

— Ты вот что. Ты забирай свой партбилет и марш отсюда. Марш!

...А Бессонов? Он тоже было заартачился, но сдался при первом же нажиме. Но как бы хотелось почему-то Сперанскому, чтобы он не сдавался, как тот, чтобы с ним можно было поспорить, ответить на собственные сомнения. Где же наберешься талантливых и охочих? Кто их найдет? Или искать не умеем, не так ищем? И поставь ты, товарищ, себя на мое место.

Мне вот тоже, таиться не стану, не очень сподручно было из начальника главка переделываться в секретари. Но нужно — и пришлось переделываться.

Бессонов на бюро обкома уже не противился, а вот ему-то как раз и надо было упираться, надо было убедить, что не может и не справится — ведь он-то лучше их знал, что не справится!

Вадим сел по другую сторону стола.

— Тебе представляется,— сказал Сперанский,— что такие, как я, обязаны все знать и все уметь? Торопимся мы, нам торопиться надо, и в спешке-то такого порой накрутим — за сто лет не разберешь. Искать надо, ищи, да и обрящешь. Всем искать. Пробовать.

— Не сильно-то дают пробовать. Кто пытается больше делать, тому и шишки, так?

— А ты не пытайся, отвали в сторону.

— Нет уж...

— То-то. Ну, а с Бессоновым... тебе еще придется не раз столкнуться. Он тебе еще клистир поставит. Сердит он на тебя. Он вообще сердиться начинает.

— Ничего, стерпим.

— Хватит, однако. Я же, брат, подарок твоим художникам привез — набор красок. И кисти. Колонковые кисти. Это же на вес золота! Зови ребят — порадую. Да побыстрее, тороплюсь. Ждут меня. Всегда кто-нибудь ждет. Или я кого-нибудь жду.

— Игорь Владимирович...

— Ну?

— Нет никаких художников. Я это...

— Наврал?

— Да. Слышал, что вы-то сами... Вот и...

Сперанский сразу начал одеваться и повернулся к Вадиму спиной.

Натянул коротенькое пальто с каракулевым воротником и черную шапку. Одевался он медленно и вяло.

Вадим, сжавшись, ждал грома.

А секретарь обкома опять засмеялся, тихо и беззлобно.

— Что нос повесил? Бессонов мне тут классиков цитировал: самое главное — базис, надстройка будет. Есть художники, найдутся. Ты собери их в следующий раз, когда приеду.

— Обязательно!

— И не расстраивайся. Трудись. Один древний да мудрый сказал: все проходит, пройдет и это. Стой крепче. Я недельки через три загляну сюда по пути. Ящик без меня не распечатывать, ясно?

2

— Товарищ Катков? Междугородная вызывает. Москва вызывает.

Было пять часов утра.

Вадим еле продрал глаза и сперва, абсолютно ничего не соображая со сна, не мог узнать голос на том конце провода.

— Кто говорит? Алло?

Говорил Яша Косовец, с которым они начали работать еще в райкоме и были в хороших отношениях до сих пор.

— Ты извини. Спал? У вас там сколько времени, часов пять утра, да?

— Тебе время, что ли, сказать, для того и звонишь? Яша долго смеялся в трубку.

— Да нет. Я дежурю, делать нечего, ну вот... Дай, думаю, обрадую человека. Только неофициально, учти. Не подводи меня, прошу. Я вчера в ЦК о тебе разговор слышал. Скоро тебя отзовут, должность тебе готовят. Будешь узнавать при встречах?

Вадим поперхнулся:

— Какую еще должность?

— Э, брат, много захотел. Сразу же выкладывай ему. Бутылка коньяку с тебя.

— До первого апреля еще далеко.

Яша обиделся:

— Так разве «покупают»? Нет, брат, я так не «покупаю».

— Скажи, Яшка, чего тебе стоит!

— Не-е-ет! Пострадай. Теперь спать не будешь, со мной за компанию, а то мне одному здесь скучно сидеть. И кто эти дежурства выдумал — скорая помощь здесь, что ли! Ну, пока. Скоро увидимся. Словом, бутылка с тебя, потому что я первый оповестил, остальные не в счет.

Вадим сел, заложив озябшие руки между колен. На него вдруг снова щедрым потоком хлынула Москва. Он ее увидел, услышал. Он и обрадовался и смутился. Почему-то сразу с некоторой завистью подумал о том, другом, кто займет здесь его место — со всеми тягостными мелочами, отнимающими уйму времени и сил, но с горячим напряжением стройки.

...Москва!.. А пока? Пока давай, Катков, напяливай валенки и полушубок, потому что вчера обещали мороз, и ступай на работу.

Вадим каждое утро забегал на клуб. Бригада Быкова разбилась на две смены: с восьми утра заступала до четырех первая, и с четырех до двенадцати — вторая. Как ни наседал Вадим на Наумова, как ни настаивал организовать там еще одну смену, начальник наотрез отказался снимать каменщиков с промышленных объектов. Они уже три раза ссорились, переходили на «вы» и мирились: оба не умели сердиться подолгу. Бессонов принял сторону Наумова: план — прежде всего, а клуб — стройка не плановая. Тогда Катков обещал выпросить каменщиков у «Жилстроя»: «Пусть вам будет стыдно! Все равно сдадим клуб к Первому мая!»

А вчера с Бессоновым опять неприятный разговор был...

Олег Иванович не встал из-за стола. Пальцы левой руки, которую он расслабленно бросил перед собой, мелко заплясали по обивке. Он любил вспоминать при случае, что в пионерах был самым лучшим барабанщиком школы. Сейчас пальцы выбивали дробь «на побуд-

ку». Секретарь не скрывал, что говорит только по обязанности.

— Тут мы советовались... — И дробь на побудку: тра-та-та-та-та-та-та. Бессонов наклонил голову, прислушался, ладно ли у него получается, и, спохватившись, сжал руку в кулак добела. — Советовались, кого послать на Выставку достижений. Одна путевка всего. Сошлись на том, чтобы Трошину из бригады Шмелева отдать эту путевку. Ты не возражаешь, по твоей ведь линии — комсомол.

— Я, конечно, возразил бы, да меня не спросили.

— Из каких мотивов, позволь? — Бессонов поднял брови.

— Во-первых, москвич. Ему бесплатно домой прокатиться — одна польза. Во-вторых, скользкий парень, неискренний.

Олег Иванович ровным, чересчур ровным, голосом продолжал, будто Вадим уже с ним согласился:

— Деловой, активный, на работе зарекомендовал себя с лучшей стороны, чего еще, по логике? В общем, решено и заверено, — короткие пальцы снова пустили дробь «братцы-зайцы, время собираться, значит, трусить нам нельзя. Братцы-зайцы...»

Они поняли друг друга без лишних слов.

Вадим подумал: «Вот и начинается». Он ждал чего-то похожего, но не так скоро.

Вадим жалел теперь этого грузного, внушительного на вид и очень слабого характером человека. Он теперь винил себя за то, что не помог Бессонову, когда тот еще сомневался и пробовал искать. Сейчас уже поздно.

А Бессонов думал: «Не уступлю. Может быть, ты и прав, но не уступлю. Хватит!»

Он все явственней чувствовал пустоту около себя. Ему, правда, отдавали должное, но по чистой обязанности и без надежды на помощь; люди уходили от него

дальше и дальше. Он не хотел этой пустоты, он будет драться за свой авторитет и за дело, черт возьми!

— Ругают нас с тобой,— сказал Бессонов.

— За что? — в тон ему скучно спросил Вадим.

— Главное упускаем — производство. Ты больше историю собираешь и прочее. Ну да ладно, всего нам тут с тобой не переговорить, обо всем не наспориться. Лучше заслушаем тебя на парткоме. Так рекомендовано.

— Пожалуйста.

— Да.— Бессонов встал.— Это правда, что тебя в Москву отзывать собираются?

— Никто мне этого не предлагал, но если и предложат,— наверное, откажусь. Москва, конечно, хорошо и почетно, но здесь много начато, много до ума довести надо.

— Да? Трудно с тобой работать. И учти: на парткоме спуску не дам.

— Правильно. Каждый обязан отстаивать свою точку зрения, если она у него есть.

Бессонов не понял намека или, может быть, не захотел отнести его на свой счет.

У клуба не было ни души. На крюке башенного крана, который висел над штабелем кирпичей, словно перевернутый вопросительный знак, болтался лист фанеры. На нем было написано химическим карандашом: «Наш Петя Быков молодец, а у Трошина до него нос не дорос».

Сразу вспомнился Вадиму Клавка, похороненный рядом с Сашей Ковылко. Он придумал это — вешать лозунги на кран. Кто же теперь вешает? Только не Валька Храмов. Тот вообще после смерти напарника переменялся и вроде на много лет сделался старше.

На утоптанном снегу было полно окурков. «Опять, видно, тут сходились, черти»,— Вадим улыбнулся.

Каждый обед в столовой Быковцы задирали шмелевцев: «А ну, кто еще хочет Петрограда?»; «Эй, мастера, кто еще хочет с нашим Петей померяться силами?»

Глеб Трошин еще раз пытался перегнуть Быкова на кладке, но снова был позорно бит. Каменщики во время перекура собирались у клуба и снова «болели» и спорили, темпераментно и непримиримо.

Вадим, спотыкаясь, пробрался внутрь здания. Сквозь пустые глазницы окон утренняя дымка казалась темно-фиолетовой. В углу дальней комнаты, приспособленной под раскомандировочную, Вадим нашел, что искал, — имущество штукатуров: растворные ящики, кельмы и стояки трубчатых лесов. «Хорошо. Значит, штукатуры сегодня приступят». Наумов задумал создать поток: каменщики, сантехники, отделочники. Сразу этаж за этажом. По методу ленинградцев.

«Это хорошо, если получится».

### 3

— Клуб к маю, и точка!

В комнате сидела бригада Быкова. Вадим собрал их с утра посоветоваться: приглашать жилстроевцев или они сами управятся к сроку?

— К маю. Нам спешить надо, ведь скоро народ прибывать будет. Я вам по секрету скажу: весной ожидается партия демобилизованных солдат — человек восемьсот. Тогда, сами понимаете, других забот хватит по горло. Наумов с промбазы никого не дает: там у нас программа горит. Вы одни в поселке остались. Справитесь? Плохо работать нельзя, просто хорошо — тоже, надо отлично! Ну, как?

Виктор Бродский поставил локоть на стол твердо, как первый ученик, которому предстоит ответить на исключительно заковыристый вопрос и отстоять перед



приедем инспектором честь класса. В комнате сразу стало тихо и тревожно. Бродский краснел и натужно шарил пальцами по пуговицам новенькой телогрейки (он последнее время редко щеголял в своей знаменитой курточке — прискучили насмешки).

— Я не по теме немножко, но кстати, наверно. Я про знамя, которое поручили мне хранить. По-моему, не нужно оно нам.

Вадим качнулся вперед и загремел стулом.

— Что это значит?!

— Ты не волнуйся, Вадя,— шепнула Наталья.

Всем вдруг стало до крайности необходимо устроиться поудобней. Кто-то сильно толкнул дверь в коридор. Она медленно, с режущим скрипом распахнулась. По ногам побежал холод, табачный дым вздыбился и разбился о стены. Петро Быков протиснулся к столу.

Виктор начал неуверенно:

— Вот что... Приходили к нам недавно пионеры в гости, вызывать, значит, бригаду, чтобы соревноваться. Обязательства на листочке в косую линейку принесли: учиться только на «хорошо» и «отлично», матерям по хозяйству помогать, металлолома за год собрать столько, чтобы хватило на целых три трактора.

— Ты короче!

— Не получается короче, быстро только лодыри кашу едят. И не мешайте. Пионеры обещали с нас пример брать и вырасти такими же. Торжественно обещали. Хотели прямо на лесах линейку устроить, да вожатая барабан не дала: лопнет на морозе барабан. И в горн зимой тоже дуть нельзя.

— Короче!

— Не получается короче. Так вот, меня эти пацаны думать заставили. И чуть не выложил я им начистоту: адрес ошибочно дали вам, пацаны! И барабан не надо, и листок в косую линейку обратно заберите. Взрослому такое можно выложить — поймет, детям же не ска-

жешь, например, что наш уважаемый Петро Быков систематически выпивает (а пионеры ему галстук подарили!), что накануне другой бригадир — Шмелев машину казенного кирпича дядьке в совхозе загнал, что Миша Глушко отказался остаться на работе хотя бы на часик сверх положенного и сломя голову побежал на халтуру, класть дом мастеру Берлову. Цена халтуре — по сотне на брата чистоганом, без вычетов. И в материалах перебоя нет: раствор без лимита, ворованный, прочая мелочь тоже не своя, краденая. Вы мне по совести ответьте, комсомольцы: передовые мы, достойны мы знамени, на котором не должно быть пятен, а? — Виктору трудно дышалось, он свистел носом и закрывал глаза, прислушиваясь к себе. — Отдадим знамя по совести. Будем достойны — назад возьмем. — Он вынул из-за пазухи бумажный пакет, перевязанный бечевкой. — Вот оно. Или не согласны? Мы его шмелевцам не отдали и сами недостойны, вот что.

Вадим вот уже в который раз перечитывал синюю строчку на плакате, приколотом кнопками под вешалкой, чтобы не пачкалось известкой пальто: «Накопил — «Победу» купил!»

С плаката смеялся мужчина в рабочем комбинезоне. Зубы у мужчины белые и широкие, как клавиши рояля. Мужчина был неистово благополучен, потому что отнес трудовую копейку в сберкассу.

Вадим только сейчас понял, что плакат ему страшно надоел.

— Вот так я и предлагаю поступить, — сказал Бродский. — И считаю — правильно.

Вадим не знал, что делать.

Осудить их за излишнюю щепетильность или заставить Виктора снять это предложение он просто не имел права.

Ведь это была бы фальшь, против которой он стоял и стоит. Совета бы спросить у кого-нибудь... Наверно,

Кузнецов или Сперанский могли бы подсказать выход...

И хорошо все-таки, что знамя остается для них настоящей святыней, оно служит, оно очищает. Хорошо! «Пусть сами рассудят. Вместе рассудим».

Вадим потер лоб ладонью и встал.

— Вы не отдали знамя шмелевцам. Они его, на наш взгляд, не заработали. Согласен. И больше того, вы сами теперь отказываетесь от такой чести. И это похвально в том смысле, что вы и на себя смотрите трезво и оцениваете свои поступки по высшему счету. Но кто достоин тогда? Я возьму знамя на хранение, но думаю, что повесткой следующего общего комсомольского собрания будет вопрос — кто достоин? Разговор, если его подготовить, может быть интересным, ибо тема обширная — об эстафете поколений, о добром имени и рабочей чести, о соревновании за коммунистический труд. Я тоже выступлю. Пусть народ решает. Подходит?

— Вполне.

— И хорошо.— Вадим сел. На глаза ему снова попался плакат.

— Снимите кто-нибудь эту бумагу, мне не дотянуться отсюда. Ну, так как насчет клуба?

— Одни справимся,— сказал Петро Быков и ударил шапкой о стол.— В лучшем виде!

— Добро!

## Глава XVIII

### 1

В реденькой толпе появилась женщина. Вадим ее еще не рассмотрел как следует, но сердце его екнуло. Потом он сразу узнал Викторию Матвеевну Качаеву. На ней были те же красные сапожки и платок в клетку, в руке она держала желтый портфель. Она остано-

лась рядом с мужчиной, который только что жаловался на кого-то, и тот, обрадовавшись новому человеку, снова, как заведенный, начал свое:

— И чего проще по селектору объявить — так, мол, и так.

— А вы что? — обрушилась на него Виктория Матвеевна. — Вот и объявили бы.

— Я человек маленький...

— И не стыдно вам? Ворчите, а сами ни с места!

— Ну, уж извините, — тонким обиженным голосом сказал мужчина, — меня никто слушать не будет. Может, вас, молодая-интересная, напугаются? Попробуйте.

— И попробую! — Виктория Матвеевна протерла очки, задиристо осмотрела соседа с ног до головы. Тот смущенно потоптался и стал оттираться в сторону. — И попробую!

— Пожалуйста, ради бога...

Виктория Матвеевна резко повернулась и пошла, размахивая портфелем. Увидела Вадима, счастливо, хорошо улыбнулась и залилась румянцем. Не снимая варежки, подала руку.

— Вадим! Вот кстати! И Витя. Здравствуй, Витя! Вы мне поможете?

Кузнецов, который вручал строителям знамя «Новинкостроя», позвонил на Ольховскую площадку Каткову и пригласил его с комсомольцами на митинг в честь открытия мемориальной доски Савелию Шубину — легендарному бригадиру первой пятилетки.

Вадим выпросил у диспетчера автобус, собрал кого можно — день был рабочий, будний — и поехал в Новинск.

...Металлургический комбинат вытянулся по прямой на много километров и делил город почти пополам: на верхнюю часть — старую и нижнюю — новую. Старый

и новый город соединял тоннель, проложенный под комбинатом.

Комбинат дымил.

Над коксовыми батареями, круто разматываясь, поднимались ослепительно белые грибы пара. Они вытягивались и таяли.

В тоннеле было холодно. Здесь постоянно то в одну, то в другую сторону с легким посвистом бежал ветер. По закопченным сводам сочилась вода и тут же застывала огромными сосульями.

Вверху дышали цеха. Через застекленный купол над первой проходной в тоннель заползала теплая гарь.

Десятка два людей теснились на тротуарчике — ждали, когда подойдет народ. Зябли на сквозняке и молчали. Только тот жалобщик, губастый мужчина в кожанке, суетился за всех и ворчал:

— И чего проще по селектору объязить — так, мол, и так. Митинг, мол, у первой проходной. Скоро перемена. До простого не додумались, руководство тоже!

— Пошли к директору, мальчишки! — сказала Вика.

...Секретарша в приемной директора выпорхнула из-за столика — этакая беловолосая фея, — мужественно пыталась загородить своей изящной фигуркой дверь, обшитую кожей и утыканную обоечными гвоздями с медными шляпками, но поздно спохватилась.

Вадим и Виктор, сробев, остались в приемной. Фея прижала кулачки к подбородку и театрально закатила глаза.

Они увидели через полуоткрытую дверь полированную тумбочку с разномастными телефонами и спины за длинным столом. В кабинете заседали. Скоро Вика вернулась в приемную. Следом вышел грузный человек с усталым мужиковатым лицом. Он, шевеля желваками, так посмотрел на секретаршу, что та смялась и почти упала на свой столик. Так же сразительно устался он и на Вику.

— В чем дело? Видите — заняты!

— Это я вас должна спросить, Иван Иванович, в чем дело!

Вика зачем-то поставила свой портфельчик на пол.

— Я из областного музея.

— Так в чем дело? — загремел директор, встряхивая цыганистым чубом в крутых кольцах и без единой сединки.

Он с силой сунул руки в карман рабочей куртки.

— У вас митинг. В три часа.

— Какой еще митинг?

— Мемориальную доску Савелию Шубину открыть должны, вот! Слышали про такого? Кузнецов срочно в командировку улетел.

— Ну, улетел...

— А там, — она ткнула варежкой в сторону окна, — три с половиной человека собралось. Это же черствость! Неуважение к светлой памяти, вот что это такое!

Директор увидел ее глаза, полные слез, и растерялся.

— Что же я должен делать? Партком же этими делами занимается... ну, и завком...

— Не занимаются, выходит. Вы распорядитесь, скорее, чтобы по цехам объявили. Сейчас же пересмена.

— Так, так...

— Вы торопитесь!

— А вам что, молодые люди?

— Мы с ней, — ответил Вадим.

Директор исчез в кабинете и вернулся уже в пальто и каракулевой шапке с наушниками.

— Мы, значит, черствые? — он впервые улыбнулся и показал золотые зубы. — А с Шубиным я тоже работал, уважаемая э-э-э...

— Виктория Матвеевна.

— Виктория Матвеевна. Ну, двинулись.

...Из проходных густо шли рабочие. Шли тяжело, размеренно — в промасленных телогрейках, в куцых шапчонках, надвинутых на самые уши. Текли медленной рекой, без суеты останавливались возле деревянного помоста и, словно по команде, закуривали.

Вадим приподнялся на цыпочки. Головы, головы, море...

— Как? — спросила Вика. — Много? — и совсем не солидно забила в ладоши. — Вот теперь понимаю — митинг! Мощь. Правда, Вадим?

Она впервые назвала его без отчества, и он, положив руку на плечо ей, ответил:

— Правда, Вика!

От людей пахло железом.

Вверху размеренно дышал завод. Бетонные колонны вздрагивали, когда, тяжело ступая, мимо цехов проходил состав с чугуном.

На свежеструганный помост, неловко зацепившись за что-то ботинком, поднялся секретарь райкома — сухощавый небольшой человек. Он сказал короткую речь:

— Сегодня мы собрались здесь, товарищи, чтобы открыть памятную доску в честь знаменитого бригадира, который трагически погиб при сооружении этого завода. Он был настоящим героем, рыцарем первой пятилетки. Его захоронили здесь. Он лежит под бетоном тоннеля, Савелий Шубин, и слушает нас, завод...

Место секретаря на трибуне занял сутулый старик. Он говорил тихо, врасстяжку и часто оглядывался на доску, прикрытую куском кумача.

Старик в те годы был прорабом и хорошо знал покойного.

— Это Пронин, — шепнула Вика. — Интересный человек!

Похоронили Шубина под пятиметровой толщей бетона. Гроб в нишу опускали краном, под музыку, в тре-

скучий декабрьский мороз. Это был по всем статьям человек, и далеко бы пошел, если б не беда. Кто постарше, тот, конечно, помнит и чтит Савелия Шубина. А молодежь не знает. Откуда ей знать?

— Должны знать! — сказала Вика.

Старик сорвал негнущимися пальцами кумач с плиты, из оттопыренного кармана пальто вынул платок, утер лицо и добавил:

— Вспомнили о нем — хорошо.

В этот момент разом грянули заводские гудки — пронзительные, густые, мягкие, хриплые. Слились и поплыли над городом. Это было невыразимо печально. Вадим почувствовал в горле ком и сдернул шапку. Люди рядом стояли, вытянувшись, как в строю. Гудки умолкли, и стало звеняще тихо.

Все сгрудились у чугунной плиты, привинченной к шершавой стене огромными шурупами, и прочитали:

«Здесь, под первой проходной, похоронен бригадир землекопов, прославленный ударник Савелий Шубин. Вечная память ему и слава!»

— Вспомнили о нем — хорошо! — повторил старик и сошел с помоста.

Народ хлынул в город, — туда, где синело небо, очерченное квадратной горловиной тоннеля.

Когда возле доски осталось всего несколько человек, директор комбината поманил Викторию к себе и еще издали спросил:

— Ну, как? Умеем?

— Когда захотите. А это, к сожалению, нечасто бывает. Хорошо вышло. Спасибо.

— Тебе спасибо, дочка: подсказала вовремя. Заняты, некогда. Да, Я, представь, не знал даже.

— Доска уж больно скромная получилась.

— А что еще надо?



— Можно, например, чашу внизу выдолбить, огонь бы зажечь. Газу, что ли, мало на заводе? Пусть прохожие шапки снимают, пусть пионеры цветы приносят. Неправильно?

— И это правильно. Помаракуюем. Ну, а сейчас — до свидания. Заглядывайте — не выгоню.

— Загляну. И не раз.

Ребята с Ольховской площадки куда-то разбрелись, и они остались втроем. Молча шли мимо скверика за водоуправления, где перед аляповатым фонтаном, словно обломанный посередине карандаш, торчал пустой гранитный постамент.

Вика приостановилась, Вадим тоже остановился. У него выбились из-под шапки волосы. За спиной болталась пряжка незастегнутого пояса.

— Рыцарь, приведите себя в порядок. И портфель мой возьмите — устала я.

— Извините! — спохватился Вадим. И заговорил быстро: — Знаете, здесь ведь Сталин стоял. Громадный был, говорят.

— Громадный... — ответила Вика, — сколько на Руси Великой таких ему было отлито...

— Много! — сказал Виктор Бродский и, приловчившись, пнул кусочек угля. Уголь раскрошился на дороге.

Вадим продолжал:

— Я это вот к чему. Несколько дней назад я в горкоме комсомола с архитекторами схватился — по наивности. Спросил: почему в городе нет монументов во славу простого человека? Где, скажем, знаменитые доменщики, сталевары, солдаты?

— И что архитекторы?

— Как на мальчишку смотрели: у нас, ответили, милейший, идей с три короба, но денежек нет, милейший. Дашь денежек? Но вот есть же у нас, говорю, памятник

Суворову? Я, конечно, не против Суворова, но ведь свои есть, прославленные. Оказывается, монументы город по разнарядке получает. Из Ленинграда. Представляете? Можем получить Кутузова, Багратиона, Руссо. Кого пошлют, словом. Номенклатура, изделия по сортам. Чудно как-то... Стоп! — Вадим загородил им дорогу. — Идея! А что, если мы этих денежек достанем?

— Откуда?

— Руками! — Вадим вытянул перед собой растопыренные пальцы. — Заработаем и скажем скульптору: создай, дорогой и талантливый товарищ, для нас монумент в честь первых строителей, а я его уже вижу, монумент. Парнишка, допустим. Лицо у него, знаете, такое, самое обыкновенное и одежда рабочая. В сапогах он. Сидит, допустим. Рядом сумка с инструментом, лопата воткнута в землю. И смотрит на деревце. Совсем тоненькое деревце. Березка, а? На постаменте слова написать такие, к примеру: «Тем, кто согрел своим дыханием еще один кусочек сибирской земли». Или что-нибудь в этом роде.

— Дельно!

Только Виктор видел это немного иначе: парень присел на карточки. Парень держит в ладонях подснежник. Символ: весна, пробуждение, труд. Он возвращается с работы, а на обочине — цветок. Первый цветок весны.

— Подумать надо, — сказал Вадим, — с ребятами посоветоваться. Наша главная забота — деньги.

## 2

Вика поехала с ними на площадку: Виктор обещал отдать ей фотографии, которых у него накопилось много, да и потом она призналась, что до поезда время ей все равно занять нечем.

Вадим сел рядом с ней впереди.

Дорога была покрыта шишковатой наледью. Авто-

бус то и дело заносило, опасно разворачивало. Вика крепко схватила Вадима за руку выше локтя и закусила губу — она боялась.

Автобус осторожно полз в гору. Медленно проплывали щербатые столбики заграждения, внизу был город — крыши и трубы в липкой дымке.

— Не бойся, — сказал Вадим.

Она сняла платок, поправила волосы, наклонив голову к плечу. Ее глаза за стеклами очков — неестественно большие, пристальные — казались еще голубей и чище.

— Мы теперь на «ты»? — спросила она.

— Я бы хотел.

— Я — тоже.

— Вот и ладно. Письмо твое получил. У тебя было хорошее настроение, когда писала, да?

— У меня был день рождения.

— О! Поздравляю! Поздно, конечно...

— Откуда тебе знать...

— Теперь буду знать. Третьего февраля, да?

Она кивнула.

Когда приехали в поселок, Вадим пошептался о чем-то с Виктором и повел гостью к себе.

— Куда ты его отправил?

— Сейчас придет.

Дома Вадим извинился за беспорядок, как положено, хотя беспорядка никакого не было: он как раз утром наводил чистоту в квартире и мыл пол. Он помог ей снять пальто, усадил возле стола, сунул журнал, чтобы не скучала, и пошел в ванную бриться. И, конечно, порезался оттого, что торопился. Вернулся, придерживая у щеки вату, празднично одетый — в белой рубашке и черных отглаженных брюках.

Она стояла у стола и, вытянув шею, рассматривала рисунок, прищипленный к стене кнопками. На оборотной стороне досафовского плаката Вадим тушью намалевал сам себя: лоб в морщинах, нос, что разношен-

ный валенок, глаза сурово сведены к переносью, и огромный палец уперт вперед, как дуло пистолета. И надпись внизу: «Что ты сделал сегодня?»

Вика засмеялась:

— Что это?

— Моя икона. Перед ней молюсь и отчитываюсь.

— А это?

В темном углу над кроватью висела небольшая акварель в рамке. На фоне заката, полосатого, как пижамные штаны, сцепились мертвой хваткой два робота. У обоих глаза горели зеленым огнем. Сзади, под ними — пропасть, клыкастые скалы.

— «Гибель миров» называется. Один художник еще в Москве подарил. Милый парень, но вот в такой манере пишет. Успеха, конечно, не имеет. Правда, он еще роспись в церквах восстанавливает. За это лихо платят.

— Я их не понимаю, таких, — сказала Вика. — Мне кажется, что они просто не умеют рисовать.

— Может быть... А иногда бесятся от избытка сил, пока настоящее не прорежется, если оно есть... Как-то в гости ко мне парторг наш зашел — посмотреть, как живу. Велел снять картину. Говорит, не годится для воспитателя молодежи.

— Ишь, какой серьезный.

— Дальше некуда. Ну, рассказывайте, как живете. Рассказывай.

Она села, одернув юбку на сильных коленях, сняла очки.

— Неплохо, наверно, живу. Работы хватает. Вот. Хорошо живу. Собираюсь книжку писать, но это — секрет: вдруг не получится. Называться она будет «Забывшие имена», о знаменитых людях Сибири. Конечно, трудно будет, но я справлюсь. Должна справиться! Посвящаю ее отцу.

— Отец твой, что?

— Умер в лагерях. Теперь реабилитирован. Даже

деньги предлагают за какое-то его изобретение. Юристы хлопочут, а мы с мамой не хотим их брать или детскому саду передадим. — Она вздохнула и помолчала... — Два института окончил. Последнее время, до ареста, в военной промышленности работал. Ну, вот...

Вадиму захотелось обнять ее и посидеть молча плечо к плечу. Он не мог пересилить себя и положил ладонь ей на голову. Волосы у нее были мягкие и теплые. Она не удивилась, не отпрянула. Сказала тихо:

— Плохо, что ты уезжаешь. Как я — без тебя?

— Никуда я, наверно, не уеду.

— Никто Москву терять не хочет.

— Жить здесь надо!

Она еще тише сказала:

— Мне хотелось тебя увидеть.

— Я тоже хотел, я ждал.

...Явился Виктор Бродский — сияющий и церемонный. Поставил на стол бутылку муската, галантно поклонился, протянул Вике большой конверт.

— С днем рождения вас, Виктория Матвеевна. Это от меня подарок. Здесь фотографии с первых дней стройки.

— Раньше так не давал!

— Исключительный случай сегодня, надо понимать.

— Спасибо, Витенька, лучшего и не придумаешь.

Дай я тебя поцелую.

Виктор смущенно попятился.

Вадим подарил ей томик Багрицкого.

— Подарки подписываются, — сказала она.

Вадим сел на угол стола с раскрытой книгой, подержал ручку у губ, потом быстро, решительно написал всего одну строчку. Она прочитала: «Вике, которую я люблю». Покраснела густо и отвернулась.

...Пили вино. Вика много смеялась. Томик Багрицкого лежал у нее на коленях.

Виктор не очень убедительно сослался на занятость и ушел.

Они остались вдвоем.

Вадим в упор спросил:

— Гостиницу заказывать?

Она долго молчала, потом качнула головой:

— Я к тебе ехала.

Он потянулся к ее губам.

Томик Багрицкого упал на пол.

### 3

Глеб Трошин лежал на кровати и хрустел газетой. Его плотно прикатанные волосы блестели от помады. Он бросил газету и зевнул:

— Скучно пишут — шире размах да выше подъем. Ты что хмурый, синьор? Где был?

— Ездили в город на митинг, — ответил Виктор Бродский.

— По какому случаю митинг?

— Савелию Шубину доску открывали.

— А мы в баню ездили. По бутылке пива перепало. Черт знает что за дыра — пиво и то в диковинку. Ты почему не поехал? Звали же.

— Что, глухой? На митинге был, понимаешь?

...Виктор всю дорогу думал об идее, которая родилась у Каткова, и она все больше нравилась ему. Только все-таки парня на постаменте он видел по-своему: пусть потные волосы, прилипшие ко лбу, пусть старенькая стеганка и сапоги, но цветок на ладони должен быть обязательно. Как вот Глеб рассудит?

Трошин опять зевнул.

— Тем, кто бежал, памятников не будет?

— Я тебе серьезно!

— Я тоже серьезно. Сколько нас в первой партии было? Триста?

— Ну?

— Человек сто осталось. Машка Соловьева зачин сделала. Речи она красивые говорила—не отнимешь.

— Ты ее не трогай, ее обидели!

— Брось ты, «обидели»!

— Да я же свидетелем был.

...Они с Машей Соловьевой, одна она стеснялась, пошли в бухгалтерию управления за деньгами.

Главный бухгалтер Иван Поликарпович Курочкин — молодцеватый старик с усами — встретил их сухо. Виктор подмигнул заробевшей было Маше: этот свой, не откажет!

Бухгалтер Курочкин любил выступать на комсомольских собраниях — хлебом не корми. Этак обстоятельно устраивался на трибуне и с ходу, весело как-то начинал упрекать «честную публику» в пассивности. Вспоминал свою молодость, как он двадцать пять лет назад командовал сельской ячейкой, и в ответ на ультиматум Керзона Советской Республике его хлопцы наловили по деревне полный мешок кошек, привязали к хвосту каждой погремущку и выпустили разом возле церкви — вот, господин Керзон, тебе наш пролетарский, крестьянский, понимаешь, ответ, леший тебя забери!

Курочкину всегда аплодировали со смехом, хоть и слышали историю про Керзона и кошек, пожалуй, с десятков раз. Иван Поликарпович смотрел в сторону:

— Просишь? Почему просишь?

У Маши порозовели скулы. Виктор ничего не понял и все еще улыбался.

— У меня мама заболела, ей выслать надо... Я же не так, я же под аванс.

— У одного мать у другого отец, а у меня средства государственные, — он постучал по коричневому сейфу за спиной. — Если каждый клянчить начнет...

— Я не нищая, я же у вас работаю!

— Есть указание — никаких авансов.

Маша смяла заявление в кулаке и молча поднялась.

У Виктора сразу сползла улыбка и тоже побежали по щекам нервные пятна. Он отказал? Удивительно! Виктор близко подступил к бухгалтеру и нечаянно столкнулся со стола увесистый грессбух. Книга упала корешком вниз и расплескала рябые страницы.

Курочкин задергал бровью.

— Подними. Да береги нервы, молодой человек! Они тебе еще пригодятся.

— Давайте аванс!

У бухгалтера мелко затряслись руки, и он никак не мог взять с письменного прибора карандаш. Смотрел недобро. Виктор понял, что сам смотрит на него с ненавистью. Они, по крайней мере, квиты.

Маша всхлипнула и убежала.

— Не дашь аванс? Мать же у нее больная, одна там. В больнице лежит!

— Не положено.

— Знаешь, папаша, — трудным шепогом сказал Виктор. — Я тебя за человека считал, а у тебя там — показал на лацкан пиджака, — грош ржавый.

— Ты пьян, уважаемый! Ступай себе, ступай от греха подальше.

Аванс по приказанию Наумова выписали, но Маша получать его отказалась.

...— Тебе стыдно осуждать других. — Виктор поднялся со стула и заходил по комнате. — Тебе каждый месяц из дома деньги высылают.

— У твоего отца тоже грошей куры не клюют. Так ты благородно отказываешься. Ну и дурак! Да потом... Памятник первому строителю, придумают тоже! На площадке кавардак, а они про цветочки думают. Памятник, цветочки, тьфу!

Виктор смотрел в затылок Глебу. Почему-то вспом-



нил: в школе Глеб хвастался, что у него на макушке за- просто умещаются две чернильницы.

— Все-таки скотина ты!

— Кто скотина?

— Ты! Вышвырнуть тебя отсюда надо! Пошляк, ни- щий духом!

Они чуть не подрались, но растащил их бригадир Шмелев, который пришел к Трошину.

## Глава XIX

### 1

Конечно, благородства от оскорбленной женщины ждать трудно, но жена инженера Хвалынского вела се- бя, как торговка, у которой утащили с прилавка лучший кусок.

Она откуда-то достала Натальины письма к мужу и читала их каждому. Она пустила слух, что Наталья бере- менна. И многие из тех, кто раньше как-то защищал ка- менщицу, отвернулись от нее: не могла, не имела права эта чистая девчонка зайти так далеко! Святым грехи не прощают!

Ей пробовали помочь подруги по комнате и ребята, особенно Виктор Бродский. Но она никаких уговоров не слушала, даже вдруг ушла из бригады и устроилась в ЖКО разнорабочей. Петро Быков посоветовал ребятам однажды:

— Вы не лезьте ей в душу, уговариватели! Пусть од- на побудет. И все равно не жить ей здесь больше: слишком чувствительная. К маме ее отправлять надо, вот что.

— Ты уж скажешь, психолог тоже!

— А вот посмотрите. Уедет. Я бы ее и не держал. И Катков со мной согласен.

Наталью до времени оставили в покое.

Она теперь была совсем одна, потому что так хотела. Только Валька Храмов, на удивление всем, пользовался ее тихим расположением. Он великодушно прощал подковырки, не обращал внимания, когда его вроде бы невзначай с ласковой ехидцей ребята звали Наташенькой и похлопывали ниже поясицы.

У Вальки было свое горе и бремя на совести — Клавка. Валька переживал его смерть тяжело и с какой-то болезненной навязчивостью рассказывал каждому новому человеку про случай у клуба и обязательно добавлял, что хороший парень погиб из-за него.

Мать Клавки на похороны не приехала — слегла с сердцем. Отца не было — погиб на войне.

Зарыли Клавку на веселой поляне рядом с Сашей Ковылко.

Валька, ни у кого не спрашивая разрешения, будто это было только его право, запаковал Клавкины вещи и отправил в Москву. Монеты, разложенные в холщевом мешочке с ячейками, припрятал. Ящик с книгами перенес к себе. После каждого аванса высылал деньги на имя главного врача больницы, в которой лежала мать Клавки.

Валька ходил по стройке с поджатыми губами и никому не смотрел в глаза. Только вот с Натальей он был счастлив. Работал с некоторых пор только в ночную, к немалой радости нового напарника. Утром наскоро завтракал в столовой и торопился к Наталье, чтобы помочь ей. С удовольствием разгребал снег, крушил кайлом наледь на тротуарах, мел от подъездов и вообще до вечера крутился в ЖКО. Он работал.

Наталья устраивалась где-нибудь неподалеку, сжавшись в комочек, и вежливо, редко улыбалась его неуклюжим остротам. Она, кажется, спала с открытыми глазами и в этом сне пыталась додуматься до чего-то самого важного. И не могла.

Валька ее ни о чем не спрашивал, беззаботно полагал, что всякая болезнь излечима. Его не пугала Натальина покорность, он не догадывался, какая беда ждет его впереди. Он как-то обмяк, подобрел и научился прощать слабости другим.

В пять часов работа кончалась. Они сваливали инструмент в сыром подвале конторы и садились рядышком на единственную скамейку, которая стояла нивесть почему на отшибе, и до березнячка отсюда было подать рукой. Она молчала, он болтал о чем угодно, но по капельке и по малости рассказывал все о своей несурзной и короткой жизни.

Когда он хватал через край, она чуть притрагивалась к его колену:

— Не смей так! Ты не такой, ты лучше!

Не такой, конечно, и вовсе не так это было, но очень уж хотелось ему, чтобы она смеялась, как раньше, — долго и до ясных слез.

— Ты про леспромхоз, Валя! Очень интересно про леспромхоз!

— Можно.

...Речка называлась Черемушкой. Они там валили лес и сплавливали его в Новинск. Валили на правом, крутом берегу. Подбагришь лесину, она сама катится — и в воду. Брызги фонтаном, и радуга встанет. Пошло бревнышко вниз по матушке!

Все лето так было. А там красота: горы, тайга и воздух пихтой пахнет. Купаться в Черемушке и в жару рискованно, ледяная речка.

Да. И вот раз увидели: нет леса на берегу. Много кубов пропало. До вечера заготовили, утром нет! Кому тут быть? Участок дальний, людей ни души... С неделю так получалось. Уже не во сне ли кто из нас? Бывают же лунатики. Потом ребята специально остались и подглядели. Медведь, оказывается, лес-то плавит! Уморал

Ну, скажи, как человек: подкатит бревно к самому краю, повернется к реке задом, передними лапами толкнет под себя, отпрыгнет и башку скособочит — смотрит. Ему сплошное удовольствие. Мы животы понадсадили — ведь и в цирке такого не увидишь. Начальство ругается, почему сырой лес гоните! — а нам потеха. Спрячемся и наблюдаем. И случилось раз так. Одна лесина, понимаешь, с сучком попалась. Не катится, хоть тресни. Так он ее волоком попер. Сердится и прет. Пятится, пятится и не подрассчитал, кулем с обрыва рухнул, дерево за ним. И по заливку в воде уже так его навернуло, что он, как пьяный, на другой берег вылез, на кедр забрался и до утра ревел. Ребята по земле катались. Сроду мне так не смеялось, веришь — нет. И сейчас вспомню, так не могу удержаться.

— Так было? — уже в который раз спрашивает Наталья, и у ее пухлых губ появляются две милых морщинки. — Сам видел?

— Ну, сам!

Она просит еще и еще раз рассказать про медведя и все сомневается, что это правда. Валька обещает сквозь землю провалиться хоть сейчас, если соврал.

...Весна подступила осторожно, мелкими шажками, и на закатах было холодно. Лед на лужах твердел слюдяными корочками.

Асфальтовая дорога в город просыхала, желтела, и за машинами уже крутилась пыль.

Под закатным солнцем все серебряно, пронзительно блестело — лед на лужах, снег на горе и стволы берез.

Солнце скатывалось, и опять приходила зима, но только на ночь.

Наталья затягивала платок, подбирала волосы, заглядывала в круглое зеркальце и поднималась первой.

— Ужинать, Валя?

— Ужинать. — Он был ее эхо.

Они шли рядом. Валька шел бы так всегда. Ему никогда не было так хорошо, как с ней.

Он думал, что это и впрямь насовсем.

Наталья скучала по бригаде, но до поры, пока не спала первая горечь, не могла заставить себя с непринужденным видом заглянуть в гости к каменщикам. Наконец решилась.

...Петро Быков сидел в комнате один и пил чай. Заедал ржаными пряниками. Он был в стареньком пиджаке с помятыми лацканами и черной косоворотке с белыми пуговицами, пришитыми почти сплошь одна к другой. Аккуратно причесанный, разморенный чаем, он напоминал хозяйственного мужика во главе многолюдного застолья. В комнате было домовито и чисто.

Петр зажал кружку между колен и протянул Наталье пакет с ржаными пряниками, которые он любил:

— Угощайся.

— Спасибо, не хочу.

— Хозяин-барин. Соскучилась?

— Да.

— Садись.

Наталья стеснительно приткнулась на стул около двери.

— Чайком погреешься?

— Спасибо, не хочу.

— Хозяин опять же — барин.

В окошко она вдруг увидела скворца. Он сидел на ролике столба, поблескивал перьями и крутил головой: а вот и я! На заостренную макушку столба прямо с лета упал воробей, скосился на скворца и камнем упал вниз. Скворец крутил головой неуловимо быстро: а вот и я, а вот и я! Наталья хлопнула в ладоши:

— Петя, скворцы прилетели!

— Пора уже. Тепла жди. И не верится.

— Холодная была зима.

— Обыкновенная.

— Остальные где?

— Я с ночной. Не знаю. Уезжать не собираешься?

— Как же я уеду?

— купишь билет, сядешь в поезд и — до свидания.

Мы посошок выпьем.

— Нет, Петя. Или... Или вам стыдно за меня? — У нее дрогнул подбородок.

— Заплакать собираешься? Ты не плачь. Нам за тебя не стыдно, ты себя не мучай. Тебе сразу там станет лучше, в Москве. Москва — большой город и нескудный.

— Это серьезно.

— Это правильно.

— А вы как?

— Мы — просто: мастерок, раствор да отвес.

— Шутишь?

— Нет. — Он теперь загораживал окошко, тоже, наверно, смотрел на скворцов. — Не шучу. Нам тебя не охота терять. — Он был сейчас совсем другой, чем всегда, незнакомый голосом, словами, улыбкой.

— Спасибо тебе. Прощай.

— Провожать приду, не прощайся.

— Тогда до свидания.

Наталью грызли сомнения даже после встречи с Петром, и она должна была снять с себя последний груз, обязательно поговорить еще раз с Вадимом Катковым, который все понимает и, конечно, поможет.

Катков бесцеремонно выгнал ребят из кабинета и сел на подоконник. Он задумчиво смотрел поверх ее головы. На столе лежал разграфленный лист ватмана — график выхода дружинников — и отбрасывал на потолок квадратный блик.

В открытую форточку бежал ветерок и шелестел

страницами газетной подшивки, раскрытой на середине.

Наталья взяла со стола книгу. Это был черный томик Гоголя. Рассеянно полистала. Никогда не думала она, что так неудобно будет чувствовать себя перед человеком, которому могла сказать почти все. Он спросил наконец:

— Как это вышло у тебя?

— Вышло... Как у других выходит...

— Где он, в городе? Со стройки-то уволился.

— Завербовался куда-то. Вернется обязательно к семье, когда меня здесь не будет. Так договорились.

Вадим тряхнул головой.

— Скажи, кто письма у тебя взял?

— Я думала об этом. Я ведь их не отсылала, мне просто было трудно пережить, вот и писала.

«Выпало же тебе!»

— Говорят, Глеб Трошин в моей тумбочке рылся. Он еще в поезде, когда ехали сюда, ко мне приставал. Но только зачем ему это? Вот не понимаю!

«Значит, Трошин. Ясно».

Наталья продолжала без связи:

— Мела я недавно дорожку около скамейки, у поссовета. Мы с ним часто там сидели. Одна у нас скамейка в поселке... И вот что нашла. — Она положила в ладонь комсору большую дымчатую пуговицу. — Это от его пальто, ни у кого таких нет здесь, ему родственник из-за границы привез. Интересно, правда?

— Да-а...

— Увидишь, может быть, через год — передай ему, ладно?

— Ты не совсем вылечилась, значит?

— Почти вылечилась, Вадим, Валька помог.

— Я от него не ожидал, признаться.

— О, он добрый, не такой, каким кажется.

— Когда едешь? — Вадим был согласен с Быковым: ей надо уехать.

— Торопишь?

— Нет, Наташа! Просто я тебя понимаю. Кстати, в Москве свидимся.

— Ты разве собираешься обратно? Не смей и думать! Ты не имеешь права оставлять их!

— Не имею права. Верно. И все равно до встречи.

— До встречи.

## 2

Еще днем заморосил первый дождь.

Наледь на тротуарах осклизла, в канавах запенились ручьи. К вечеру тучи поредели, но дождь не переставал. Вечером дорога была похожа на реку, в ней кипели и подрагивали огни поселка.

Ребята стояли кружочком у фонаря. На свету дождь висел стеклянной стеной. Было слышно, как вода барабанит в стоках, наплескивает с крыш. Пахло талым снегом.

Им надоело ждать.

Автобус все не показывался.

Петро перетаскал узлы и чемоданы на железобетонные плиты за канавой и вернулся.

— Там будет лучше, там хоть грязи нет.

У Виктора Бродского текла по лицу вода. Он втянул голову в воротник курточки и насвистывал «Марш Черномора». Поза его была скорбна.

К остановке подошли рыбаки. Их плащи гроыхали, как жестяные. Рыбаки, известно, народ общительный.

— Со стройки, ребята?

— Отсюда.

— Молодцы. Целый город тут теперь у вас. В позапрошлом году я вон там в низине чирков пугал. Теперь, что ты, — не узнать! Много сделано.

Им никто не ответил.

Но рыбаки, известно, народ общительный. Один из



них, старик с тряской козлиной бородой, подступил ближе.

— Провожаете кого? Совсем или в отпуск?

Ну кому какое дело — провожают они или встречают? И зачем душу беречь? Разве не видно, деда, что лихо этим ребятам. Из стручка выпала горошина, от них уходит близкий человек. А когда провожаешь близкого, самому хочется прыгнуть на подножку вагона и мчаться от привычного дальше и дальше. Не чувствовать ни начала, ни конца. Остаться где-то посередине, без прошлого и будущего. Мчаться и мчаться — навстречу людям и городам.

Такое настроение мимолетно, но сильно. И кажется, что никогда уже не будет дружбы тесней и времени интересней, что самое значительное уже за спиной.

Рыбаки отошли за круг фонаря и стушевались в темноте.

...Валька Храмов держался поодаль. Он сидел на плите около узлов и курил в горсть. За этот час он не сказал ни слова.

Мимо с мягким шипеньем пронеслись машины, на мокрой дороге гасли и зажигались огни. Сквозь просветы в облаках выглядывали звезды.

Наталья присела рядом с Валькой, положила руки на колени и засмотрелась в темноту. Она знала, что он сейчас не сводит с нее глаз. И не смела повернуться к нему, заговорить.

Наталья судорожно перебирала пальцы и томилась. Скорей бы уж автобус, скорей бы поезд! Впереди — дом, Москва, мама. Ей еще не верится, что она вернется так просто, что вернется целый мир — Москва, дом, мама. А ребятам завтра на работу. Как неприятно после сна натягивать сырую телогрейку и сапоги, потом идти, спотыкаясь, сжиматься от холода и думать о теплой постели, больше ни о чем. И ждать лета. Потом — кирпичи, кирпичи, кирпичи. Даже во сне кирпичи. После ра-

боты ломит плечи и поясницу. И завтра и послезавтра... Они, может быть, завидуют ей.

Но разве она счастлива? Разве она плачет неискренне?

— Ты вернешься, Наталья?

Это спрашивает Валька.

Конечно, она вернется, что за вопрос! «Я не вернуться не мог...»

Из какой это песни?

Если она приедет через полгода, через год, здесь будет уже все иначе. В прошлое ведь не возвращаются — слишком это тягостно. Прошое не переделать. Да и какой в том смысл? «Все мы разные». Она вспомнила новогоднюю ночь.

— Не знаю, Валентин, — Наталья следила за огоньком папиросы в его кулаке. — Я тебе лучше напишу.

— Напиши. Да ты не напишешь.

— Как тебе не стыдно, первому напишу!

Журчит вода в стоках. Поселок засыпает.

— Тебе трудно, Валя?

Журчит вода в стоках.

Валька бросил окурочек.

— Автобус!

Оранжевые искры косой стайкой отнес ветер.

Они все-таки приехали рано и опять остались под дождем. В вокзал идти не захотели. Петро сложил вещи под навесом какого-то склада в конце перрона. Там и укрылись от дождя.

Прибежал Михаил Глушко. Он принес матери посылку — десять кедровых шишек, припасенных с осени. Ему, видите ли, раньше не удавалось выслать посылку — то некогда, то забывал. Сегодня все-таки вспомнил. Мать ни разу кедровых шишек и не видела, можете себе представить! Будто сам он с детства бил шишки и щелкал орехи! Михаил попросил Наталью записать адрес. Мать живет в Марьиной Роще, напротив большого

универмага. Как сойдешь с трамвая, сразу налево.

Петр позвал ребят:

— Айда прогуляться. — И силком потащил Михаила к вокзалу. Тот, видимо, не собирался гулять в такую мокреть, упирался. Бригадир шепнул ему что-то на ухо, и он сразу припустил, точно бегун на финише.

— Вы куда? — спросила Наталья.

— Мы сейчас...

На дальних путях громыхал поезд.

— Ты вернешься?

— Не знаю, Валя. Ты приезжай в Москву, ладно? Я тебе Третьяковку покажу. Ленинские горы, университет. На Ленинских горах очень красиво! И письмо жди. Длинное письмо...

Он обнял ее. Она думала, что он хочет поцеловать впервые после новогодней ночи. Закрыла глаза.

Громыхают колеса.

Валька что-то говорит, но она не слышит. Он притронулся к ее щеке, убрал под платок мокрые волосы. Ладонь у него была тяжелая, пахла табаком и железом. Наталья открыла глаза, принялась завязывать платок.

— Я приеду в Москву. Найду тебя. Матери Клавдия все расскажи, как было.

— Расскажу. Только думаешь, легко это? А меня искать нечего, адрес есть.

Не поняла. Он в свои слова вкладывал совсем другой смысл.

— Прощай.

— До свидания.

По перрону бежали девчонки из Наташкиной комнаты. За ними неохотно тянулись Петро, Михаил и Виктор. С ними, кажется, был еще кто-то из парней. Вальку оттерли к стене склада. Стало шумно.

С ребятами, оказывается, пришел Глеб Трошин. Вот уж кому здесь делать нечего — все же знали про письма.

Трошин пробился в центр круга, галантно поклонился и протянул Наталье букетик подснежников.

Наталья не взяла цветы — попятилась, отгораживаясь от него рукой. Их заслонила квадратная спина Петра Быкова. Валька не понял, почему появилась эта спина, но был уверен, что так нужно. Потом еще на секунду увидел Глеба. Тот лучился улыбкой. Синее пальто на нем было полурасстегнуто, на грудь в красивом беспорядке падал шарф, белая ворсистая кепка сидела на самом затылке вверх козырьком. Улыбка вдруг сползла с лица Глеба, у собранного рта прочертились морщинки. Валька знал это выражение, оно не сулило добра. Видно, Петро его оскорбил, Петро любого может задеть за живое. «И правда, зачем Трошин здесь? И вообще так много людей ни к чему...» Валька все видел, как сквозь туман. Его не удивила нелепая поза Глеба: он лежал на спине с широко разбросанными руками. Белая кепка криво, медленно катилась по перрону. Кто-то из девчонок закричал.

Глеб пополз на четвереньках, путаясь в полах пальто, несколько метров, подобрал кепку, стряхнул ее. Встал. И, не оборачиваясь, побрел. Его покачивало.

...Поезд поплыл мимо, точно по воде.

На последнем тамбуре помигивал красный огонек. Пропал и он.

Петро сказал, что по случаю проводов не мешало бы зайти «вон туда», и показал на вокзальный ресторан.

Зал был полон, но у самого входа пустовал большой неубранный стол. Они расселись. Петро распечатал бутылку пива и налил себе в чистый фужер. Выпил и стал крутить фужер в руке.

— И нервы же у тебя, бригадир!

— А что?

— Избил человека и пиво пьет! Забыл?

— Не забыл. И не забуду. Я его выживу отсюда,

помяните мое слово! Сволочь он! И с Наташкой вся эта история — его работа.

— Послушай, Петро, — тронул его за рукав Бродский. — Только не подумай, что защищаю его... Послушай... Ты вот считаешь пижонством выступать на собраниях и уж ни за что не согласишься, чтобы тебя выбрали в какую-нибудь там комиссию. Ты, видишь ли, работага, ты брезгуешь: пусть, дескать, трепачи с трибуны речи говорят и в комиссиях заседают. Тебе покой нужен, ты голосуешь за кого-нибудь, если даже уверен, что этот кто-нибудь — дерьмо. А дерьмо, вроде Трошина, не брезгает ничем: заседает, речи говорит, твою судьбу решает, лезет в каждую щель, будто бы за правду ратует. И даже ордена умеет отхватывать. Как же иначе — на виду человек! А ты оскорблен: тебе бы медаль надо по всем статьям, заслуженно и справедливо, но получил он, глоткой взял, ужом к славе пробрался. Вот к чему ведет твоя, моя и еще чья-то пассивность. Поглубже на вещи надо смотреть, товарищи!

Петро хотел что-то сказать, но его перебил Валька.

— Ребята! Ребята! Я перенесу свою койку к вам в комнату, а?

— Тесно, но втиснем. Валяй.

— Не могу я теперь с ним вместе, понимаете!

Бродский размазывал по клеенке пивную лужицу.

— Спросить можно? Мне интересно. Как ты себя дальше мыслишь, Храмов? Ну, жить как собираешься, что ли?

— Не думал еще. Только я малость другой теперь, понял?

— Понял...

— Почему это официантки нет?

Петро вызвался сходить и все уладить. Он расчесал жидкие волосы и подмигнул: я мигочком!

Официантки исчезали за бархатной портьерой возле буфета. Значит, там кухня. Петро с легким поклоном и

вежливой улыбочкой обратился к буфетчице: почему их не обслуживают и где, простите, официантка их ряда? Тетка показала пальцем за спину: «Расстроилась что-то ваша официантка».

Петро отодвинул портьеру.

В коридорчике было темно. Остро пахло кухней. Сперва он увидел спину в прозрачной блузке. Женщина как-то странно уткнулась в угол, сломав накрахмаленный чепчик. Она держала у глаз скомканную салфетку. Плачет? Кто это ее обидел? И тут бригадира словно обожгло: он увидел волосы, стянутые на затылке в большой узел. Темно-рыжие волосы. И тронул официантку за плечо.

Маша Соловьева отняла салфетку от глаз и медленно повернулась к нему. Она плакала беззвучно.

А Петро смотрел на ее ноги. Стройные, полные ноги в дорогом капроне и в дорогих узконосых туфлях. Он сказал совсем тихо:

— Дорогие корочки носишь теперь. Наши мятые рубли не взяла, на чаевые купила.

— Петя! — она прижала салфетку ко рту.

Она пополнела, стала крупнее и, как ему показалось, на много старше. И была красивей. Только зачем так густо краситься: и брови, и ресницы...

— Простите, Петя!

— А за что прощать? Недалеко же ты уехала.

— Не на что было. Я и отсюда маме помогаю. Петя! А... Я не решалась... а к вам можно? Если вернусь примете?

— С нами идти трудно, каблуки сломаешь. — Он сунул ей тройку. Она отшатнулась. — Бери. Мы там пиво распечатали.

Ребятам Петро сказал:

— Айда в другое место. Официантка заболела. Приступ аппендицита.

В другое — так в другое. Они не удивились.

## Глава XX

### 1

Бессонов покачивался над столом и словно отделял каждое слово ударом карандаша, зажатого в кулаке.

— Я не собираюсь умалять заслуг и способностей товарища Каткова. Он энергичен, имеет неплохие организаторские данные, опыт имеет. Да. Но мы — коммунисты, и слишком часто ошибаться не имеем права.

Вадим сидел в конце длинного стола, напротив Бессонова, и скучал. Он не боялся, он был прав, вот и все.

Закатное солнце накалило окна докрасна, и по стене справа поползло алое пятно, растушеванное тенью веток. Пятно переливалось, трепетало, словно живое, и перекинулось на потолок. Там вытянулось, окрасило плафоны люстры и погасло. Стекла сразу подернулись мертвенной синью, и в кабинете стало сумеречно.

... — Партийная организация стройки при попустительстве товарища Каткова была поставлена в неловкое положение, когда бригада Быкова, вопреки решению общественных организаций, не отдала знамя «Новинскстроя» тем, кто его заслужил по праву. Такого, наверно, нигде еще не случалось, товарищи.

Вадим совсем без злобы думал:

«Может быть, нигде и не случалось, но ты и сам не знаешь, как тут быть. И я не знаю. Только слишком просто было вырвать знамя у них силой. Это значит — оскорбить чувство справедливости».

Бессонов достал из кармана записную книжку, раскрыл ее перед собой, провел по сгибу пальцем.

У него там все расписано. По пунктам. Готовился, видно, на совесть.

За столом, кроме Бессонова и Вадима, было девять человек, и на их лицах прочно держалось одинаковое выражение чуть брезгливой скуки. Вадим давно заме-

тил, что люди, привычные к длинным заседаниям, умеют рисовать зайчиков на случайном огрызке бумаги или вспоминать анекдоты, не дрогнув бровью. Он еще раз внимательно оглядел людей за столом, силясь понять, на чьей они стороне. Они слушали равнодушно, только Наумов ерошил волосы и сопел. Глаза их встретились, и начальник вдруг озорно подмигнул, а уже через миг словно подернулся льдом с головы до ног: Вадим поскрипел стулом и вздохнул: у него в характере не было вот такой основательности.

...— Или возьмем случай с краном. Для вожака молодежи, для коммуниста, поступок из ряда вон.

«Ты зато никогда, даже на полшага, не выйдешь «из ряда», но на что ты годен? Кому от тебя польза? Ты в Новинске живешь, пораньше уезжаешь отсюда, от грязи и хлопот. Ты не видел, как пьют в общежитии, дерутся в кровь, играют в карты. Ты только в доклады свои вкладываешь страницы о воспитании молодежи. Молчал бы уж — и то честнее! Печально и непонятно; детских садов не хватает, магазинов мало, клуба нет. Мы разбираем десятки заявлений, портим нервы себе и другим вовсе не потому, что государство средств не дает: напротив, говорят, разворачивайтесь, а зарботков настоящих нет, да и в основные показатели «культбыт» не входит. Я борюсь против такого порядка... против такого беспорядка, как могу, а ты почему в стороне, партийный организатор!»

— ...Больше того, он взялся единолично распределять квартиры.

«И это припомнил. А что мне оставалось делать?»

...Как-то утром еще в ноябре (на улице уже сильно примораживало) Вадим застал в коридоре комитета семью: жену с мужем и двоих ребятешек. Проход был заставлен чемоданами, а супруги прятались в тем-



ноте, виновато понурясь, и, видимо, доброго приема не ждали: их ведь никто не звал. У приезжих была смешная фамилия — Шмаровоз. Вадим вспомнил нелепую песенку поры своего мальчишества. Там была такая строка:

...И гвоздь Одессы — Костя Шмаровоз...

А этого Шмаровоза звали Михаилом. Он робко прошел следом и, терзая шапку, рассказал, что его привело сюда.

Работал экскаваторщиком на строительстве небольшой электростанции местного значения то ли под Тулой, то ли под Воронежем — где-то в средней полосе, в общем. Два года перебивались, а потом делать стало совсем нечего, и механизированный отряд враз, без предупреждения, распустили. Дали выходное пособие... И приехали они сюда.

Михаил выложил документы — трудовую книжку, права экскаваторщика, паспорт и даже грамоты за хороший труд, показал комсомольский билет.

С работой решалось просто, а вот с жильем...

Вадим затащил чемоданы, пригласил женщину.

Ее звали Оксаной. Она была голубоглаза, небольшого роста и трогательно застенчива. Беловолосая девчушка лет трех цеплялась за подол матери и грызла бананку.

Для грудного поставили спинками врозь два стула.

Вадиму неожиданные гости сразу пришлись по душе: хороших людей не так уж трудно угадать. Он посоветовал Михаилу сейчас же обежать Нахаловку: может, там у кого-нибудь удастся снять комнату. Тот ушел.

С час, наверно, Вадим писал, временами забывая, что не один в кабинете, — так тихо сидела семья. И грудной не подавал голоса. Но вот он проснулся и заплакал.

— Есть хочет, — сказала Оксана.

Вадим сперва не понял ее и вызвался мигом слетать в магазин, наивно полагая, что грудные младенцы питаются, например, колбасой или селедкой.

Мать жалко улыбнулась и покраснела, как маков цвет:

— Грудь просит.

Вадим извинился и выскочил в коридор, встал у дверей покараулить, чтобы никто не лез.

...Постепенно квартиранты освоились. Оксана пошла в столовую за кипятком, и Вадим остался в няньках. Он прижал теплый кокон из одеял к груди и запел колыбельную:

У-у-у! У-у-ю!  
Жил татарин на краю...

Ему понравилось быть нянькой.

Михаил явился уже в сумерках, расстроенный вконец: никто комнат не сдает и податься, выходит, совсем некуда. Хоть караул кричи. Его побелевшие губы вздрагивали. Вадим подтолкнул парня к окну.

— Видишь последний дом через дорогу?

— Ну?

— Значит, видишь? Послезавтра будут заселять. На подъездах замки.

— Ну?

— Селись в любую квартиру.

— Как же так?

— Вот ключ. Замки везде одинаковые.

— Не могу я...

Вадим закричал:

— Иди, курица мокрая! На меня сошлешься.

...Секретарша открыла дверь из приемной, включила свет и остановилась на порожке. Бессонов сорвался на полуслове:

— В чем дело?

— Там товарищ...— Она не успела сказать, кто. Сперанский отстранил ее, протиснулся боком, кивнул и сел с краю, устало вытянув ноги.

— Продолжайте, товарищи. Я не помешаю.

Бессонов сделал улыбку и поклонился, упираясь животом в стол: для нас это честь! Он пытался угадать, к добру или к худу такой неожиданный визит, да еще в поздний час. Секретарь обкома наезжает обычно с утра пораньше и не один, а в сопровождении...

— ...Товарищ Катков, как показала проверка, нечистоплотен и в отношении казенных денег.

Вадиму до того как-то удавалось сдержаться, но тут он вздрогнул, поднял злые глаза и долго, в упор, смотрел на Бессонова. Покрутил головой, ослабил галстук, который давил шею, и не узнал собственного голоса:

— Неправда ведь, Олег Иванович!

— Вы потом скажете, товарищ Катков. Вам слова еще не давали.

Сперанский подобрал ноги и выпрямился, настораживаясь.

— Пора закругляться, — решительно прервал Бессонова член парткома бетонщик Афанасий Проскуряков, молодой парень с холеными усиками, добродушный и смешливый. — Мы эти побаски уже слышали и слушать надоело. Вы, Олег Иванович, по существу, если можете, мы ведь не на рынке!

Наумов вытер шею платком и всем телом повернулся к Бессонову:

— Куда партком смотрел, коли так?

— Я об этом как раз и хотел в заключение. Слишком мы доверились Каткову: посланец из Москвы все-таки, бывший секретарь райкома.

— Давайте прервемся, — твердо вставил опять Проскуряков, — давно заседаем.

Курили в «предбаннике» — так шутливо назвал кто-

то приемную парткома. Вадим забился в угол, за столик машинистки, и строгал ножиком прутик, поднятый с пола. Кажется, от веника.

Сперанский стоял в центре кружка, рассеянно слушал Наумова. Остальные почтительно молчали. Тут нестати ударили часы, великодушно подаренные Наумовым, и солидно отбухали восемь раз. Сперанский уронил папиросу, нагнулся за ней, покраснев от досады.

— К вечерне звонят?

Наумов поперхнулся дымом и вперился в потолок. Бессонов принялся завязывать шнурки на ботинках. Секретарь обкома, заложив руки за спину, подошел ближе, внимательно осмотрел часы:

— Сколько лошадиных сил механизм имеет?

Ему никто не ответил.

После перерыва Сперанский попросил слова.

— Ехал я к вам за другим, но о том — позже. Позволю себе по теме вашего сегодняшнего парткома сказать несколько слов. — Секретарь вынул очки из верхнего кармана пиджака, но не надел их, задержал в пальцах, сунул дужку в рот и задумался. После короткой паузы продолжал так же медленно, с расстановкой: — Сперва я хотел деликатно поправить тебя, Олег Иванович, чтобы не обидеть, знаешь, авторитет твой поберечь, но зачем деликатничать, коли ты сам рогатиной вооружился и брюхо норовишь ему вот, — показал на Вадима очками, — распороть, не жалеючи. Прямо врагом народным представил, не меньше: и деньги он ворует у тебя, и квартирами распоряжается, и краны по стройке гоняет... Я тут не все слышал, но ты на пленуме обкома уже жаловался. Если бы тридцать седьмой год сейчас, ставь парня к стенке и стреляй. Уже готов. Спекся.

Члены парткома заметно оживились.

Сперанский продолжал:

— Ты, Олег Иванович, не без умысла берешь посту-

пок сам по себе в его крамольной окраске, не объясняя побудительных причин. Трюк старый.

Бессонов как-то сразу осунулся, посерел.

— Вы ставите вопрос как-то, Игорь Владимирович...

— Извини. Мы с тобой еще поговорим на эту тему. Я знаю, откуда ветер дует: обкому комсомола Катков не нравится — слишком норовист. И ты туда же: коли, мол, лев уже мертвый — пинать можно. Сам-то ты живых львов не пинаешь — слаб. А вопрос подготовил неграмотно. Его за комсомольскую работу, за упущения бить надо наотмашь, а ты, тут правильно сказали, побаски собираешь, как худая баба, извини. За комсомольскую работу. Как он молодежь мобилизует на решение крупных задач, вот где гвоздь. Как отдых организует при ваших минимальных возможностях...

— У него одно на уме — история, традиции...

— А что? За нашу историю краснеть не надо, за традиции — тоже. Это он правильно гнет. Только до конца довести бы! Я, товарищи, кончаю. Тема не исчерпана, и я к тому же из равновесия вышел. Это, конечно, мое личное мнение, но я то же самое и на бюро обкома скажу, если дело пойдет. Принимайте решение по этому вопросу, какое считаете нужным, а потом сообщу интересную новость.

— Предлагаю без лишних обсуждений, — поднялся Наумов, — поставить товарищу Каткову на вид. Я на него за кран сердитый. Устроил, понимаешь, Запорожскую вольницу.

Сперанский засмеялся и потряс головой:

— Далась тебе эта вольница!

Бессонов писал что-то в блокноте и сердито водил бровями. На лбу у него выступил пот.

Сперанский сказал, что буквально несколько часов назад наконец состоялось решение направить сюда первую партию военнослужащих, демобилизованных из ГДР, и не столько, сколько предполагалось сначала, а,

пожалуй, в два раза больше, поэтому нужно крепко подумать, куда и как принять людей. В Москву следует послать нашего работника, расторопного и со связями. Людей придется принимать на месте, выплатить подъемные, посадить в поезд и сопровождать. Лучше увязаться с железной дорогой и организовать состав прямого назначения. Словом, хлопот полон рот. Нужен хваткий парень. Предлагаю Каткова, я имел случай убедиться, что от него не отвертишься. Москву, слава богу, знает, сам секретарем комсомольским был. С горкомом там увяжется, с воинскими частями. Может быть, целесообразно будет на место слетать, обстановка покажет. Счет тебе, Вадим, в банке откроем, полномочиями наделим.

— С деньгами не умею.

— Научишься, наука не хитрая. Дадим тебе бухгалтера, только попозже, чего ему там баклуши бить. В общем, ждите пополнения. Ну, как? — Сперанский прикурил и крепко затянулся.

Дело!

...После парткома Сперанский задержал Вадима в приемной.

— Послушай, ну как насчет художников? Где художники?

— Есть, нашел.

— Не врешь на этот раз?

— Что вы?

— Тогда собери.

— Поздно уж...

— Тем более, не теряй времени!

## 2

...Вадим сидел в кабинете и готовил бумаги для поездки. Он даже радовался толкотне возле своего стола. В комнату набилось человек десять. Отвлекали по пу-

стякам. Сотню раз уже повторял, что занят, что у него важных дел под завязку, но им это было как о стенку горох.

Виктор Бродский притащил гору бутербродов — черный хлеб с копченой колбасой из Москвы — и радушно угощал почтенную публику. Каткову тоже положил порцию на бумажке. Все галдели. Вадим не слушал их. Без «шумового фона» он, пожалуй, уже лет пять себя не помнит. После суматошного дня в райкоме чинная тишина дома даже как-то пугала.

Но вдруг он уловил в шумовом фоне фальшивые нотки, поднял голову и сразу догадался, что ребята явились сюда неспроста — тоже, наверно, услышали, что он уезжает от них совсем. Чудные! Куда он от них денется. Теперь связаны прочно. От явно выраженных сентиментов этот народ уже отвык. И ничего у них поэтому не получалось — наигранность была слишком видна. Они жевали бутерброды и старались перекричать друг друга.

Михаил Глушко с жаром рассуждал о противостоянии Марса и о необычайной засухе, которую нынче пророчат старики.

Петро Быков неделикатно осадил Глушко. Тот не снес такого хамства и надулся. К тому же Петро напроць отвергал монополию стариков по части прогнозов погоды и вообще разных предсказаний.

Михаил драл обеими руками свою гриву и пытался привести разительный пример почему-то из наполеоновских времен. Но бригадир опередил и с примером:

— От слушай. В пятьдесят пятом году поехал я в отпуск к тетке на Рязанщину. Берданку у приятеля выпросил, удочек набрал на целый сельсовет. Места там — лучше не придумаешь: бор да озера. Но не повезло мне. Погода стояла самая распроклятая — дожди и дожди. С утра солнышко вроде проглянет и тут же нет его. Смыться неудобно — тетку обидишь. Книжки, ка-

кие были, перечитал, даже Ветхий Завет. Дрова переколол, тын подправил. Тетка Прасковья извелась, на меня глядя. И все ведро обещает. Напротив как раз дед жил. И видный дед — бородища до колен, аж путается в ней. Сколько годов прожил, не помнит и от беспамятства по двору шлындает в одних подштанниках. Я к нему как на исповедь: разъясни, папаша! Он ладошку этак к глазам поднес (Петро показал, как он поднес) и, клянусь, минут десять на небо смотрел. И важно так ответил, форсу не потерял: «А хрен ё знает, сынок!» — Петро по привычке сделал ладони ковшиком и прикрыл огонек спички, нагнулся.

Вадим заметил на его плоской макушке маленькую плешь. Сколько ему лет?

— Хватит, однако! — по возможности строго сказал Вадим. — Мешаете вы мне, честное слово! Или дело есть, так выкладывайте!

Ему не хотелось, по правде, чтобы они уходили, но не может этот перекур продолжаться весь день, тем более — многие забежали сюда «на минутку». Петро сунул в пепельницу непогашенную папиросу и переставил лампу на другой угол стола, чтобы лучше было видно лицо комсорга. Вадим подобрался в ожидании чего-то необычного. И не ошибся.

— Мне говорить? — Виктор Бродский потер пальцем кончик носа и снял очки.

— Я сам, — сказал Быков. — Я сам. Ты что, значит, удочки сматываешь? Уезжаешь, значит?

Они все сгрудились у стола и смотрели на Вадима неотрывно, с укором.

— Откуда взяли?

— Слышали. — Петро ткнул другую папиросу, только что зажженную, в пепельницу и насорил желтыми стружками табака. — Слышали. Тоже, значит, в сторону? Значит, клуб без тебя открывать будем и деньги на памятник без тебя зарабатывать будем. Нашумели-то



много, а до ума ведь еще не довели. Как же? И ты спокойный? Чемоданчик в руки — и наше вам? А у нас спросил?

Вадиму стало жарко. Он снял пиджак и бросил его на спинку стула.

«Куда я от вас денусь, если спаяны надолго? Куда уеду, если в ящике стола лежит телеграмма: «Скоро ли встретимся? Вика».

Жить потом мыслю, что предал их. Они ведь остаются и дойдут до конца. И он с ними.

— И ты спокойный? — повторил Петро.

— Никуда я не уеду, ребята! Честное слово! Или вы мне не верите? — Вадим загремел стулом, подал Быкову руку. Больше ничего не сказал, только глубоко вздохнул.

— До первого чугуна?

— До первого чугуна.

Ребята промолчали. Да и нужны ли были слова?

### 3

Вот и конец марта. Радио передает три раза в день, что в Казахстане и на юге начался сев. Но до Сибири весна еще не дошла, задержалась где-то на перепутье. Она набирала сил перед нешуточной работой — перед тем, как согнать двухметровые снега и вспороть реки.

Весной незасторно с пацанами поставить поперек ручья плотину или пустить белопарусный кораблик, всерьез надеясь, как десять, как двадцать лет назад, что будет ему попутный ветерок и доберется утлое суденышко до самых дальних стран, где нет зимы.

Итак, конец марта.

В Казахстане и на юге сеют хлеба и чистят виноградники. Там — весна. В Сибири ее только ждут. Но она уже выслала гонцов. Неслышно переваливает через Лысуху теплый верховик, прозрачно засинел березнячок у поселка. Если прижаться потеснее к стволу бере-

зы, можно услышать шорох с перепадами — это от корней поднимаются токи земли.

К апрелю поселок выглядел довольно уже внушительно: пятнадцать двухэтажных особнячков да пятнадцать «небоскребов» на пять этажей, не считая клуба, который бешеными темпами, в две смены, клала бригада Быкова. На промышленной базе, в двух километрах дальше по течению реки, начали строить первую очередь гаража на тысячу машин. У стройки, как выразался Наумов, прорезался бас.

Стройка ждала весну.

Снабженцы сваливали возле временных складов груды сапог и черных комбинезонов, чтобы с первым теплом раздать армии переднего края летнюю форму.

Поселковый Совет тяжелым языком писал инструкции о борьбе с паводком, призывая каждого сознательного гражданина грудью прикрыть площадку от стихийного бедствия, которое уверенно предрекали пункты и подпункты инструкций.

Городской трест «Зеленстрой» готовил и распределял саженцы для улиц, что родились зимой.

Да, весна ничего не сбросила со счетов, не поубавила будничной работы и не умерила страстей: то было не в ее власти.

...Воздух вздрагивал над разогретой землей. Внизу, у самой воды, проклюнулся лист на вербе и посуху лятнами вставала трава.

По тропинке, протоптанной меж кустов, шли к поселку Виктор Бродский и Валька Храмов. За ними, высунув язык, трусил бригадный пес Жорка. Возле конторы они задержались. Там, спиной к ним, стоял Наумов в синей рубашке, с пиджаком, перекинутым через руку, и командовал рабочими, которые прибавали черную табличку. На ней серебром было написано: «Трест «Новинскметаллургстрой»».

— Архипыч! — крикнул Наумов старику на крыль-

це.— Бессонов часы назад прислал, говоришь? Поставь их, пожалуйста, главному инженеру в кабинет. Распорядись, дорогой товарищ.

Виктор спросил тихо:

— Значит, трест теперь?

— Трест, дорогие товарищи. Но это только начало, впереди у нас много работы — на целую жизнь.

И вот...

Вдоль рельсов густо шли солдаты — первая партия демобилизованных, которых из самой ГДР сопровождал Вадим Катков

Они шли и шли. Под ногами колонны шелестела галька, скатывалась с насыпи, рябила воду в канаве.

Вздыхнул паровоз, туго выбросил дым из трубы и попятился в город; застреляли вагонные стыки.

В одном месте, где музыканты прямо на рельсах сложили свои трубы, людской поток круто выгибался и снова вытягивался по прямой.

Литая колонна приезжих потеряла приятное однообразие военного строя: рядом с солдатами были девушки в платках веселой расцветки и парни в кепках — хозяева стройки.

Вадим стоял на дороге и смотрел им вслед.

Голова колонны свернула в улицу. На путях стало неожиданно пусто. Трубы оркестра, сложенные рядом, купались в желтом огне. Все еще сыпалась галька с насыпи.

Солнце на минуту загородилось тучей, и по дороге, догоняя людей, побежала ее круглая тень.

Вадим пошел к своей березке. Еще издали увидел над деревцем зеленые брызги: «Принялась!» Топольки рядом уже пустили листочки, а береза только раскрывалась: из лопнувших почек робко еще появлялись на свет божий зеленые язычки.

Мимо проскочила машина, увешанная лозунгами: «Привет пополнению!», «Главное, ребята, сердцем не стареть!», «Вместе мы горы свернем!»

С этой машины только что говорили речи, немного бестолковые, но искренние.

Даже Петро Быков решился выступить:

— Мы вчера для вас, парни, кровати в новые общежития таскали. Аж спину ломит! Так что с вас... вроде полагается.

Солдаты ответили ему дружным смешком, а Бессонов сердито поиграл бровями.

— Мы вам рады, парни,— продолжал Петро.— Только, значит, давайте...— он смолк, видимо, потеряв мысль.— Только это... давайте уважать то, что нами сделано,— мало, конечно, да трудно досталось! Работать будем. Ну, вот, понятно?

...Деревце пружинило под рукой, вздрагивало.

Вадим устал. В ушах все еще стучали колеса, голова слегка кружилась, и потную шею неприятно покалывала угольная пыль.

Недавно, наверно, за час до их приезда, в поселке был дождь — неудержимый короткий ливень с барабанным пересыпом.

Шоссе теперь просыхало пятнами. За железнодорожным полотном, по ту сторону поселка, где еще не тронут был экскаваторами пустырь, изумрудно блестела трава.

Колонна уже пропала за домами. Из поселка волнами катилась музыка и глохла, недосказанная.

С карниза углового дома вспорхнули два голубя и кругами стали подниматься ввысь. Солнце — словно это был сигнал ему — выкатилось из-за края тучи и жарко плеснуло; край тучи порозовел, накаляясь, и раскудрявился.

Воздух был влажный и пахучий. Сколько теперь запахов, от которых отвыкаешь за долгую зиму!

Пахло с реки талинами, от поселка — мокрыми крышами, сладко и свежо — пиленным лесом. Еще — тополиными почками и прелью ложек. Весной пахло...

Вадим посторонился, но черная «Волга» остановилась совсем рядом, будто ей не хватало места.

С переднего сиденья кто-то стал неловко вылезать. Сперва показалась шляпа, по асфальту шаркнула нога в коричневом ботинке (через задранную брючину видна голая нога). Шляпа упала на дорогу, вяло сделала восьмерку и подкатила на край, к самому топольку. Вадим подхватил шляпу, отряхнул ее и поднял глаза. Сперанский в расстегнутом летнем пальто, всклокоченный и багровый от натуги, шарил в карманах — искал что-то. Сзади плелся шофер — чернявый парень — и вжимал голову. Поза у него была виноватая.

— Игорь Владимирович, — робко сказал шофер, — не моя же вина, поймите!

— Иди ты! — отмахнулся от него секретарь. — Тебе только покойников возить!

Шлагбаум же закрыли...

— Иди с глаз долой! Видишь, опоздали! Опоздали? — он повернулся к Вадиму.

Тот кивнул: опоздали.

Сперанский взял у Вадима шляпу, буркнул «спасибо» и, насупившись, приказал шоферу:

— Ступай.

— Вы не расстраивайтесь, Игорь Владимирович, — сейчас в клубе снова соберутся.

— В клубе, уже не то. Подожди! А готов клуб-то?

— Говорят, в основном. Сам не видел еще, — сказал Вадим.

— В основном. Здравствуй, однако. И с приездом.

— Спасибо.

— Ну, как? — Сперанский кинул шляпу на затылок и длинно вздохнул.

— Хорошо.

— Народ?

— Отличный народ! Отбирал на совесть, за каждую путевку бой шел.

— Все хотели?

— Все.

Сперанский улыбнулся и блеснул золотым зубом. Кажется, раньше этого зуба не было?

— Весна! — сказал секретарь и упер кулаки в бока, выпятив грудь. Черный галстук сбился в сторону.

— Весна...

— Пойдем, приткнемся где-нибудь, в ногах правды нет.

Они присели на скамейку без спинки. Сперанский вытащил пачку «Казбека» и протянул Вадиму.

— Не курю я.

— Извини, забыл.— Сперанский рассеянно подул в мундштук, прикурил и выпустил дым в кулак. Потер щеку ладонью:

— Как дальше мыслишь?

— Будем жить,— неопределенно ответил Катков.— Надо жить.

Он чувствовал, что Сперанский чем-то расстроен, подавлен и даже не пытается этого скрыть.

— Слушай, Вадим. Советовались мы тут с горьком, хотим рекомендовать тебя вместо Бессонова. И не скрываю — найдутся противники. Но думаю, ваши коммунисты поддержат.

Вадим молчал.

— Так что скажешь?

— Не справлюсь. И не гожусь.

— Поясни.

— Непослушный я и дров наломаю.

— Мелешь опять,— сказал Сперанский глухо.

— Выговоров нахватаю — как пить дать.

— А ты что думал? Не исключено. Новое против старого — это на словах только просто, а в жизни кро-

вушки стоит. И по зубам бьют. Но если в сторонку уйти, что же получится? Ты в интеллигентный нигилизм впадешь, я владу. Ты от греха подальше, я — тоже: больше всех мне надо, что ли! Первому попавшемуся Ван Ваньчу хозяйство сдадим по инвентарной описи? Памятку ему подробную оставим, чтобы людей любил, чтобы заставил их думать в масштабах Земли, а? Да мало ли еще дел у нашего брата... А сами на покой? Понимаешь меня?

— Да.

— Шиш с маслом твоему этому Ван Ваньчу, нашу должность, брат, не все справлять могут — особое сердце нужно, особенный характер и голова с извилинами. Также, брат, специализация. Ты вечером занят?

Он мог и не спрашивать, просто предупредить: буду ждать.

— Занят, Игорь Владимирович, — твердо ответил Вадим.

Он действительно сегодня занят: вечером приедет Вика. Разве это не уважительная причина?

— Тогда утром в горком подъезжай. Я там буду.

— Хорошо.

— Теперь — в клуб.

— Вы же от меня ответа не слышали, Игорь Владимирович!

— Почему не слышал, я не глухой, слава богу, твердый был ответ: берусь, справлюсь. Вон и шофер мой Афанасий — свидетель. Так?

Вадим вздохнул:

— Так.

Еще три дня назад Вадим дал Вике телеграмму и думал, что она приедет поездом, часов в восемь вечера, а потому не особенно торопился домой. Он обошел общежития, в которых было суетно и шумно. И решил,

что в такие минуты приедем и их гостям лучше не мешать: солдаты, вроде бы привыкшие к нему за дорогу, теперь смущались и прятали бутылки, девчонки, приглашенные на новоселье, краснели и опускали глаза.

...Он увидел Вику издали. Она сидела у подъезда на чемодане и внимательно наблюдала за тем, как маленький каток уминал тротуар. От горячего асфальта поднимался дым. За баранкой катка сидел огромный парень, над козырьком кепки у него была кокетливо прицеплена веточка черемухи.

Рядом галдели мальчишки и украдкой наступали на асфальт. На черной ленте оставались следы. Тракторист беззлобно грозил мальчишкам кулаком.

Вика улыбнулась. Глаза ее без очков были трогательно беспомощными. Она кивнула ему, будто расстались только вчера, подвинулась, уступая место на чемодане.

— Не продадим?

— Нет.

Он сел. Она сжала его руки, прильнула к плечу плотно и тепло.

— Ты как приехала?

— На такси.

— Давно сидишь?

— Не знаю. Мне не скучно. Сажу и смотрю. У вас все впервые: первая весна, первый асфальт, первые солдаты.

Он молча погладил ее плечо.

— Я тебе подарок привез.

— Подарок — это после. Хочу туда! — она показала на Лысуху. — Давай посмотрим сверху. Всю стройку увидим. И — левый берег. Отнеси чемодан, а?

...Вадим поднимался по скользкой тропинке и подавал Вике руку, когда было совсем круто...





**ХОЧУ  
УДИВЛЯТЬСЯ**

**ПОВЕСТЬ**



Текст печатается  
по изданию  
Кемеровского книжного  
издательства, 1966 г.

## Глава первая

### 1

Старые газеты на подоконнике ссохлись и пожелтели. «Странно,— подумал я.— Как это мы просмотрели весну?» Вася Залыгин высказал мою мысль вслух:

— Ну их, бумаги! Айда на улицу.

Степанида Ивановна повернула на руке часики циферблатом вверх и взяла со спинки стула свой платок.

— Обедать пора.

Она пошла обедать, а мы—смотреть весну. Во дворе было серо и мокро. Все было серое: небо, дороги, дома, крыши, снег. Только в поле, если присмотреться, тонко паутинилась зелень. То оживала верба. По небу суровым строем двигались тучи — тоже серые.

Мы потоптались на холодном ветру и неприличной рысью, пугая встречных, ринулись в столовую. Радости, про которую пишут в стихах, почему-то не было.

### 2

Целую зиму мы просидели в тесной комнатухе трое: Степанида Ивановна, машинистка парткома, Вася Залыгин, заместитель председателя стройкома, и я, куратор заводоуправления. Нас втиснули сюда без уговоров и велели ждать лучших времен.

Комната наша узкая, как шкаф, и солнце сюда заглядывает только под вечер — попрощаться.

Вдоль дома тянется канава, на откосах которой за-

стыли глинистые бугры и пики. Это — теплотрасса. Осенью о ней шумели на всех совещаниях — выясняли, кому полагается закрывать теплотрассу. Кто-то не доделал, ушел, кто-то прохлопал ушами и принял работу наобум Лазаря, кто-то еще чего-то...

Перед нашим единственным окошком каждый день разыгрывался спектакль по одному сценарию, но с разными действующими лицами.

— Занавес открывается! — чревовещал Залыгин, и мы наваливались локтями на столик машинистки.

На дороге впритык, согласно табели о рангах, останавливались разномастные машины: впереди «Волга», дальше «Победа», газики и в хвосте «коробочки» — грузовики с кузовами, крытыми брезентом. Из легковых медленно выходило руководство, из «коробочек» сыпался народ попроще — прорабы, мастера и бригадиры. Руководство монументально, руки за спину, выстраивалось на краю канавы и покачивало шляпами, мастера самоотверженно скатывались вниз, на дно, где, как спина огромной рыбы, блестела труба, пинали комья глины и, задрав головы, давали объяснения. Потом все повторялось в обратном порядке. Хлопали дверцы машин, занавес падал.

Вход к нам с торца, через косое крылечко в три ступеньки; над крылечком балкон. На балконе кто-то с завидным постоянством вывешивает сушить самые интимные части туалета. Это, конечно, нехорошо, и я вполне разделяю возмущение секретаря поссовета Марии Петровны, кокетливой блондинки лет тридцати, что жилец второго этажа потерял чувство меры. Мария Петровна не раз приглашала меня быть свидетелем сурового акта правосудия над зарвавшимся гражданином, но я вежливо отказывался. После переговоров кальсоны исчезали с балкона, но через день-два появлялись снова как знамя несломленного духа.

Наша дверь по коридору последняя направо. У

окошка, ближе к свету, столик машинистки, напротив сижу я, по правую руку от меня — Вася Залыгин. Между разнокалиберными столами можно протиснуться только одному человеку, второй должен становиться в затылок первому и выкладывать свою просьбу буквально через голову.

Новички сперва обращают внимание на Степаниду Ивановну, поскольку она самая солидная из нас. Ей лет, наверно, сорок или больше. Она вся, как шутит Вася, выполнена в стиле рококо, то есть состоит из окружностей. Плавные переходы, мягкие линии... Глаза у нее черные и тоже круглые, подбородок двойной, над верхней губой — бородавка. Эта бородавка с кустиком кудрявых волос к глубокой старости Степаниды Ивановны будет здорово пугать малых ребятшек.

Печатает она быстро, но делает уйму ошибок, а слова «самоустранился», «демагог» и «самочувствие», которые так любит употреблять секретарь парткома в своих докладах, выше ее понимания.

В ней мирно уживается здравый смысл и поразительное в некоторых вещах невежество. Особенно трудно приходится с ней Васе, вокруг которого всегда толкуются люди, и у каждого важное дело: один спрашивает, как получить ссуду на застройку, второй хлопочет о путевке на курорт, третьему нужна квартира. И Степанида Ивановна никогда не упускает случая вмешаться:

— Вася, не то говоришь товарищу. Пусть товарищ сперва справочку представит о составе семьи, в домоуправлении такие справки дают.

Она не останавливалась до тех пор, пока обстоятельно не перебирала все возможные варианты, которые могут возникнуть перед просителем на крутой бюрократической лестнице. Вася только головой дергал. Оборвать ее он не смел — неудобно при посторонних,

да и бесцеремонность машинистки иногда приносила пользу.

Помню, обложил нас, как медведей в берлоге, замучил пенсионер Скворцов — этакий на вид добренький старичок-боровичок: росточком маленький, борода-ка клинышком, суховатый батожок в руке.

Утром постукивал в коридоре батожок, открывалась дверь и впускала очередную информацию из неистребимого мира зла. Старик был пропитан гражданской ненавистью к беспорядкам: он жаловался на длинные очереди за картошкой, доподлинно знал, что пекарь в хлеб добавляет мякину, что директор детского сада ворует манную крупу и со двора магазина другую неделю не убирает битое стекло, о которое могут порезаться труженики (зачем, спрашивается, труженикам путаться во дворе магазина!). Пенсионер олицетворял собою живую и неподкупную совесть народа, требовал принять срочные меры и грозился писать вплоть до ЦК. Когда он уходил, нам с минуту искренне казалось, что мы люди с холодной кровью и черной совестью. Выхода не предвиделось, это был печальный тупик: ведь если расследовать хотя бы поверхностно жалобы боровичка, нужно было предусмотреть штатным расписанием на худой конец дюжину широкоплечих парней с детективными наклонностями.

Степанида Ивановна не ведала этих мук и спала спокойно. Но старик надоел, наконец, и ей. И она как-то сказала, прихлопнув пухлой ладошкой зевок:

— Скворцов, а у тебя сын пьяница, житья никому не дает. И ты такой же. Ступай себе и не тряси тут штанами!

Все, мы пропали!

Батог сердито споткнулся возле кабинета парторга. Теперь на Залыгина посыпятся желчные анонимки во все адреса. Прощай, покой, прощай, весенняя лазурь и потеплевшее солнце, до свиданья, молодость! Но ста-

рик исчез, как тать в ночи, и унес с собой фанатическую преданность истине.

Мы ждали его победоносного возвращения, как жертвы ждут палача. Но он не вернулся. Степанида Ивановна заслужила плитку шоколада, и мы преподнесли ей с аванса. Этот шоколад вручили, не объяснив, за что, ибо боялись поощрять ее деловые наклонности. Она съела подарок и обезоружила нас своей пронзительностью:

— Я этого сквалыгу давно знаю. У них вся семья такая.

— Раньше надо было отвадить его, Степанида Ивановна, — ведь сколько крови испортил!

— Вася обижается, когда я вмешиваюсь, не вижу, что ли.

Впрочем, хватит о машинистке.

### 3

Осенью я столкнулся на крылечке со странным парнем. На дворе сыпала пороша вперемежку с дождем, задувал холодный ветер. Даже в добром пальто я сразу озяб, а на нем была легкая курточка и куцые вельветовые штаны. Вообще он как-то вылез из своей одежды, словно подросток, который сильно обгоняет бюджет родителей.

— Здравóво!

Я сперва хотел осадить его: никто, мол, вам не подавал повода для фамильярности, но он лучился такой неподдельной радостью, что как-то не посмелось сказать грубость.

Парень был черноволос, чернобров, широкоскул, и российский нос, лишенный всякого благородства, не портил в общем приятного лица. Парень протянул мне мясистую руку:

— Василий Залыгин. — Нагнулся, крепко прикатал

мокрые волосы ладонью и снова заулыбался.— Будем, значит, знакомы. Через сколько месяцев завод пускают? Я до первого чугуна приехал поработать. Ты инженер? Ты, конечно, знаешь?

Святая простота! Через сколько месяцев. Через сколько лет, спросил бы. Верно, я инженер и как раз поэтому не знаю, когда пустят домну. И никто не знает, но если судить по темпам, в начале будущего столетия. Впрочем, сколько бы ни срывали правительственных сроков, газетчики все равно напишут, что она пущена досрочно.

— Вы поспешили,— сказал я ему.— Сильно поспешили.

— Шутишь?

— Нисколько.

Он не поверил и легкомысленно отмахнулся. Переубеждать его, как я понял, было совершенно бесполезно. Блажен, кто верует, но это пренебрежение задело меня. Тоже знаток! И кто ты такой, собственно, есть?

— Ты куда идешь? — спросил он, не замечая моей обиды.

— Обедать.

— В столовую?

— Да.

— Айда вместе. Только вот куда чемодан деть? К тебе можно?

— Что ж, пожалуй...

В столовой Зальгин кроме первого, двух вторых и нескольких стаканов молока выпросил у раздатчицы Нади большую очищенную луковицу и съел ее наполовину с солью. Он так смачно хрустел луковицей, что мне казалось, будто этот хруст был слышен на улице.

После обеда он чихнул пять раз подряд (я сосчитал невольно), подвинул стул ближе, и пока я, обжигаясь, пил кофе, рассказал свою биографию, видимо, искренне полагая, что она заслуживает внимания.



Сам он с Кубани, со станции то ли Радостной, то ли Благодатной. Окончил филологический факультет МГУ, получил свободное распределение и подался на стройку в поисках впечатлений. Пишет, разумеется (кто в наше время не пишет!). Крупного пока ничего не создал, но несколько очерков напечатал в центральных газетах. Работать будет там, куда примут, он ни на что особенно не претендует (чего бы ради?).

«Что за парень? Или безнадежный дурак или простая душа?.. Да зачем ломать голову? Сейчас вот допью кофе, скажу «привет» и разойдемся в разные стороны». Так мы и сделали. И я вовсе не предполагал, что мне доведется просидеть долгую зиму рядом с ним в тесной комнате на первом этаже.

#### 4

С месяц или чуть больше я встречал Залыгина изредка и мельком то на бойком перекрестке, то в магазине или столовой. Он носил брезентовую курточку зеленого цвета поверх фуфайки и стеганые штаны. Работал он бетонщиком сперва на домне, после, кажется, там же на монтажном участке. Жил в новом общежитии на краю поселка, у самой березовой рощи. Приглашал как-нибудь забегать в гости. Я обещал, при первом же удобном случае забежать. Оба знали, разумеется, что все это пустое. Но так уж заведено: была бы честь предложена.

Наступила зима...

После снегопадов прочно стали морозы. Темнело быстро, и даже утро несло в себе меланхолию увядания: едва осыплется серой окалиной дымка, заголубеет небо, как на востоке выковывается уже бронзовая полоска заката и приходит вечер. Вокруг фонарей трепещут радужные венчики света, низко лежит туман, и кажется, что ты бредешь по колено в реке. Бредешь, как

во сне. Зимой и тьма особенная — она плоская, точно лист железа.

Хорошо и покойно бывает в такие дни, когда тихо падает снег.

Пахнет холодной далью, льдом, сосновыми досками, вкусным печным дымом.

Все-таки и зимой жить можно!

## 5

Как-то Степанида Ивановна явилась на работу в приподнятом настроении, потому что муж (сам) подарил ей в день рождения золотую браслетку для часов. Браслетка была велика, но Степанида Ивановна считала, что не в размере суть — зато вещь тяжелая, и цена ей соответственно выше. А золото, мол, на черный день всегда сгодится. По ее настоянию я прикинул покупку на вес, рассмотрел ближе, и уши мои налились жаром. Мне сделалось неловко, будто я был уличен в мелкой краже. Вовсе не из золота оказалась браслетка — просто это была аляповатая поделка из дешевого сплава. Такие продают в глухих деревнях и в отделе «уцененные товары» при больших универмагах. Там можно увидеть великаньих размеров боты без застежек, ядовито-зеленые курточки из плюша, кирзовые сапоги и вот эти безделушки.

Я не хотел, чтобы она заметила мое смущение, и отвернулся.

Степанида Ивановна щебетала, как семнадцатилетняя девочка, о семейном счастье, о том, насколько важно для женщины внимание мужа. Ее Иван порядок знает. Конечно, не без того чтобы не выпить, погулять когда в компании. Ну так, по-людски, прилично. И вот уже что правда, то правда — никогда не забудет ни о ней, ни о детях.

Я думал: «Пусть тешится. Кто-нибудь скажет правду

про браслетку, злая баба скажет. Мало ли злых баб».

...Рассыльная заводоуправления принесла кипу чертежей. Я расписался в журнале и сел разбирать синьки. Вовремя пришла рассыльная!

Застучала машинка. Поговорили и хватит: делу — время, потехе — час.

Степанида Ивановна печатала очередной доклад секретаря парткома стройки с длинным названием: «О мерах по улучшению политико-воспитательной и массово-политической работы среди комсомольцев и молодых строителей».

...В тот злосчастный день нам так и не дали покоя.

Часов около одиннадцати вдруг нагрязнул начальник АХО — сумрачный дядька, у которого, судя по выражению лица, постоянно болели зубы. Он прошел в угол, оглядел комнату и крикнул кому-то в коридор:

— Несите, влезет!

Двое пожилых рабочих стали боком протискивать к нам неопределенного цвета стол с четырехзначной цифрой на торце, намалеванной белой краской.

Я сперва не придавал значения этим манипуляциям, только ждал, когда закроют дверь, потому что дядьки напустили холода, но Степанида Ивановна смотрела в корень. Она спросила в пустоту голосом главного обвинителя на громком процессе:

— Совесть где? Где совесть?

Начальник АХО, кажется, не знал, где совесть, — смолчал, прислушиваясь к нарастающей зубной боли.

— Я ведь пожалуюсь. Управы на вас не найдется, что ли!

— Согласовано, — мрачно ответил АХО.

— Третий здесь лишний, не видите, что ли!

— Некуда. Согласовано.

— Кто дал команду?

— Партком. Постройком.

Степанида Ивановна грозно подобрала губы, наки-

нула на плечи пуховый платок и пошла искать правду в вышестоящих инстанциях. Вернулась она скоро, была убита и даже не объяснилась со мной. Да и зачем слова — и так ясно, что правды нет. Машинистка со злом навалилась на доклад, будто подрядилась работать сдельно-прогрессивно. Брови ее были туго сжаты у переносья. «Да, — подумал я. — Третий встретит суровый прием!»

...А третьим оказался Вася Залыгин. Это, конечно, не фонтан, как здесь говорят, но могло быть и хуже.

Вася носил теперь кургузый серый пиджачок и предосудительно узкие вельветовые штаны табачного цвета. Я не ошибся, когда предсказал ему мысленно массу неприятностей из-за этих брюк, потому что комсомолья стройки, безнадежно отставшая от новых веяний столиц, еще вела с узкобрючниками непримиримую и последовательную войну, иногда недозволенными средствами.

Залыгин сел и, подперев обветренным кулаком щеку, отвернулся к окну.

Степанида Ивановна уставилась на него с брезгливой опаской, как на больного.

Вася сказал самому себе:

— Зима. Морозы, черт! У нас на Кубани осень яблоками пахнет и дынь полно. У матери во дворе павлин ходит. Не верится даже, что такое может быть сейчас.

И правда, нелегко представить, что где-то сейчас нет снега и зимы, что там пахнет яблоками и по двору бродит павлин, распустив шикарный хвост, а по дорогам пылят машины, доверху груженные дынями. Дыни, наверно, скатываются с кузовов, хрустко раскалываются, источая бархатистый аромат. Где-то в омутах на черную воду падает лист, распуская рябь, всплескивает рыба, осыпаются подточенные на излучинах берега. Там бездонно-голубое небо, простроченное птичьими стаями. И на зорях сочится отовсюду стеклянный стон журавлей...

Бывает, зимой вдруг остро затоскуешь по всему этому. Но тоска быстро проходит. В самый зной летом появляется вдруг желание помять в кулаке снежный ком так крепко, чтобы сквозь онемевшие пальцы потекла вода. Что поделаешь, нам всегда хочется несбыточного!

Я пожалел Васю Залыгина. Его убил холодный прием, расстроила убогая обстановка комнаты и, может быть, новая, непривычная роль, которой он совсем не знал. А скорее — все вместе. Он держался скованно и робко.

— Устраивайся, как-нибудь обойдется.

Степанида Ивановна сочла мою попытку смягчить удар явной изменой и еще злее застучала на машинке.

— Вас как зовут, мы не познакомились? — застенчиво спросил ее третий лишний и протянул руку. Рука его долго висела без ответа. У меня опять покраснели уши. Степанида Ивановна наконец сдалась — сунула в его ладонь кончики пальцев, собранные щепоткой, и назвалась.

Я вздохнул с облегчением: худой мир все-таки лучше войны.

...Сразу стало ясно, что Вася Залыгин работник не кабинетного стиля. Скоро мы со Степанидой Ивановной уподобились спарринг-партнерам, на которых великий чемпион отработывает свои зубодробильные финты.

Началось с приятного.

Однажды пришел средних лет слесарь автобазы в робе, промасленной до блеска, и спросил «черного паренька из постройкома». Выяснилось, что Залыгин здорово помог слесарям. Там, в мастерских гаража, обещанного ждали три года, а этот парень провернул дело за три дня — достал листовой меди.

— Ребята мне наказали: «Ступай, Иваныч, скажи ему спасибо».

Мы обещали передать спасибо. Нам было лестно, будто и мы доставали эту листовую медь — материал очень дефицитный.

Но скоро медаль показала обратную сторону.

...Женщина с испитым лицом мученицы сунула Степаниде Ивановне требование на туалетное мыло и просила подписать без проволочек, поскольку ей надо поймать еще какого-то Мясоедова («совсем заелся, вражина!»).

В подписи, конечно, было отказано, но просительница металлическим голосом пригрозила вырвать свое из горла: ей ведь обещал содействие и помощь сам товарищ Зарубин из стройкома, он велел зайти именно сюда, в комнату семь.

— Может, Залыгин?

— Ну, чернявый такой, молоденький... Кто я? Завхоз из детского сада. Мне хозяйственное мыло не нужно, мне туалетное дай. Дети же!

— Залыгина нет, а бухгалтерия — это в тресте. Туда и обращайтесь.

Следующим был колченогий дед с ухоженными гренадерскими усами. Он нам объяснил, что трест содержит небольшую конюшню, и Вася Залыгин грозился ликвидировать ее на днях по причине нерентабельности. Дед упорно не хотел садиться, косноязыко намекал на знакомство с самим Буденным и был глубоко убежден, что ликвидация четырех коней приведет трест и стройку в целом чуть ли не на грань катастрофы. Он удалился с достоинством, приседая на кривую ногу.

И так каждый день.

Терпению нашему приходил конец, и я, чтобы урвать хоть немного времени для собственной работы, обрел силой обстоятельств замашки матерого бюрократа, научился на каждого смотреть исподлобья. Я небрежно брал заявление, читал через строчку и спрашивал:

— Вам что?

— Там же написано! — сразу взрывался жалобщик, морально подготовленный к самому худшему, и тыкал

в бумагу пальцем.— Черным по белому написано! Или читать разучились?

— А вы на меня не кричите, не дома!

— А я и не кричу!

— Спокойно оно лучше. По этому вопросу первая дверь направо.

— Залыгин сюда велел...

— Мало ли что он велел! Первая дверь, русским языком сказано.

Редко кто возвращался назад, и уж если возвращался, нам бывало туго. Но лучше уж выпить горького полную чашу, чем в час по ложке.

Терпение, повторяю, таяло и потом лопнуло.

Степанида Ивановна пожаловалась начальству, что не стало никаких условий для работы. Васю заставили упорядочить свою бурную деятельность и установить приемные часы. Он на нас надулся. Но сердиться долго он не мог.

Я все присматривался к нему и старался дознать, кто же он, собственно, есть: дурак, ловкий карьерист, который не жалеет сил для достижения какой-то цели, или простая душа? Но скоро я понял, что он из породы тех редких людей, бескорыстие и простота которых кажутся неестественными— до того они выпирают наружу. Бесхитростный, чистый и наивно доверчивый. У меня этих качеств нет, и, может, потому мы быстро и крепко сдружились.

## Глава вторая

### 1

Итак, весна.

Воздух поголубел и сделался звонче; на деревьях загомонили птицы. Я видел даже снегиря. Он залетел к

нам из тайги, наверное, от избытка весенней удали: снегирь ведь не любит городов.

Сосульки на карнизах заострились иглами, с них капилась, весело рассыпаясь, капель, и в каждой капле подрагивало золотое зернышко.

Ранняя весна некрасива, может быть, но радуется, потому что сразу щедро распахивает мир во всю ширь, как меха гармони на свадьбе. Отовсюду льет свет, и талые поля напоминают сонное море, усыпанное блестками. Пахнет в такие дни набухающими почками, прелью ложков, холодной сыростью. К этим запахам привыкаешь заново и долго.

Поселок наш напоминал новую квартиру, куда второпях свезли вещи и не успели расставить. Беспорядок временный. Правда, строители говорят, что самое постоянное на площадке — именно временное. Шутка не так уж далека от истины.

...Я курирую два цеха из группы вспомогательных — литейный и механический.

Зиму прожил вольготно, но к весне Гидроспецстрой начал рыть котлованы под фундаменты, и забот прибавилось вдвое: надо было проверять объемы работ, готовить подрядчикам поток технической документации, подписывать справки на оплату в банк. Вообще куратор — должность неуютная, поскольку связана с деньгами. Интересы государства блюсти не так-то просто, если от тебя зависит, сколько заплатить.

Вася Залыгин по настоянию секретаря парткома, как я уже говорил, установил приемные часы и три раза в неделю аккуратно, но с видимой неохотой, высиживал положенное и пропускал мимо своего стола длинную очередь страждущих. Ему претила дисциплина.

Словом, все трудились как могли, жили как получалось.



...Было утро. Солнце еще неясно проступало за дымкой, но на южной стороне улицы уже лежали легкие румяна, на дороге теплел ночной ледок. Потом туман разом взмыл — и крыши, кусочек чистого неба подернулись розовым лаком.

Я стоял у окна и любовался этой картиной. Мимо топились люди и не замечали хорошего утра. Только одна девчонка в синем комбинезоне и вязаной шапочке с бобончиком поняла меня и остановилась. Показала на небо, повела кругом: тебе тоже нравится?

Эту девчонку я не знал и вроде не встречал ни разу. А она с опаской потопталась на краю канавы и, раскинув руки, скатилась вниз, перепрыгнула через ручей, выбралась на нашу сторону и постучала по стеклу. Я не удивился: сегодня люди имели право на странности.

У нее было своеобразное лицо: широкий лоб, чуть продолговатые черные глаза с бархатной глубиной, большой рот и маленький квадратный подбородок. Чего-то не хватало этому лицу — законченности, что ли?.. Но глаза! В них была умная смешинка и лукавство. Такой палец в рот не клади. Она, конечно, воспитывалась в тонкой интеллигентной семье, а комбинезон натянула недавно и ненадолго.

Она играла в классы на асфальте, бегала, нескладная и заносчивая, с нотной папкой в музыкальную школу, была мальчишек острым кулачком, летом ездила с мамой на море, привозила оттуда цветные камешки и гербарии для ботанического кружка. Незаметно выросла и не очень менялась характером.

В общем-то, кто ее знает, может, она и вовсе не из интеллигентной семьи и не ездила на море, не училась в музыкальной школе.

Девчонка крикнула:

— Откройте!

Разве такой откажешь! В детстве, наверно, по ее капризу пацаны лазили по ржавой пожарной лестнице на крыши и стреляли из рогаток в дворника.

Я мигом взобрался на подоконник, чтобы опустить верхнюю задвижку, и наступил на розовую Васину папку с надписью «неотложное». Рифленый след моего сапога был похож на огромную печать. Залыгин рассердился:

— Ослеп?

— Не клади куда попало! — Я швырнул папку ему на стол и изо всех сил дернул филенку. На голову мне посыпалась замазка и куски прелой бумаги. Степанида Ивановна демонстративно чихнула. Собиралась чихнуть еще раз, но, кажется, раздумала: она поняла, что я не уступлю. И как уступить, если девчонка ждала!

Между рамами, в лохматой пыли, лежала бабочка и трепетала крыльями. Я распахнул окно и поднял бабочку. Она вздрогнула на моей ладони.

Девочка увидела мою добычу и засмеялась. Так вкусно смеялась, что у меня растянулись губы.

— Не летит?

— Нет.

— Вот беда, правда?

Под Степанидой Ивановной заскрипел стул, и я спиной почувствовал, как она сейчас берет свой платок и кутается, поводя плечами, и наверняка поджимает губы — боится сквозняка и не одобряет моего легкомыслия: я ведь, что ни говори, человек женатый. Вася не отрывался от стола и корчил из себя шибко занятого.

С подоконника скатились газеты, зашуршали страницы доклада, сложенного стопкой, — в комнату озорно рвался ветер.

— Подарите мне, пожалуйста, вашу бабочку. — Девчонка стянула желтую варежку — Ради бога!

Но бабочка рассыпалась в моей ладони.

— Не летать ей!

— Нет!

— Чем могу служить? — я попытался раскланяться, но уперся спиной в сейф лягушечьего цвета (последнее приобретение Васи), похожий на средневекового рыцаря.

— Извините (снова заливистый смех). У вас такой вид был...

— Дурацкий?

— Ну, это грубо. Нездесьний. Так лучше.

— Я от природы такой чуткий. У нас в семье сплошь чуткие. Мой дядя на фаготе играет.

Она заглянула в комнату и прижала палец к губам. Глаза ее заблестели.

— Кто это там серьезный такой?

— О! Это Вася Залыгин. Массы открыли в нем талант.

Он даже не посмотрел в нашу сторону. Он сегодня, черт возьми, на самом деле испортился.

— Раньше он был бетонщиком, теперь — крупный общественный деятель. Только выдвижение не пошло ему на пользу.

— Да? Почему?

— Зазнался и очерствел.

Васю, конечно, проняло. Он фыркнул, как еж, на которого наступили, размял папиросу и вышел курить в коридор.

— Есть надежда, конечно, — смягчился я. — Есть надежда. Да.

— Вы помогите ему, ладно? — попросила она вполне серьезно и вынула из кармана курточки аккуратный пакет из синьки. Пока я разворачивал жесткую бумагу, девчонка успела перебраться через канаву обратно, остановилась там, помахала мне снятой варежкой. Она опять смеялась, но я уже не слышал смеха. Она побе-

жала, и бобончик на ее шапке, кажется, названивал с переливами.

В синьку был завернут маленький букет подснежников. Цветы ничем не пахли, разве только чуть-чуть мокрым лугом.

Я так и не спросил, как ее зовут: не успел.

Стакана в комнате не нашлось, и я воткнул подснежники в горлышко бутылки из-под чернил и поставил бутылку на подоконник.

После обеда, ближе к вечеру, Степанида Ивановна вдруг решила заняться уборкой. Редкий случай! Второй вроде на моей памяти? Техничка мыла полы и протирала наши письменные приборы каждый день, но по темноте своей боялась прикасаться к бумагам, полагая, наверное, что от перемены места на столе любой документ сильно проигрывает.

Первым делом Степанида Ивановна схватила бутылку — вещь в комнате не самую громоздкую — в горлышко которой я давеча воткнул букет. Она уже примерилась выбросить цветы в форточку, но я гаркнул:

— Зачем!?

Спина ее сразу обмякла. Она дернула плечом.

— Вот добро-то! Теперь подснежник везде растет, не знаю, что ли!

— Поставьте бутылку на место! Пожалуйста.

— И так негде повернуться.

— Сейф лучше выбросить. Сейф мешает.

— Мне-то что. Я поставлю.

Степанида Ивановна не вышла, а покинула помещение, каменная от обиды, но настроение мне испортить не смогла: у меня в этот день была толстая кожа.

Во дворе все сильнее наигрывала капель.

На вытоптанном пятачке у крыльца милиции пацаны играли в городки; носатая старуха в телогрейке с чужого плеча напротив, за дорогой, расстелила чистую

мешковину и вывалила кучу изумрудных огурцов из теплицы. Она торговала с достоинством — товар говорил сам за себя и не нуждался в рекламе.

Я смотрел в окно. Интересно было смотреть. Что-то неуловимо новое родилось сегодня.

Вася Залыгин помешал придать этой мысли философскую глубину. Он был взлохмачен, как воробей после драки, и виртуозно ругал чиновников, которые мешают ему пустующий особняк взять под десткий сад, потому что, видите ли, особняк стоит на балансе не треста, а Гидроспецстроя. Глупое выражение — стоит на балансе! На советской земле стоит, если хотите!

— Баланс — это сила, — назидательно сказал я.

— Иди ты, знаешь...

Вася заблуждался, и я, как старший товарищ, должен был немедленно рассеять это его печальное заблуждение насчет баланса.

— Что говорит физика о трении? Физика говорит: не будь трения, мы бы с тобой катались на собственных ягодицах, как горошины в сухом стручке.

— Дурак!

— Так же и баланс. Не будь балансов, вещи и ценности забыли бы своих хозяев. У нас не частная лавочка, у нас государственные организации, и в каждой организации так называемые материально ответственные лица. Они вроде якорей, брошенных так сказать, на дно морское, чтобы большие корабли не уносило из гавани. Я э-э-э достаточно популярно объясняю? Не слишком ли много аллегорий? Я хочу выбить из тебя анархический дух, слепое отрицание наших достижений. Достижений наших не отрицают и враги. Да.

— Не паясничай! — Вася сморщился и подул в мундштук папиросы. — Ты мне надоел!

— Я ему надоел! Учись глупец, пока я жив!

Мы поссорились. И, конечно, не в последний раз.

Цветы в бутылке повяли, и я их выбросил. Но девчонка явилась, снова такая же смешливая и загадочная. Бросила мне несколько прутиков вербы, туго перевязанных ниточкой. Верба уже отходила, и серьги ее, мягкие, будто кроличий пух, были пересыпаны охряной пылью, которая пачкала руки.

Девчонка не стала разговаривать. Только белозубо улыбалась издали. Я хотел посоветовать ей, чтобы следующий раз добиралась к нам мостиком. Это дальше, зато удобней, но она уже убежала.

Вася поднял голову и посмотрел мимо меня застывшими глазами. Щеки его порозовели, и брови прыгали.

— Ты ее знаешь?

Я в прошлый раз заметил, как он изменился в лице, когда она принесла цветы. И теперь вот краснеет. Не ради же меня она бежит сюда, такая красивая и молодая! Мне никто никогда не посылал любовных записок и не назначал свиданий. И я не сетую на свою горькую участь — давно смирился, еще в детстве, когда мать вытаскивала меня из-за своей спины и представляла знакомым — ушастого, тощего и конопатого. Знакомые на физиономии кривые улыбки и начинали хвалить мои выразительные глаза. В них, говорили они, много мысли. Позже во мне находили чувство юмора, и в студенческие годы вдруг выяснилось, что из меня может получиться даже ученый. И тогда нашлось естественное объяснение моей некрасивости: «Талантливые люди всегда страшные». И сразу добавляли, чтобы рассеять некоторые сомнения на этот счет: «Поганини, например». Убедительно, конечно! Мне никогда не удастся избавиться от сознания собственной неполноценности. А носить камень в себе неприятно. Оттого, наверно, я такой и злоязычный.

— Ты ее знаешь? — пришлось повторить громче, потому что Вася не слышал.

Он очнулся и скривил губы: с какой стати! Его легко было уличить, как, впрочем, всякого, кто не умеет лгать. Но я не любопытный: не хочешь — не надо.

Степанида Ивановна, однако, была уже в курсе.

По фамилии Клочко. Звать Галиной. Приехала из Москвы после института и работает в техотделе треста. «Что я, не знаю, что ли!»

Она отчеканила это, как срочную телеграмму. Поправила свою браслетку и замолчала. Она еще не простила меня и сердилась.

Вообще в последнее время у нас стало скучновато. Вася все чаще замыкался. Степанида Ивановна получила участок для сада и увлеклась крестьянством со всей силой перезревшей страсти и воспринимала нас лишь как неизбежную часть канцелярской обстановки.

...А на дворе все теплело.

Оживала трава, в поле скатывался последний снег.

В конце апреля был первый дождь. Он упал теплый и редкий. Он будто робел ударить в полную силу — с барабанным пересыпом и плеском. Так ударить, чтобы захлебнулись стоки и обновились улицы. Дождь упятал дороги, растушевал пыльные окна и бусинками застыл на штакетнике.

Я вышел на крылечко покурить.

Тучи уже разметало, и солнце приятно грело затылок. Его закатный свет косо бил из-за горы. Вдали едва уловимо блестела река. У крыльца, почти напротив, дымила испариной куча досок. Пахло сосновой корой и мокрым железом крыш.

Было шесть вечера. Конторы закрыли, и сторожа, не снимая берданок с плеч, забивали в скверике козла.

Я курил и ни о чем не думал.

С почты вышла девушка. Остановилась тут же и

принялась читать письмо. Тетрадные листки в ее руке загибал ветер. Она расправляла листки о грудь и сердито водила бровями. В другой руке держала разорванный конверт. Это была Галя Ключко, наша знакомая. На ней были синие отглаженные брюки, заправленные в ботинки с длинными голенищами, синий же свитер с белыми елочками. Ее короткие волосы шевелил ветер. Читала она сосредоточенно, даже шевелила губами.

— Что там пишут? Здравствуйте!

Она сунула письмо в карман, перебежала тротуар и стала рядом со мной. Сделала это совершенно естественно, будто мы старые друзья.

— Что пишут? Да ничего особенного. А вы скучаете?

— Подышать вышел. Работаю.

— Что так поздно?

— Не успеваю. Теперь горячка.

Она перебирала по перильцам нервными пальцами, улыбалась закату и, наверно, своим мыслям. Я рассматривал ее внимательно, потому что она меня занимала, неразгаданная.

У нее все-таки, своеобразное лицо: широкий лоб и узкий подбородок лопаточкой. Асимметрично, но неуловимо благородно. В ней, как говорят, чувствовалась порода. И глаза. Не просто черные, а бархатисто-черные, мягкие, без дна. Тонкие капризного рисунка, губы. Она, по-моему, не так уж простодушна, какой кажется сперва.

— Вас зовут Галиной?

— Знаете, по латыни Галя — курица.

— Ну уж...

— А вас как зовут?

— Семен Галенко, к вашим услугам.

— Очень приятно.

— Не думаю.



— Почему же? — Она повернулась ко мне и наморщила лоб.

— Да так...

— Где же ваш синенький?

Я не понял. Она засмеялась и объяснила, что различает людей по цвету. Это трудно передать словами, это надо чувствовать. Характер, привычки, короче, сущность человека можно определить цветом. Не слышали?

Оказывается, Вася Залыгин — синенький. Вот бы не подумал!

— Теперь это модно, — сказал я. — Теперь научились видеть ухом, слышать глазами, цвета различать всеми частями тела. Я в «Труде» недавно читал про девчонку, которая через стенки сейфа видела печати. А вы для определения сущности своих знакомых не пробовали пользоваться нотами? Нотами удобно: до, ля, ми, фа... Нет? Жаль.

Я попытался представить, какого цвета, например, Степанида Ивановна.

Получилось что-то неприличное.

— Ну, а я какое место в вашей палитре занимаю? Она пощелкала пальцами и задумалась.

— Вас пока не воспринимаю...

— Так и знал. Вася, значит, синенький?

— Темно-синий.

— Вот как!

— Вы почему мои цветы в воду не ставите, они же быстро вянут?

— Да как-то знаете...

— Я на вас сердита. До свиданья.

— Подождите.

Я хотел ее задержать, но и мне надо было срочно ретироваться: симпатичная блондинка из поссовета делала невдалеке боевой разворот: на балконе опять висели кальсоны.

## Глава третья

### 1

Прораб Гидроспецстроя — пожилой солидный мужчина — ушел от меня с тяжелым вздохом: я отказался платить за липу. Прораб знал, что я прав, но он знал, что другие-то платят, и мое упрямство относил только за счет молодости. Обещал «это так не оставить».

Я пожалел его. Вообще после таких разговоров бывает неприятно и хочется побыстрее отвлечься, чтобы не думать о вечном разрыве между хорошими намерениями и плохой практикой.

С самого утра меня что-то тихо беспокоило. Эта смутная тревога не оставляла меня даже во время тягостных препирательств с прорабом.

Я был один. Вася, как обычно, мотался по стройке. Степанида Ивановна отпросилась с работы и уехала в совхоз за рассадой.

Уйти бы куда-нибудь из этой неудобной, заваленной бумагами комнаты!

На подоконнике, в щербатой поллитровой банке, осыпался букет огоньков. Вот оно что! Давно к нам не заглядывала Галя Клочко. Наверное, рассердилась. На самом деле, девчонка старается, а мы, понимаешь, нуль внимания. Надо хоть полить цветы...

Я взял графин и пошел искать воду.

В коридоре раковина была завалена окурками, из крана торчала деревянная пробка. Вот те раз! Где же воды взять? В столовую бежать далеко, в трест еще дальше... Потом меня осенило: ведь на втором этаже квартиры!

В темном подъезде пахло кошками и капустой. Слепу не мог различить номера на дверях. Впрочем, все равно, куда стучаться, и я робко поскребся в дверь направо.

— Проходи!

Я споткнулся о сапоги, брошенные у порога, и прошел в комнату.

В дальнем углу на диване сидел тощий парень в трусах и читал газету.

Квартира была убрана с деревенским уютом и почти сплошь застелена половиками. На кровати дыбилась гора сытых подушек; над диваном в большой самодельной рамке пестрели фотографии родни всех времен и возрастов.

Я кашлянул.

Парень отложил газету, и я сразу его узнал. У меня хорошая память на лица, да и невольно запомнишь, если на дню ты не один раз проходишь мимо доски Почета, на которой вот уже, пожалуй, год красуется портрет лучшего шофера стройки, бригадира мазистов Толи Соломатина. Мне он представился таким верзилой с пудовыми кулаками и луженой глоткой, а на диване сидел и щурился раскосый лопухий мальчишка, подстриженный ежиком.

— Чего тебе?

Я видел балконную дверь, и меня осенило.

— Это вы на балкон нижнее белье вывешиваете?

Смятая газета полетела на пол. Соломатин дернулся, словно напоролся на гвоздь и вскочил.

— Опять!? — крикнул он и выкатил глаза. — Ты из поссовета? Ты думаешь, я их вешаю, кальсоны? Жена вешает, Оксана. Ты женатый? Вот женишься и поймешь. Ей, видишь, забавно, как та женщина из поссовета ругается. В кино, мол, попасть трудно, так хоть дома дай напереживаться. Может, вдарить? — совсем близко от моего носа навис костлявый, плохо отмытый кулак.

— Кого вдарить?

— Оксану. Я ее уже всяко пробовал убеждать, так не помогает.

— Вдарить — это пережиток. Лучше уж совсем бросить.

— Кого?

— Оксану.

— Ты скажешь! — он почесал затылок и нахмурился. — Воспитывать надо, вот что. Несознательная она еще, понял. Из деревни взял. Это мы поправим, слово даю! Белье куда-нибудь затырю, летом оно все одно ни к чему. Я ей говорю, Оксане: «Ты свое вешай». Неудобно, говорит. А мое, значит, удобно: любуйся, стройка, в каких подштанниках передовик Соломатин ходит! Вы присаживайтесь, как вас?... Давно в поссовете работаете?

В этом парне энергии было на двоих, а то и на троих, и я уже начинал раскаиваться, что вывел его из состояния покоя и равновесия: он метался по комнате, как тигр в клетке, пытался сразу надеть брюки, майку, причесаться, закурить. Искал носки, пинал войлочные туфли, которые ему почему-то попадались под ноги... Я таких людей боюсь, они — что лавина! не успеешь пикнуть — и ты уже погребен.

Я выставил перед собой графин и попытался. Попытался объяснить, что я не из поссовета, а инженер с первого этажа и насчет белья просто пошутил. Мне бы водички... Но куда там, он не слышал.

— Я не из поссовета, эй!

— Что?

— Я с первого этажа, мне бы водички...

Соломатин резко затормозил и начал двигаться в темпе замедленной съемки: подобрал газету с пола, затянул пряжку ремня на брюках, сунул ноги в войлочные туфли и сел на диван. Долго и неприятно смотрел на меня стеклянными глазами и вдруг снова взвился, осененный идеей:

— Выпьем? У меня выходной.

— С чего ради, я на работе!

— Гости были. Поллитровка осталась, давно стоит. Один пить не могу, понял. Не получается из меня пьяница.

Такое неподдельное югорчение выражала в этот момент его лукавая физиономия, что я невольно вздохнул: как не повезло, однако, человеку!

Он потащил меня на кухню, усадил возле тумбочки, покрытой зеленой клеенкой, и с ловкостью циркового эквилибриста метнул закуску: алюминиевую чашку с капустой, полбуханки хлеба и кусок колбасы. Мне налил граненый стакан, себе рюмочку.

— Ну, будем! Тебя как зовут? Семен? У меня есть приятель Семен, по фамилии Гришин. Не знаешь? Начальник колонны у нас Семен Иванович. Хороший мужик, высшее образование имеет. У меня отец тоже Семен, но без высшего. Ты пей! Тебе стакан, что слону дробина, по глазам вижу. Ну, давай! Чтоб, значит, дома не журились. Да ты что, маленький? Не обижай хозяина, давай, давай! Только сразу, единым махом, понял!

Моя голова ощутимо пухла, увеличивалась в размерах и вот-вот должна была с треском лопнуть.

У водки не было вкуса, у капусты тоже.

Я ринулся прочь. Соломатин наступал на пятки и приглашал забегать, как только выпадет свободное время. И Оксана у него гостей любит...

Я кубарем скатился с лестницы.

На улице было по-прежнему солнечно и хорошо. И люди вели себя спокойно. Это и понятно — они не имели дела с Толей Соломатиным. Я же теперь был под высоким напряжением, из меня прямо искры сыпались. Срочно требовался объект для приложения энергии. И объект этот в лице Васи Зальгина стоял на крылечке и курил. Я поставил на нижнюю ступеньку графин, схватил Васю за рукав и без слов потащил. Мы остановились у почты перед кучей досок.

— Берись!

Взяли самый длинный и тяжелый горбыль.

Вася по моей команде прошел со своим концом у самой стенки нашей конторы до окна. Я, спотыкаясь о кирпичи и разный мусок, брел по дну теплотрассы и нес на поднятых руках другой конец. «Пр-аз-два, гоп!» Горбыль прочно улегся на закраины канавы. Теперь к нам цветы можно носить хоть пудами.

Вася сидел на корточках и щепкой счищал грязь с ботинок. Моя затея не произвела на него никакого впечатления, он держался обидно равнодушно.

— Хорош мостик, а?

Залыгин вытянул меня за руку наверх.

— Ничего, говорю, мостик, а?

— Не придет она больше, — сказал Вася и бросил щепку. — Зря старались.

— Обиделась? Так и знал. Правильно обиделась. Но мы извинимся и цветы будем поливать.

— Теперь уж совсем не придет...

## 2

...Я что-то плохо соображал, куда мы идем и зачем так торопимся. Граненый стаканчик Соломатина делал свою предательскую работу: в желудке у меня приятно катался теплый комочек, в голове названивали колокольчики. Я хотел спеть «На нем защитна гимнастерка...», но постеснялся только по причине плохого слуха. У Васи походка была какая-то чересчур решительная. Я нагнал его и попросил убавить шаг — ведь нигде, кажется, ничего не горит, дыму по крайней мере не видеть!

— И куда ты меня ведешь?

— Сейчас! — Вася свернул направо и через пустырь, изрытый под фундаменты, направился к больнице.

У нас в поселке пока плохонькая больница — одно название. Она занимает половину жилого дома, и, ко-

нечно, всякий, кто хоть чуточку уважает свои закоренелые болезни, услугами такого кустарного учреждения не пользуется, предпочитает ездить за двадцать километров в город, где есть именитые доктора. Здесь вроде и стационара нет?

...В тесном вестибюле было полным-полно. У окошка регистратуры толкалась длинная очередь. Конец ее пропадал в полусумраке коридора. На лицах стыла скука, и поэтому люди казались похожими.

Зачем мы-то сюда явились?

Вася потянул меня к раздевалке. Там старушка подала нам два халата и велела одеваться. Я запутался и напялил свой задом наперед. Верхние тесемки были оборваны, я завязал на животе нижние. Вообще выглядел нелепо, потому что даже усатый дядька, который держался за щеку и приседал от зубной боли, согнал с физиономии кислое выражение и распахнул рот, будто сельский простак, встретивший на улице слона. Я уцепился за Васю, как дитя за маму.

Мы попетляли по каким-то темным закоулкам и оказались перед дверью со стеклянной табличкой «главный врач». У этой больницы есть главный врач, скажите пожалуйста!

Вася приложил палец к губам: ты, мол, осторожней!

Комната была очень маленькой и очень белой: стены белые; кровать у окна — тоже белая. На столике стоял графин с водой, рядом — перевернутый на блюдечко стакан. Я охнул про себя: наш-то графин так и остался на крылечке! Ему уже, конечно, приделали ножки. Степанида Ивановна объявит мне кровную месть, поскольку весь инвентарь и всю мебель АХО записал на ее имя и она у нас материально ответственное лицо. Да-а-а...

На стакане подрагивали капли воды.

Я не сразу увидел, что на кровати кто-то лежит. Профиль четко выделялся на фоне низкого окна.

Вася опять приставил палец к губам и поманил меня ближе.

Я присмотрелся и обомлел: на кровати была Галя Ключко! Но как она не похожа на себя: лицо заострено, янтарно-прозрачное. Старое. Черные волосы разметаны по подушке. Она мертвая? Она ведь не дышит! И руки ее сложены, как у покойника, на груди. Не может быть! Я расцепил эти руки и уложил их вдоль тела. Залыгин сзади пытался оттащить меня от кровати, но я не хотел уходить, я ждал. Наконец она медленно открыла глаза, влажные от боли. Смотрела прямо и широко — точно слепая.

У нее до самого подбородка была перебинтована шея, висок пересекала голубая ссадина.

Она собрала у переносья морщинки, и в ее глазах чуть затеплилась улыбка.

— Здравствуйте, Семен Галенко, — сказала одними губами. — Как мои цветы, Семен Галенко? Больше вам никто уже не принесет цветов, мальчики...

— О! — ответил я громко, с тем показным и суевливым оптимизмом, к которому мы подсознательно прибегаем, когда общаемся с тяжелобольными. — Цветы поливаем, как же.

Вася сел на стул у изголовья, а я пристроился напротив, в ногах. Она теперь молчала, только вздрагивала ресницами.

У меня защемило сердце, и я вспомнил, что такую же острую жалость к человеку я уже испытывал однажды. Это было года три назад.

...Поезд споткнулся на полустанке где-то возле Рязани. От таких полустанков, которые еще встречаются на большом пути, удивительно сильно пахнет старой Русью.

Вдоль полотна плотно стояли тополя, и пенистая тень от них кипела на вагонах; по дороге за станцией бежал табунок лошадей, и копыта их дымились пылью;



за дорогой белели хаты, крытые соломой. Они были похожи на грибы, выросшие рядком на чистом месте.

Над деревней догорало солнце.

Парной воздух был настоян полынью. На разные лады стрекотали кузнечики.

Я прошел по дощатому перрону, усыпанному семечковой шелухой, лениво заглянул на базарчик. Там разбитные тетки торговали вареными курицами, дынями, помидорами и яблоками. Ощипанные цыганки предлагали пассажирам веревочные лапти. Народ азартно брал по две, а то и по три пары — для смеха.

Тогда я и натолкнулся на нее.

Она была слепая.

Она сидела у забора на черной от копоти траве и пела девичьим голосом. Но лицо у нее было рябое и страшное, наверно, оттого, что оба глаза закрывали выпуклые бельма.

Пела весело, без ноющего надрыва:

...Любовь нам одна  
Навеки дана,  
И дружбой она скреплена

Я сперва подумал, что слепая поет для собственного удовольствия, но нет: рядом стояла жестяная кружка. На дне кружки валялся пятак, брошенный кем-то, наверно, давно. Ее это, видно, не беспокоило: она отдавала людям свой праздник — и все.

Рядом торопилась жизнь, разбудившая дрему полустанка всего на несколько минут, и никто не обращал на слепую внимания. Пассажиры хватали веревочные лапти.

К горлу подкатил колючий ком, и я тихонько сунул в кружку рубль.

До сих пор не могу четко представить, что так расстрогало меня, но я был твердо убежден, что девочка несправедливо обижена судьбой. И знает об этом. Во

мне поднялась ненависть против чего-то темного, безликого, чему нет названия. Почему одним дается все, у других отнимается последнее?

Человек, конечно, сложен и разнообразен, но в каждом обязательно есть что-то главное: его обычное состояние, что ли. Вот Гале, например, очень идет смеяться, как-то к лицу ей эта легкость и милая загадочность. Я привык видеть ее такой, и потому ощущение непоправимой беды было во мне особенно сильным.

Оставалось только догадываться, что произошло. Может, она попала под машину, может, оступилась с лесов где-нибудь на площадке? Я вдруг рассердился на Васю: почему молчал до последней минуты? Но на него сердиться теперь было глупо — он тяжело переживал несчастье. У него запали глаза, и весь он как-то сжался.

Вася упер подбородок в ладонь и неотрывно смотрел на нее.

Висела томительная тишина.

Где-то дребезжало радио: «лобзай меня, твои лобзання...» Где-то ходили, говорили, кашляли. А здесь была тишина. Я все хотел сказать: «Листья уже распустились». Ветки липы свешивались в окне. И на ветках пробивалась зелень. Хотел сказать и не решался: ее ведь нельзя беспокоить.

«...Листья распустились».

На пустыре ребяташки гоняли футбол. За мячом носилась лохматая собака. Хвост у собаки был закручен веселым крендельком.

По ту сторону окна бушевал весенний день.

Галина пошевелила губами. Вася рывком наклонился к изголовью и изумленно поднял брови. Странно, коротко глянул на меня. Я привстал — чего?

— Она говорит, что теперь воспринимает тебя. Ты цвета слоновой кости, — и пожал плечами. Он ничего не понимал.

— Мальчики, — мы едва слышали ее. — Я буду посылать вам цветы в конвертах, чтобы вы меня не забыли, ладно? Вам скучно со мной? Вы ступайте...

— Помолчи, тебе нельзя разговаривать!

Бесшумно появился главный врач — молодой щекастый парень — и категорически заявил, что посторонним здесь делать нечего. Вася не принял это на свой счет. Значит, посторонний только я.

— До свидания, Галя. Я еще наведаюсь.

— Прощайте, Семен.

— Ну уж, прощайте! До свидания.

Я постоял еще немного, но она молчала.

С водки разболелась голова, во рту высохло. И вообще свет был не мил.

Я терялся в догадках: «Что с ней? Когда это случилось?»

...Уже в пятом часу явилась Степанида Ивановна, довольная удачей: подумать только, безо всяких хлопот достала три ящика помидорной рассады! В воскресенье собиралась ехать за цыплятами.

«Вот кто знает!»

Она на самом деле знала.

Вечером с неделю назад Галя Клочко дежурила в дружке поселка и первая заметила человека, который через дыру в заборе вылез со двора магазина. Человек держал под мышкой целую штуку материи и брел кое-как, потому что был абсолютно пьян. За ним по грязи тянулось, разматываясь, тонкое костюмное сукно. Галя оторвалась от своих и тихонько пошла следом. Наступала на сукно, и человек падал. Она смеялась: вот глупый какой — пьяный, а крадет!

Пьяного парня, известного в поселке хулигана по кличке Резаный, сдали в милицию. И вроде все забылось. А вчера ночью, когда Галя одна стирала на кухнеке общежития, ее кто-то ударил сзади по затылку. Она упала и потеряла сознание. Час был поздний, и по-

ка хватились, бандитов и след простыл. Из окна соседнего дома видели двоих, но поди узнай, кто они! Успели скрыться...

У Галины врачи нашли перелом двух ребер и повреждение позвоночника. Умереть не умрет, но горького хватит до слез, если на всю жизнь не останется калекой.

— У меня золовку тоже муж избил, так ноги отнялись. И этой паралича не миновать, не знаю, что ли!

— Вы бы не каркали, Степанида Ивановна!

— Я и не каркаю! — она обиженно замолчала. — Вы со мной, Сема, так, пожалуйста, не разговаривайте, у меня тоже самолюбие есть.

— Оставим это, Степанида Ивановна, все равно не пойдем друг друга.

— Отчего же не понять, мы же взрослые. Я вижу, что вы сердитесь на меня последнее время, но за что?

«— Мы взрослые. В том-то и беда. Слишком взрослые...»

### 3

За Галиной Ключко прилетела мать из Москвы. Провожать я не пошел. Кто там во мне нуждается, да и зачем быть там, если проводы больше похожи на похороны.

Вася сказал, что я черствый и мне недоступна жалость. Он был, конечно, неправ. Мир без Гали стал беднее: мне не хватало ее смеха, увядших цветов на подоконнике и чуть волнующего ожидания новых встреч. При ней всегда вспоминалось хорошее, а ведь даже и нам, черствым, есть что вспомнить.

На этот раз ссора наша могла зайти далеко, если бы не один случай.

В конце апреля на площадку приехал председатель совнархоза со свитой и открыл полосу думных заседаний, которые обычно сопровождаются резолюциями,

написанными с категоричностью военных приказов. Начальство уплывает, как грозовая туча, приказы, теряя свой боевой дух, мирно оседают на «местах», и реки снова ложатся в русла свои.

Итак, однажды заседание кончилось почти в одиннадцать вечера.

Я остановился во дворе треста, сердито бросил только что закуренную папиросу — надоело курить — и, раскинув руки, сильно задышал. Воздух был сырой и пахучий. Только что затих дождь. С деревьев скатывались капли. В лужах желтели огни. Луна ныряла в поредевших облаках, и облака от ее света становились перламутровыми. Набрякшие зеленовато-синие звезды, кажется, готовы были весело посыпаться с неба.

Я прикинул, какой дорогой идти домой.

Поселок начали благоустраивать, а благоустройство, если за него еще берется общественность, — кампания горячая и короткая. После нее останется много лишних ям, опасных для любого вида транспорта. Напрямик, мимо нашей конторы, пожалуй, всего удобнее... Я перешагнул через штакетник, обнесенный вкруг тощего трестовского скверика, и, посвечивая карманным фонариком, направился к почте.

Слушал ночь. Ночью отчетлив каждый звук. Днем их меньше, вернее, они однообразней. Да днем как-то и некогда прислушиваться к тому, что творится вокруг.

Откуда-то донесся напряженный шепоток влюбленных; на разгрузочной площадке вздыхал паровоз; лаяли собаки, в дальних кустах у болотца кричал коростель.

Песню бы кто-нибудь спел сейчас! Только задушевно. И негромко.

Я уже ступил на край доски, которую мы положили для Гали Клочко, и вдруг замер: на дороге, в жидком свете единственного фонаря, сцепившись, топтались двое. Они были шагах в десяти от меня. Один стоял спиной, и рука другого комкала его рубашу, задранную

до затылка. Спина была грязная, в кровоподтеках и ссадинах. У второго, высокого, белобрысого парня в лыжных брюках, из носа сочилась кровь, по лицу разметались волосы. Белобрысого я не встречал ни разу, зато спина... Вася Залыгин!

Они дышали хрипло, а высокий — со стоном, сквозь сжатые зубы.

— Эй, вы что?

Никакого впечатления.

Я вдруг понял, что так яростно и молчаливо схватываются насмерть, что они не позовут на помощь и ни один не отступит, пока не упадет, когда оставят силы. У меня жарко толкнулось сердце.

Они все кружились, разбрызгивая грязь по дороге.

Не представляю до сих пор, как я сумел одним махом проскочить скользкую доску. Ступая по лужам, кинулся к ним. В ботинках упруго зачавкала жижица. Я схватил Васю Залыгина за плечи и потащил назад. Он вяло отвалился, мотая головой, и тут длинный хрустко ударил. Вася рухнул на меня, и мы вместе повалились. Я угодил боком на что-то острое, в глазах снопом метнулись искры. Залыгин сел на обочине, привалясь к столбу, и засопел. Он уже ничего не соображал.

Длинный уходил от нас разболтанной походкой пьяного.

— Вася, больно тебе?

Залыгин отнял ладони от лица и встрепенулся. Встал на четвереньки, тяжело поднялся, и прихрамывая, побрел вслед за белобрысым.

— Подожди, куда ты?

Вася уже прилип к тому, но ничего сделать не мог, только пытался уберечься от увесистых кулаков, которые все-таки часто попадали в цель. Удивительно, как это он еще держался на ногах! Я опять влез между ними, и длинный размеренно принялся молотить меня куда попало.

— Прекрати, прекрати, говорю!

Но эта машина не способна была остановиться. Я ослеп от злости.

Я пнул его в живот, он согнулся и раскрыл рот, часто хватая воздух.

Это был дюжий парень, бульдозерист или шофер,— от него несло бензином. Как ни странно, уже на другой день я вряд ли смог бы узнать его. Таких много на стройке. Разве что волосы, льняно-белые, в кольцах, сошли бы за особую приметку.

Он вдруг побежал обратно, к почте. Но далеко не убежал. Напротив конторы мы остановились, я повернул его к себе и ударил. Парня понесло как-то боком и бросило в канаву.

«Там ведь глубоко!»

Я рванул из кармана фонарь. В слякоть под ноги упали платок и спички.

У меня дрожали колени, и улица с пятнами огня выгибалась дугой. И на мою долю прилично досталось! Не выдохнись этот парень, лежать бы нам с Васей где-нибудь в укромном месте и унижительно сознавать, что мы не мужчины.

Я посветил в канаву. Парень карабкался вверх, цепляясь за огрызки арматуры, и тонко выл. Живой, и слава богу! Ладно!

...Тучи совсем пропали.

По слепым окнам бежало отражение луны, и стекла тлели зеленоватым огнем. Из труб больницы сочился дым.

Мы сидели на пустыре и молчали.

Вася держал между колен потухшую папиросу и сплевывал кровью.

Я чувствовал бесконечную усталость. Саднила царапина на шее, ныл ушибленный бок. И вообще...

Залыгин вроде бы прочитал мои невеселые мысли.

— Убить мало!

- За что?
- За Галю.
- Значит, это он и...
- Да. Он и еще один...
- Вот оно что! И как же ты докопался?
- Толя Соломатин, твой приятель, докопался через своих ребят.
- В милицию надо заявить!
- Успеется с милицией. Еще не рассчитались.
- Пока они тебя бьют...
- Ничего, научимся.

Уговаривать этого упрямого было бесполезно. И в то же время... Может, он прав?

Вася стал сейчас мне много ближе. Так близки, пожалуй, мы еще никогда не были.

— Посмотри, что там у меня на затылке.

Я осторожно провел ладонью по его волосам, и ладонь намочила теплой кровью.

— В больницу надо, Вася!

— Нельзя в больницу... Кастет с собой носит, сволочь!

— Тогда ко мне, куда ты в общежитие такой!

— А Маша?

— Она к теще в гости уехала. С ночевой.

— Тогда к тебе лучше...

Он совсем ослаб и еще в подъезде потерял сознание.

## Глава четвертая

### 1

Вот уже осень. «Поздняя осень, грачи улетели». Утрами на траву падает изморозь, застывает ледок на лужах. Небо темно-голубое и сочное. Таким его рисуют только на открытках. Тихой каруселью стелется лист.



Осень затяжная и ясная.

Скоро снова зима!

За шесть месяцев ничего существенного не случилось, разве вот только мы постарели на целых полгода.

Я все лето с короткими перерывами прожил на Урале — следил за отгрузкой оборудования на наш завод и за выполнением сроков поставок. Потом ушел в отпуск. С Васей Залыгиным довелось видеться только урывками. Мы встречались, как на полустанке, от поезда до поезда: минутка бестолкового разговора, стаканчик вина, лихо выпитый на тычке, и «дан приказ ему на запад, ей — в другую сторону». Вася за лето тоже раза три ездил в Москву — то за библиотекой и физкультурным инвентарем, то за новым пополнением комсомольцев-добровольцев. Потом, когда я вернулся из отпуска, он собрался к себе на Кубань. И только к октябрю мы снова прочно осели в нашей комнатухе. И закрылось колесо...

## 2

В поселке есть улица Солнечная. Люди приезжие и временные из числа командированных издеваются над нами: что, дескать, это за улица, если на ней всего один дом стоит, как зуб в пустой десне?

Но мы выше мелких подковырок, мы-то знаем, что в недалеком будущем Солнечная станет главной и упрется в парк, огромный, как море. А потом ведь Солнечная, а не какая-нибудь там Рудокопная, Угольная или, скажем, Верхняя Каменка. Для хорошего настроения названа, разве не понятно!

Васе дали, наконец, однокомнатную квартиру на улице Солнечной. Дом, над которым измываются приезжие, действительно, немного подкачал — он не оштукатурен, не покрашен и с торца залатан шлакоблоками. Зато с торца же совсем близко к стене растет у дома старый тополь. Его ветки царапают окна.

Рассказывают, что какая-то мастерица (она уехала, и фамилию ее никто не помнит) велела оставить дерево, когда бетонщики заливали фундамент, торчала над душой у каменщиков, когда клали стены, — боялась, как бы не испортили крону. Шуму было много: рабочие то-ропятся, план гонят, а тут на тебе — не трогай, не ломай! Вопрос, однако, не закрыт и до сих пор. Теперь на ЖКО заседают жильцы: «Спилите эту орясину, ведь света не видим»!

Про тополь на улице Солнечной в городской газете была напечатана невыдуманная история под заголовком: «О чем шумят листья». Листья шумели о людском благородстве и вечной любви к природе.

Это, конечно, очень мило, но если вести спор в плоскости физиков и лириков, то я лично на стороне здравого смысла: чего ради жильцам страдать от сырости и видеть солнце по заказу.

Во время длинных вечерних бдений мы с Васей спорили чисто по-русски: то есть сперва один разглагольствовал до хрипоты, совершенно не принимая во внимание возражений другого, после до абсолютной глупости договаривался другой, и начинали сначала.

— Ты видишь только плохое, потому и скептик, потому и черств.

— А тебе все видится в розовом свете, и потому скоро разочаруешься, в итоге к тому же придешь. И обоих нас не минует чаша сия... Я издевался над его прожектерством и какой-то совсем детской доверчивостью.

Стройка, словно река после вешних вод, оставляла на берегах людской мусор: тут тебе и летуны, и любители длинных рублей, и пропойцы, и просто жулики с классическим набором пороков. Это лихая публика при нужде может разжалобить даже камень, выдав с ходу трогательную историю о превратностях судьбы.

Они, непонятно как прознав про слабость Залыгина, повадились к нему за помощью. Вася—отзывчивая душа—давал займы без разбору и скоро сам по уши залез в долги. Занятое обычно не возвращали, наверное, из-за легкомысленного заблуждения, что у заместителя председателя стройкома денег черт на печку не забросит, и Залыгин неделями ел ржаные пряники с чаем. Я ежедневно вручал ему рубль на столовую и читал мораль о вреде слунтяйства.

— Позавчера давал пятерку старику, который искал сына на стройке?

— Ну? — Вася отрывался от бумаг и готов был слушать подробности.

— Утром я в магазин забегал и видел его. Пьяней вина валяется под прилавком. Завтра обязательно попросит на похмелье. Ты подари ему, пожалуйста, свои единственные вельветовые штаны, они тебе карьеру портят.

— И не стыдно? У человека горе, а ты измываешься!

— Заплачь, дам калач.

— Отстань.

Я заметил, что Вася хоть и работает с прежней энергией, но уже без того азарта. Он поскуцнел, замкнулся и, кажется, немножко разочаровался в своей Кубани, когда посмотрел на нее через год со стороны. Кубанские краски потускнели в его глазах. Он вздыхал: павлин по отцовскому двору уже не ходит, его задавила собака, и станичные рынки утратили былый колорит, вот беда! Большого я от него не мог добиться. Еще меньше он говорил о Гале Ключко, с которой, конечно, не раз встречался в Москве. Ей стало немного лучше, она может уже сидеть у телевизора. Ждет все, когда покажут стройку, но стройку почему-то не показывают. Скучает она...

За шесть месяцев я получил от нее всего два кон-

верта с засушенными цветами и ни слова, и ни строчки! Я писал, но без ответа. Больше решил не навязываться, но думал о ней чаще, чем хотелось бы.

Залыгин не любил вспоминать про драку весной, он щупал шрам на макушке и морщился, но не оттого, что осуждал себя — скорее всего обижался на меня за непрошенное вмешательство. По моей тихой просьбе мазисты Толи Соломатина провели с бандитами, как они выразились, профилактическую работу: белобрысого побили возле общежития цинковым корытом. Дело конлось скорой помощью. Второго сравнительно мирно отвезли на вокзал в город и отправили с богом на все четыре стороны. Безо всякой милиции.

Вот и все новости на первый случай.

### 3

Утром двадцатого ноября я отвез жену в городской роддом и ходил, как во сне. У меня спрашивали, будто это было самое важное:

— Кого хочешь?

— В смысле?

— Ну мальчика или девочку?

— Все равно.

— Э, так не бывает. Мальчишку, поди, надо? И девка, если разобратся, тоже человек, но пацан лучше: наследник, продолжатель рода и так далее...

Степанида Ивановна была категорична:

— Девчонка будет, не знаю, что ли!

Я долго допытывался, откуда у нее такая уверенность, но вразумительного объяснения так и не дождался. Машинистка только намекнула, что есть приметы, в которые мужчины посвящать не стоит.

— Врачи и то определить не могут!

— Много они понимают, ваши врачи!

Что же, если появится девчонка, назову Ириной. Ири-

на, Иришка. Хорошо! Только, пожалуй, теща будет возражать, она женщина современная и с принципами. Я тут же великодушно решил уступить теще: пусть хоть Тракториной называет, лишь бы все благополучно кончилось. А если парень? Тут уж я сам разберусь, без посторонних!

Я переживал, но не чувствовал просветленной радости наступающего отцовства и панически боялся несчастья: вдруг родится урод, как, например, сын тещиной подруги Арик. Ему четырнадцать лет, у него голова точно наспех сколоченный скворечник, тонкие ноги и грозно оттопыренные уши. Он угрюм, хапает варенье пятерней и жует воротник рубахи.

Я спросил у Степаниды Ивановны, чем питаются женщины перед родами, купил кое-что, и мы с Васей поехали в город.

Пока я торчал у окошка передач, Залыгин успел схватиться со старшей сестрой. Он возмущался, почему никто не знает, когда Маше рожать, и вполне серьезно предложил, чтобы в вестибюле вешали бумагу, вроде графика, и указывали там время родов с точностью плюс — минус час. Он много не хотел — плюс — минус час. Очередь единогласно его осмеяла, и нам пришлось срочно ретироваться.

К вечеру я совсем раскис, и мы пошли в Дом культуры. Там работал Васин приятель, завхоз Петя Семенов, у которого всегда было пиво для избранных. Петю Семенова на наше несчастье в тот вечер раздирали противоречия: он не мог выбрать, какой из своих страстей отдать предпочтение: то ли спорту (бег на длинные дистанции), то ли эстраде (у него признавали лирический тенор). Завхоз был слегка под хмельком, и его бирюзовые глаза отдавали есенинской меланхолией.

Пиво пили в кладовой, где пахло новыми футбольными покрывками, и от маек, сваленных в углу, несло

потом. Кладовая была заставлена шкафами и увешана струнным инструментом.

Петя снял рубаху, чтобы продемонстрировать нам на вдохе и выдохе свою грудную клетку, огромную, как сейф кассы взаимопомощи, потом велел обоим положить ладони на сердце, чтобы наглядно убедиться, как резонирует во время пения его грудь. Он затянул неаполитанский романс.

В ушах у меня заверещало, с мандолин на стенах поднялась пыль, и уборщица в коридоре уронила ведро.

— Как?!

Мы дружно заверили его, что с такими данными не стыдно и в Италии показаться, но и спорт бросать не имеет смысла, ибо и великие люди не брезгали спортом. Академик Павлов, например, здорово играл в городки. Я нагло соврал, что сам Карузо увлекался футболом и был правым полусредним.

Вася без роздыха вытянул бутылку пива через горлышко и сказал:

— Оформляйся назад монтажником.

— Зачем?

— Выходите из вагонов только в сторону платформ.

Завхоз дурашливо захлопал длинными, как у кинозвезды, ресницами.

Залыгин в последнее время усвоил дурную манеру цитировать ни к селу ни к городу надписи с этикеток Томской спичечной фабрики. Шутка тупая и меня, например, мгновенно доводила до белого каления.

— Объясни толком, — неуверенно попросил завхоз и потянулся за рубахой.

— Не висни на подножках — опасно для жизни! — добавил я.

Это было уже слишком: тенор стал наливаться нехорошим румянцем.

Вася подобрал ноги, сел на стуле прямо и сделал серьезное лицо.

— Здесь тебе явно не место: пить, вижу, начал. Рабочая среда — она дурь вышибает. А при желании успеешь и пить, и бегать. Земля круглая...

Петя взял подбородок в кулак и могуче задумался. Пиво было старое и кислое.

Я боязливо посматривал на телефон: позвонить или нет? Рискну в последний раз! Дежурная в роддоме уже знала наши голоса и бросала трубку, не вдаваясь в подробности.

В трубке трещало и кто-то надсадно кричал: «Предлагают цистерну конопляного масла, так брать? Вы меня слышите, брать конопляное масло?»

Чтоб тебе с твоим маслом!

У дежурной был ломкий голос. Наверно, соснуть успела. Рано они там ложатся спать!

— Простите, можно справочку? Утром к вам поступила Галенко Мария, так я бы хотел знать...

На том конце провода меня уже не слушали. Зашуршала бумага, и через томительную минуту сестра привычно отчеканила:

— У Галенко девочка. Рост сорок семь сантиметров, вес три килограмма семьсот граммов.

— Чей вес, простите?

— Девочка здоровенькая, мать чувствует себя удовлетворительно.

Мне как-то сразу не пришло в голову, что новорожденные имеют вес и рост. Я машинально отметил на столе полметра и удивился: большая! И когда я увидел изумленную Васину физиономию, то вдруг обнаружил, что не могу говорить.

— Уже?!

Я кивнул.

— Девочка? — Вася вскочил, мы обнялись и неловко поцеловались.

Петя-завхоз оторвался от дум и протянул мне руку:

— Поздравляю, бракодел,— он досадовал, видно, что нам теперь не до его переживаний.

— Сам ты бракодел! — рассердился Вася.— Ты внимай: новый человек на белом свете прописался! Интересно... И ты ведь когда-нибудь станешь отцом...— Он повернулся ко мне: — Что сейчас чувствуешь?

Я ничего такого, признаться, пока не чувствовал и, чтобы не объясняться, бросил лозунг:

— Обмыты!

А времени было в обрез: через пятнадцать минут закрывались магазины.

Вася напоследок процитировал спичечную фабрику:

— Оберегай полезных зверей!

Я подхватил:

— Водитель, пропускай транспорт по главной улице. Завхоз мелко затряс головой, будто только что выскочил из воды.

— Больше пива не получите!

...Я никогда не видел такой ночи.

Представьте себе совершенно белый снег, который жалко трогать, и черное небо. На деревьях висела лохматая бахрама. Луна сочилась бледно-зеленым светом, и все гляделось, как через бутылочное стекло. Земля была дном зеленого моря. И море дремало. А мы не бежали — неслышно летели. Снег мягко оседал под ногами и тут же наливался темной водой.

Вася оглядывался и торопил. Мне торопиться не хотелось, к тому же я был наивно уверен, что сегодня мы никуда не опоздаем, просто не имеем права.

И мы опоздали всего на какую-нибудь минуту: сторож захлопнул дверь Гастронома под самым носом у нас и за стеклом, на той стороне, непреклонно выпятил кержачью бороду. Я взялся за ручку и на некото-



рое время забыл обо всем, рассматривая сторожа. Художнику, работающему над полотнами времени Иоанна Тишайшего, такая натура в самый раз. Я потянул дверь на себя, вставил ботинок в проем и спросил у деда, сколько лет сознательной жизни он убил на выращивание такой шикарной бороды. А дед вместо того, чтобы принять шутку, стал, натужась, одной рукой стаскивать с плеча берданку. Такой симпатичный папаша и такой серьезный! При этой бороде положено иметь чувство юмора.

— Вы только послушайте! — зачастил Вася из-за моей спины. — У человека дочь родилась, сейчас по телефону узнали. Пустите бутылочку купить, sprыснуть положено такое дело! Имей понятие, отец, ты же русский человек!

— Стрельну! — захрипел тот. — Выпили, так ходите стороной!

Мне сделалось тоскливо, и я вдруг понял, отчего люди неотзывчивы и скучны: в нашей жизни нет места приятным неожиданностям, — мы — рота на марше: путь известен, цель ясна, привалы расписаны, а старшина ведаёт махоркой и свежими портянками. У старшины же в руках счастье — по сто граммов с устатку.

Я махнул рукой и поплелся прочь.

## Глава пятая

### 1

Я еще раз с недоверием поднес телефонную трубку к уху и еще раз услышал сквозь шорох далекий голос:

— Алло! Так вы поняли? Немедленно явитесь за получением, груз срочный. Поняли? Алло!

— Хорошо, буду.

Вася Зальгин жарко сопел мне в затылок — он явно

ждал этого звонка. Я сразу догадался, что без него здесь не обошлось.

Вася сразу сделал невинные глаза и пожал плечами: ты, мол, сперва объясни.

— Из аэропорта звонят — требуют, чтобы я забрал какой-то срочный груз.

Вася часто-часто заморгал. Он не умел врать и всегда вот так моргал, когда пытался обмануть или притвориться.

— Какой еще груз? И при чем я?

— Ты же подстроил?

— Лес — наше богатство, береги лес от пожара!

Ну, поскольку Залыгин начал цитировать Томскую спичечную фабрику, толку от него не добьешься.

— Завтра поеду, это же у черта на куличках. Сегодня некогда. — Я полез в шкаф за чертежами. Мне на самом деле было некогда шутки шутить.

Вася всполошился и что-то шепнул Степаниде Ивановне. Та, кажется, тоже состояла в заговоре и потому принялась меня уговаривать: раз груз срочный, значит, срочный, раз велят забрать, значит, не напрасно, и все в таком духе. Залыгин ей поддакивал и даже обещал у кого-нибудь из начальства выпросить легковую. Я позволил им уломать себя: если машина будет, почему бы и не прокатиться. Не похоже, чтобы они меня разыгрывали, да и срочный груз интриговал. Залыгин тут же исчез, но возвратился поникший: начальство в разъездах и транспорта нет. Постройкомовский автобус послали в город за лектором.

Ну и ладно...

Степанида Ивановна посоветовала:

— Толю Соломатина попросите, я его давеча на улице встретила, он сегодня в ночь. Сейчас дома.

За Толей побежала рассыльная, и тот сейчас же явился. Он был в шляпе и новом демисезонном пальто. Пальто топорило колоколом на его сутулых пле-

чах, и на груди болтались концы белого шарфа. Толя привалился к косяку и принялся рассматривать меня, покачивая головой.

— Сватать явился — глядишь так? — спросил я.

— Какая из тебя невеста! — засмеялся он. Толя несколько не удивился, что мы его вызвали, и сразу согласился, будто каждый день возил из аэропорта срочные грузы, прибывающие на мое имя. Вася, наверно, успел перекинуться с ним в коридоре. Толя сказал, что ради такого случая сам повезет нас.

Мы остановились на обочине у перекрестка.

Мимо проносились машины, груженные гравием, и левая сторона дороги была темной от воды, потому что из кузовов текло. На асфальт сыпались камешки и пахло рекой — окуневыми омутами, илом и тальником. Или просто так казалось — ведь экскаваторы черпали гальку на излучине возле Черного озера, где мы не раз зоревали.

Толя привалился к столбу и закурил.

Я понял, что придется ждать. Вася пробовал развернуть газету, но ветер не давал. Нашел тоже где читать! Машины пробегали одна за другой беспрерывно, и в горле запершило от бензиновой гари.

На мокрой стороне дороги солнце отражалось тускло, зато на сухой, подернутой льдом, оно брызгало снопами искр, играло и переливалось. И от этого света больно было глазам.

Постояли мы так минут пятнадцать. Наконец Толя поднял шляпу и отпрянул от столба. Возле, пыхнув тормозами, остановился грузовик. От его колес, как от взрыва, метнулась пыль. От грузовика шел жар, и над радиатором, качаясь, рябил воздух. Из кабины медведем вывалился приземистый парень и, не здороваясь, постучал валенком по лысой передней крышке. Толя протянул ему папиросу. Тот закурил и опять сердито стукнул крышку.

— Возьми всю пачку, долго курить придется.

— Свои есть.

— Кой-куда сгонять надо.

— Надолго? — парень вскинул засаленную кепчонку и высыпал на лоб вороненый чуб. — А то я дома посплю.

— Валяй, после заеду.

Толя легко прыгнул в кабину и поманил нас за собой. Я отобрал у Васи газету и постелил ее на сиденье.

— Поехали!

МАЗ заурчал, качнулся и рванул. Поплыли, заторопились дома, улицы, люди и дорога, облитая серебром, услужливо выстелилась перед нами.

Толя засвистел. Его костлявые руки плотно легли на баранку. Он вел машину играючи, с удовольствием: это ведь была его работа, ремесло и хлеб.

На переднем стекле поблескивали трещинки, похожие на паутину.

Я ломал голову. «Что там за срочный груз? Эти черти, один и другой, знают, да разве от них добьешься толку! Придется уж потерпеть».

Вася читал стихи, точно молился. Я крикнул ему в ухо:

— Погромче!

Он удивленно поднял брови:

— С каких пор стихи полюбил?

— Давай!

...Мы привыкаем к лунной тишине,  
Нависшей над заснеженной равниной,  
Живем — не удивляемся весне.  
Живем — и наши души не ранимы...  
Да, мы не замечаем красоту...  
Мы что-то ищем.  
Что — не знаем сами.  
И смотрим, смотрим, смотрим за черту  
Той красоты,  
Что вечно рядом с нами,

И мечемся, как щепки по волнам,  
И раньше срока  
Уплывают в вечность  
Любимые,  
Доверившие нам  
И красоту,  
И молодость,  
И верность.

— Кто написал?

— Фирсов. Есть такой...

— Ничего. Может твой Фирсов. «Живем — и наши души не ранимы...»

Жестоко сказано, но верно: живем — не удивляемся. И души не ранимы. Нам некогда удивляться: жизнь все сложнее и растрачивается на тысячи необходимых мелочей, а сохранить непосредственность в грохоте и вечной спешке непросто. Для этого тоже, если хотите, талант нужен, а он не всякому выпадает. Нам некогда... А в общем, обидно: живем — не удивляемся весне...

...В поле было пусто. В низинах кое-где топорщились кусты; рядки наспех сметанных стожков напоминали многоточия на пустых страницах. Над дорогой медленно кружились вороны, и с лету, тяжело падали на телеграфные столбы, и снова взлетали, испуганные шумом мотора.

— Сейчас аэропорт, — сказал Толя и попросил сигарету.

...В этом уголке Сибири всюду беспорядок новоселья: и вздыбленная экскаваторами земля, и временянки, потому что люди сперва оседают наспех, чтобы потом отстроиться капитально, с размахом.

Аэропорт, — несколько сборных бараков у березняка на взгорье, тоже был временный. От бараков узкой лентой тянулась взлетная площадка для самолетов легкого типа. Голо, просто и несолидно.

Толя остановился в стороне.

Вася тут же успел расспросить встречную девчонку из obsługi, и та сказала, что насчет специального груза нужно обратиться, наверно, к самому начальнику отряда Ивану Ивановичу. Сейчас как раз обед, и он в столовой — первый барак снизу.

Я поотстал шагов на десять — мне было неудобно вылазить вперед. Меня тянуло в тенечек, подальше от придирчивых глаз, как в песне поется. Я остался у крылечка. Вася и Соломатин вошли, не заметив моего мелкого предательства. Они выпустили на улицу клуб пара и запахи казенной кухни.

Недалеко, точно подранок, накренившись на одно крыло, ползал самолет. Наверно, отруливал на стоянку. От самолета, пригибая березки, неслась метель. Вспененный снег у подлеска был опутан заячьими следами. Зверь, выходит, привык к шуму. Интересно...

Вася выскочил на крылечко и закричал:

— Ты куда провалился? Там ждут, понимаешь!

— Кто ждет?

— Потрудись зайти, узнаешь.

Узкий, во всю длину барака, зал был плотно заставлен легкими столиками на алюминиевых ножках и такими же стульями. Стены зала были обиты дранкой и кое-где обмазаны раствором. Здесь курили, и над столами кругло перекатывался дым. На подоконнике, как раз напротив, сидел человек в лохматых унтах (я почему-то сразу догадался, что это и есть начальник отряда Иван Иванович) и не двигался. И не спускал с меня глаз.

Пилотская братия — парней, наверно, пятьдесят — застыла, словно по команде.

Что-то здесь не так: слишком уж напряженно держались эти ребята. У меня загорелись уши. В чем дело?

Вася прикрыл рот ладошкой, но смеялся глазами. Толя Соломатин уставился в потолок, будто там была написана его судьба. Он так высоко задрал голову, что уронил свою драгоценную шляпу прямо на затолтан-

ный пол и не огорчился, а явно обрадовался такому случаю: теперь можно было со спокойной совестью заняться шляпой и не обращать внимания на мои молящие взгляды.

Рядом кто-то, затомившись, бросил ложку. Она зазвенела, как сигнал, и я грубовато от неловкости спросил Ивана Ивановича:

— Где груз! Нам, извините, некогда...

Начальник поднялся и загородил плечами окошко.

Он был молод, лет, пожалуй, тридцати, и кокетливые усики метелочкой как-то не подходили к его большому крестьянскому лицу. Я пожалел в эту минуту, что летчиков так рано списывают на пенсию. На самом деле, будь здесь начальником пожилой гражданин, он не поощрял бы таких шуток.

Иван Иванович кашлянул в кулак и лукаво поднял брови.

— Туш, хлопцы!

Хлопцы загалдели и вразнобой грянули: т-та-та-та-та-та. Применили и подручные средства: бутылки, ложки, вилки и посуду. Этот ужасный шум, наверно, слышали на летном поле.

Я глупо переминался с ноги на ногу, и моему положению завидовать было трудно.

Из кухни гуськом вылезли повара во главе с дядей, размеры которого поражали, и тоже захлопали в такт. Потом, снова после знака Ивана Ивановича, пилоты жали мне руки и поздравляли с двойней. Я все хотел вставить, что насчет двойни у них явно преувеличенные сведения, но где там — они не хотели и слушать, они упивались торжественностью момента. Я понял, что лучше смириться: двойня так двойня.

Шум понемногу затих, и тогда толстый повар сказал, что по такому случаю с товарища полагается.

Иван Иванович, наконец, пожалел меня:

— Довольно, и так смутили человека!

«Вот именно!»

Кухонная публика снова гуськом убралась восвояси, а начальник, ни слова не говоря, вышел: мы потоптались в дверях, как бараны, и ринулись следом.

На отлете, в самом березнячке, стоял бревенчатый домик, и Иван Иванович по тропинке направился туда. Он не оглядывался, не приглашал, но мы шли за ним.

Я серчал на Васю:

— Раньше сказать не мог! Язык у тебя отсох, да!

— Собирайте металлолом — хлеб черной промышленности!

— Зачем про двойню выдумал?

— Уходя, гасите свет!

— Конечно, тебе не краснеть... Скажи, откуда они знают про рождение?

— Не обгоняй транспорт на переездах!

— Дубина ты, однако!

...Иван Иванович старательно обмел свои унты голичком и, согнувшись, вошел в дом. Мы тоже обмели ноги и, немного заробев, ступили в темный коридорчик, застеленный линолеумом. Подтаявшие валенки сильно скользили. Дальняя комната справа была открыта, и начальник позвал нас туда.

Комната была сплошь перегорожена деревянными полками, и только посредине осталось место для небольшого стола. За ним, одинаково подперев кулаками подбородки, сидели две дивчины — солидная блондинка и худая брюнетка с обжигающими цыганскими глазами.

— Привел, девочки. — Сказал Иван Иванович. — Вот получатель. — И показал на меня.

Блондинка сейчас же исчезла в глубине комнаты. Другая не пошевелилась, только сердито поджала губы: я ей не понравился.

Блондинка вернулась и тихо поставила на стол трехлитровую стеклянную банку. К банке был привязан



шпагатом огромный целлофановый колпак, а под ним горел неясно и медленно букет дорогих цветов. Это было первое впечатление, но оно осталось надолго. Откуда-то из-за полок, набитых чемоданами, пробился солнечный луч. В нем зароилась пыль, и колпак заискрился, словно кусок чистого льда, а цветы погасли, растворились в радужных изломах солнца.

К банке был прикреплен проволокой кусочек белого картона — записка. Блондинка оторвала ее и протянула мне. Я сперва не мог читать — строчки прыгали и кривились. Я чувствовал что все пятеро придерживают дыхание, ждут от меня чего-то, и, наконец, справился с собой.

Вот она, записка:

«Всем, кто летит в Энк.

Дорогие люди! У моего товарища Семена Галенко вчера родилась двойня, и я хочу, чтобы он передал эти цветы своей жене. Цветы не завянут, только, пожалуйста, не дайте им померзнуть, очень вас прошу!

Заранее сердечное вам спасибо!»

В постскриптуме писалось, как лучше найти меня или Васю Залыгина на стройке. Ни подписи, ни даты.

— Но почему двойня?

Я понимал, что надо было сказать что-то совсем другое, особенное. Они ждали от меня каких-то значительных слов, а я не мог их найти. И глупо повторил:

— Почему двойня?

— Плохая слышимость была, — сказал Вася и отвернулся.

«Значит, Вася ей звонил. Понятно».

— Кто это вам такую красоту прислал? — спросила черноглазая и вздохнула, как могут вздыхать только женщины — длинно и скучно. Она, видно, была убеждена, что я не заслуживал такого подарка.

— Галя Ключко, — я вдруг охрип. — Она теперь в Москве живет...

— Кто такая?

«Кто она такая?»

Это долго рассказывать. И не всякому рассказывать. Она, например, хорошо смеется. Не все умеют хорошо смеяться. И глаза у нее... Таких глаз я не встречал. И есть в ней какая-то особенная ясность. Мне всегда казалось, что она оставляет после себя крепкий запах яблок. Странно, правда? Но мне так казалось... Я вспоминаю ее часто, но об этом никто никогда не будет знать. Я хочу получать письма из Москвы, а их нет и нет... Может, мы не встретимся больше? Мы ведь при жизни не умираем друг для друга — просто уходим и обратно не возвращаемся.

...Луч на целлофановом колпаке поиграл еще и упал, точно обрезанная лента, а цветы снова зажглись — темно-алые, желтые, белые.

Начальник тронул меня за рукав.

— Банку эту старушка одна всю дорогу опекала. Строгая такая, в пенсне. Погода была того... — он покрутил над головой растопыренной ладонью. — Не совсем летная погода была, товарищи. Но из Новосибирска нас выпустили ради такого случая...

Начальник еще надеялся, еще ждал особенных слов, но где их найдешь, если в горле больно, а в голове до звона пусто? Я протянул ему руку.

— Спасибо Вам! Всем спасибо!

Пальцы мои хрустнули в его свинцовом кулаке. Он глянул на меня коротко и цепко словно хотел разгадать сразу и до конца, кто я, собственно, есть и стоило ли из-за меня принимать столько хлопот. Потом чуть посторонился, вытер лоб платком и сказал почему-то:

— Ничего, Семен Галенко, ничего...

Девчонки повздыхали и уселись снова, подперев щеки.

Попрощались. Я взял банку, шагнул за порожек и смаху прокатился по коридору метра три, задел плечом

питьевой бачок в углу и уронил кружку. Она покатилась и загремела. Толя подхватил меня сзади, ругнулся, вырвал цветы и, прикрыв их полой пальто, нес до самой машины.

Летчики толпились у столовой и махали нам шапками: девчонки из багажной комнаты, кутаясь в платки, ревниво провожали до конца.

Я тоже снял шапку.

— Спасибо Вам! Всем спасибо!

## 2

В роддоме был неприятный день. Я знал об этом, но как-то забыл. Когда грузовик, громыхнув цепями, остановился, на первом этаже дрогнули занавески, выглянули санитарки и снова все замерло: в этом тупичке привыкли к тишине.

Что делать? Мы растерялись.

— Мокрые вы курицы! — в сердцах заявил Соломатин и сразу налился энергией. Он сгреб букет и решительно, заранее торжествуя победу, почти бежал к роддому: боялся, что цветы померзнут на ветру. Сперва подолбил в парадное, приложив ладонь козырьком, позаглядывал в окна и пропал за углом. Его не было долго, минут, наверно, десять, и мы уже потеряли надежду, как вдруг парадное раскрылось настежь, на улицу выскочила пожилая простоволосая нянечка, суматошно всплеснула руками и откатилась назад. Вася подмигнул: «Взяло за живое!» Нянечка, видимо, должна была пригласить нас, но тут же запятовала, зачем выбегала во двор. Из распахнутых дверей важно выступил Толя и, вроде не замечая нашего нетерпения, сел на перила лесенки, картинно уперся спиной о бетонную вазу, из которой торчали врозь почерневшие стебельки, закурил и уж потом милостиво кивнул: чего, мол, уставились, ступайте поближе!

...По вестибюлю на коротких ножках каталась давешняя нянечка и размахивала руками, точно собиралась взлететь.

— Прелесть-то, красота-то, господи! — она заморгала и кивнула на Васю. — Это муж, понимаю! Ошиваются тут пьяные да бесстыжие. Рожать бы заставить, язви их!

Нянечка по-родственному поцеловала Васю в лоб.

— Радость-то какую доставили, господи!

Толя ехидно посмеивался: его забавляла ситуация.

— Цветочки уже понесли ей, детки!

— Скажите, чтобы на всех букет разделила, — приказал Вася.

— Догадается поди, — как же можно одной-то пользоваться!

...Жена прилепилась носом к стеклу и что-то говорила, говорила... Мы ничего не слышали, только кивали ей. За спиной Маши теснились роженицы со второго этажа и тоже говорили, показывали на нас, тепло и немножко грустно улыбались.

Солнце уже падало, и снег синел.

Поредели лица в окнах. Жена уже молчала и ковыряла пальцем замазку. А мы стояли. Потом, не сговариваясь, тихо пошли. Нам хотелось, чтобы этот день был самым длинным. Мы знали, что такое бывает не часто.

## Глава шестая

### 1

Степанида Ивановна взяла с подоконника ключ и подала мне. Ключ был обжигающе холодный и не грелся в ладони. Степанида Ивановна сказала, что за этот месяц, пока я скитался по командировкам, многое из-

менилось, и теперь в комнате она одна, а Вася уехал и просил передать ключ от своей квартиры. Остальное не ее дело.

Я не хотел ее ни о чем спрашивать: боялся и не верил, что его уже никогда не будет рядом.

— И записки не оставил?

Машинистка равнодушно пожала плечами: ничего не оставил... «Какая беда стряслась?»

Васиною стола не было. На его месте валялись карандаш и пустой листок бумаги. Я пнул бумагу, и она косо порхнула в угол...

— Когда уехал?

— Да уж с неделю поди...

— Ладно, спасибо.

Я осторожно, точно за порошком ждал меня кто-то, вошел в пустую Васину квартиру и послушал. Скрипела форточка. Под вешалкой на одной кнопке висела газета, она поднималась и опадала, шурша о стену. В коридоре валялись стоптанные сапоги и брезентовые рукавицы.

В комнате было зябко. Из открытой форточки намело круглую горку снега.

Запустение, беспорядок.

Он, видно, сильно торопился, если оставил занавески на окнах, постель, книги.

Я стал на стул, закрыл форточку и огляделся. На тумбочке лежала синяя тетрадь, придавленная пепельницей. Он специально положил ее на виду, чтобы я заметил. Так и есть — это письмо мне. Почерк его давался туго, и читал я, наверно, долго.

«Сема-Семен!

Ты не сердись на меня и не осуждай. Пишу. На дворе ночь, и мне одиноко. Завтра этого уже не будет — стройки, хлопот, тысячи мелких дел, которые никогда не переделать... Завтра я уезжаю. Вот ведь как, Сема.

Были тут неприятности по работе, меня все учат, а проку нет и нет. И получается не совсем понятная вещь: что им (старшим и мудрым) кажется сложным, я считаю простым, что мне кажется сложным, для них вполне разрешимо. Говорят, сую нос куда не следует. Но как угадать, куда именно следует и куда нет? Где эта мерка? Меня не выгнали, уговаривали остаться, ушел я с трудом. Ты не подумай плохого. А неприятности... У кого их не бывает...

Я уезжаю. Здесь остается добрый кусок души: сроеся я с вами, успел привыкнуть к мысли, что по-другому и не живется. Ты, пожалуйста, не улыбайся со снисходительностью бывалого, как ты умеешь: спор наш не закончен, и я тебе, по-моему, ничего не доказал. Я по-прежнему стою на своем: надо, надо удивляться! Помнишь стих, который я читал тебе в машине: «Живем — не удивляемся весне...» Ты где-то в самой сердцевине добрый человек, но боишься проявить себя без оглядки, чтобы тебя не сочли наивным. Ты не один такой, черствый по обстоятельствам, что ли... Видишь, опять не могу точно выразить мысли. У тебя это лучше получается. Ну, короче, свет в нас самих, тьма — тоже. Не дай свету погаснуть!

Что-то уклоняюсь от главного.

Итак, почему я уезжаю?

Сема!

Галине Ключко плохо. Очень плохо! Она все не может ходить, ее возят в коляске. Врачи обещают улучшение только после серьезной операции. Спрашивает у меня совета, я ей написал, чтобы соглашалась: риск велик, зато есть и надежда. Поэтому я не могу ждать и должен поспеть в Москву. Я виноват перед ней, Сема! Видишь ли, мы давно знакомы и хотели еще год назад пожениться, да разошлись. Об этом долго распространяться, да и вряд ли это тебе будет интересно. Только, конечно, уж не мелочь встала между нами. И я был

прав тогда, давно. Свадьба расстроилась, и я забрался сюда, чтобы порвать все окончательно. Она разыскала меня, примчалась следом с покаянием, а я уперся, как осел. Но ведь я люблю ее, Сема! Любил, люблю и... куражился. Почему мы такие, а?

Остальное ты знаешь.

На коммутаторе уже гаснут окна. Мне не спится. Я хорошо представляю, как ты явишься, оживленный такой, в нашу комнату, и Степанида Ивановна с постной улыбкой подаст тебе ключ...

Да...

Мы еще встретимся, но такого уже не будет, правда?

Квартиру сдай в ЖКО (ордер в тумбочке). Кое-что по мелочи задолжал. Ты рассчитайся, пожалуйста. Вышлю, когда разбогатею. Книжки заberi себе — на память.

Кстати, Галя жалуется, что ты не отвечаешь на письма. Она так жадно о тебе спрашивает, а ты молчишь! Сам понимаешь, как дорого ей сейчас всякое участие. Ответь, хорошо?

Всю ночь промаялся, а так и не сумел сказать тебе чего-то главного. В голову лезут разные глупости. В общем, живи, и, как учит нас Томская спичечная фабрика: «Не разжигай печей бензином и керосином во избежание пожара!»

На коммутаторе засветились окна, мне отсюда хорошо видно.

Не поминай лихом.

Твой Залыгин Вася».

Я сунул тетрадь в карман.

У окна лежал раскрытый том Хемингуэя; между разбухших страниц набился снег. Я вытер книгу рукавом пальто и положил на тумбочку.

На полу расплзлась белая лужица.

Я снял шапку и сел.

«...Прощай, Вася Залыгин, коли так, коли иначе у нас не получилось. Мне грустно, Вася Залыгин: мы ведь никогда не научимся легко терять друг друга. Но я потерял и приобрел. И стал богаче. Стал богаче вот этой грустью, прошлым, в котором столько хорошего. Вашим теплом грелись многие. Только не сдавайтесь, только не уставайте! Вот вам мое напутствие в дальнюю дорогу. Это и все. Наш счет закрыт, а жизнь бежит, и я распахиваю грудь ей навстречу...»

На улице вяло раскручивалась метелица. То ли это конец затяжной непогоды, то ли начало? На перевале зимы у нас всегда ветрено. И не холодно вроде, а неприятно: такое ощущение, будто по телу медленно перебирают чьи-то холодные пальцы. После метелей обязательно падает затишье, ясная благодать с голубым небом. Улицы, дороги, поля вроде подновляются к празднику. Сугробы оструганы, на тротуарах проступает обледенелая чернота. Она блестит, как асфальт после грибного дождика.

Я немного постоял у подъезда, ослепленный солнцем.

Рядом сгружали с машины уголь, и черная пыль хвостом вытянулась вдоль дома.

За углом дорогу загородила дворничиха — румяная женщина в тулупе, перепоясанном офицерским ремнем, — и устала мне в грудь черенок лопаты.

— Подай назад, нет хода!

Я было рассердился, но, очнувшись, тут же забыл про дворничиху. Недалеко стояли домохозяйки, галдели ребятишки. Все смотрели вверх. Я тоже задрал голову и сразу обратил внимание на тополь: его макушка как-то странно подрагивала; от дерева поднималась снежная мучица, а в ней едва заметно горела радуга. Дворничиха все упирала в грудь мне свою лопату.



— Сейчас валить будут,— сказала она значительно и округлила глаза, — пришибет, стой.

Валить будут? Да, на самом деле: к тополю были привязаны веревки, и двое рабочих, расставив ноги, тянули веревки на себя. Еще двое, неловко присев на корточки, пилили под самый корень и задевали локтями землю. Тополь уже заметно кренился и вздрагивал, будто по стволу пробегала судорога, и самая макушка, раскачиваясь, хлестала о стену дома. Пила трудно лезла в живую мякоть и выгибалась, повизгивая.

Прошло еще минуты три. Дерево вдруг жалобно хрустнуло и повалилось. Ветка зацепилась за линию, провода замкнули и брызнули зелеными искрами. Тополь рухнул на заборчик детского сада и подмял его под себя. Рабочие бабьими голосами закричали: «Поберегись!» и убежали, бросив веревки. И народ сразу рассосался: теперь смотреть было нечего. Тополь лежал еще живой и тихо шевелил ветками.

Откуда-то появился дядька с топором, сел на поваленный ствол и принялся ладить самокрутку.

Я подошел поближе и положил на пенек руку. Пенок был теплый и влажный, а ладонь моя стала желтой от опилок; срез был восковой, и от него пахло грибами. Дядька всем телом повернулся ко мне. Он лизал кончиком языка самокрутку и глядел исподлобья: чего тебе?

Я отряхнул опилки и спросил:

— Зачем свалили?

Дядька неожиданно вздохнул:

— Я вот тоже против был, да кто меня послушает! — и махнул рукой куда-то в сторону. — Тут в доме начальник жил, он не давал. Начальник уехал, и пилим. Мы — люди маленькие.

Я кивнул ему: спилили — и ладно. Вася не давал тополь трогать. Жил человек — дерево стояло, нет человека — и дерева нет... Наверное, мы, кто остался здесь,

многого еще не досчитаемся, потому что этого человека теперь нет. А после меня вот все останется как было. Я ничего не защищал, ни за что не дрался. Я рассуждал — он делал и совсем не боялся, как это выглядит со стороны. Я бывал прав чаще, чем он, но кому от того польза?

Кажется, я завидую?

Да, завидую! И мне не стыдно признаться.

...Я незаметно свернул с дорожки и теперь шел по целику. Ноги толко вязли в снегу. Во мне закипало зло на самого себя, на тех, кто велел спилить дерево, на тех, кто ничего не любит и ничего не жалеет. В ботинках была вода, а я все брел и брел. Я так делаю, когда у меня болят зубы, — хожу до изнеможения, чтобы устать, забыться, уснуть.

## 2

На другое утро я сел за свой стол. Ни о чем не думалось и голова была тяжелой. Передо мной лежала тугая папка с документами, и я никак не мог развязать узелок на ее тесемках, вернее, и не старался.

Под Степанидой Ивановной противно скрипел стул. Раньше я этого скрипа не замечал. Раньше я многого не замечал.

Мне вдруг захотелось, чтобы она вышла сейчас же и не возвращалась как можно дольше. Машинистка, наверно, затылком почувствовала мое настроение, встала и, прихватив какие-то бумаги, робко, бочком выскользнула за дверь. В спешке не успела задвинуть ящик стола. Там у нее все было аккуратно: копирка слева, чистая бумага справа, карандаши, листики. А это что?! У дальней стенки ящика я высмотрел стопку одинаковых синих конвертов. Меня обожгла догадка, которая сразу сложилась в уверенность. Я потянулся к столику и схватил письма. Один, два, три... шесть. Целых шесть!

Семену Галенко от Гали Ключко. Я дрожащими руками надрывал конверты и сыпал на пол засохшими цветами... Коротенькие, в половину тетрадного листа, записки складывал в карман. Я прочитаю их после, один. Совсем один. Но, черт возьми, зачем она их прятала? На это, если спросить, она и не ответит толком. Просто ей ненавистно, когда кто-нибудь рядом радуется.

В коридоре зашаркали шаги. Я сгреб конверты и сунул под шапку. Стоял, выпрямившись. Ждал. Если бы я имел дело с мужчиной, дрался бы с ним в кровь, с настоящей ненавистью. Но она женщина. И все равно этих самоедов не стоит прощать.

Она по моему лицу поняла, что предстоит неприятное объяснение, и замерла на пороге. Села, ни к чему не притрагиваясь.

Я сказал слишком спокойно:

— Степанида Ивановна, вы слышите меня?

— Да.

— Неудобно, знаете... давно хотел помочь вам, да не решался. Дело в том, что браслетка для часов, которую вам подарил муж, не золотая, понимаете? Это дешевая поделка и стоит два рубля. Хотите, я снесу ее в лабораторию, там анализ сделают точно и скажут, из какого металла? Хотите?

Она повалилась лицом на машинку и беззвучно заплакала.

Я смотрел на ее вздрагивающие плечи. Я не жалел эту женщину, но удовольствия от мести не испытывал.

Я прислушиваюсь.

Вот опять спекшийся снег шуршит по крыше, катится и падает в пустоту. Я, пожалуй, открою окно. Говорят, еще рано открывать окна, но я не стану следовать благоразумным советам. У меня ведь теперь свой ка-

бинет на четвертом этаже нового заводоуправления, я здесь хозяин.

Я открою окно! Там стучит капель, и кирпичи на карнизе потемнели от воды.

Эту весну я встречаю один. Нет рядом моих самых близких людей. Но я их помню и всегда буду думать о них. И особенно сильно, когда на дворе стучит капель.



## с о д е р ж а н и е

3	БЕРЕГ ПРАВЫЙ
251	ХОЧУ УДИВЛЯТЬСЯ

**Емельянов Г. А.**

**Е-60**      **Берег правый. Роман. Хочу удивляться. Повесть.**  
**Кемерово. Кемеровское книжное издательство,**  
**1976.**

320 с. 50 000 экз. 59 к.

Кузбасский прозаик Г. Емельянов посвятил роман и повесть, включенные в книгу, изображению проблем, возникающих на строительстве металлургического завода-гиганта в Сибири. Больше всего его волнуют моральные проблемы: «Подспудно и давно меня волнует тема «Дело и человек». Не надо думать, что вот, мол, сперва нам хлебушке насущный, а после— все остальное. Так не получится: мы ведь делаем будущее не только в материальном воплощении, но и гражданина будущего делаем! Одно от другого неотделимо, и нельзя допускать, чтобы человек только давал, растворяясь в большом деле,—он должен приобретать и накапливать моральные ценности». Так писал автор в предисловии к первому изданию романа «Берег правый».

Е  $\frac{70302-15}{M 145(03)-76}$  28—76

P<sub>2</sub>

**Геннадий Арсентьевич  
Емельянов**

**БЕРЕГ ПРАВЫЙ**

Роман

**ХОЧУ УДИВЛЯТЬСЯ**

Повесть



Редактор Л. В. Глебова  
Художник В. Д. Беляев  
Художественный редактор  
Г. И. Кравцов  
Технический редактор  
Г. В. Адова  
Корректор В. А. Лузина

Сдано в набор 11. IX. 1975 г. Подписано к печати 5. I. 1976 г. Формат 70×108<sup>1/32</sup>. Усл. печ. л. 14+0,1 усл. печ. л. вклейка. Уч.-изд. л. 14,39. Бумага типографская № 1 Тираж 50 000 экз. Заказ 9295. Цена 59 коп. Кемеровское книжное издательство. Кемерово, Ноградская, 5. Кемеровский полиграфкомбинат. Кемерово, Ноградская, 5.









59 к.

ЦБС им. Н. В. Гоголя  
г. Новокузнецк



13842100301791

**КЕМЕРОВО 1976**